

КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT 73
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

3 • 92



Давай уедем.
Давай, давай!
Куда угодно,
за самый край.
На самый краешек?
Он где? Он где?
Наставим рожки
своей судьбе...

Евгений Рейн

Тогда еще никого не печатали, и мы публиковались, читая друг другу вслух. Одно дело читать вслух стихи, другое - прозу. Я боялся называть скуку, вот отчего эти рассказы такие короткие...

Андрей Битов



*фото Лидии Гикбург
Комаровой, 1962*

Важно почувствовать, что в мире действуют Бог и человек. И если человек что-то не сделал по направлению к Богу, на один шаг к Нему не двинулся, не открылся, то Бог не может действо-



вать, не может Себя проявить, так как это было бы насилием. Дух есть сила, благодать имеет силу, но Бог никого не насилует...

*Отец
Георгий Кочетков*

Хочется крикнуть: а у нас иначе, у нас просто по-другому. У нас много веселых и умных людей. У нас душевные застолья... У нас очень красивые женщины. У нас очень хорошие актеры и замечательные писатели...

Сергей Юрский



Борьба с ханжеством — это, разумеется, борьба с тоталитаризмом. У нас теперь все — борьба с тоталитаризмом или за свободу. Маг на печатных страницах и порнография на экране и с эстрады — это все борьба за свободу... Разверзается бездна темноты и невежества. А все — под знаком свободы... *Валентин Непомнящий*





Главный редактор: Игорь Виноградов
Зам. главного редактора: Игорь Тарасевич
Ответственный секретарь: Сергей Юров
Зав. редакцией: Вячеслав Лютый

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов • Виктор Астафьев • Ценко Барев •
Николас Беттел • Александр Блок • Иосиф Бродский •
Владимир Буковский • Армандо Вальядарес •
Галина Вишневская • Георгий Владимов •
Ежи Гедройц • Густав Герлинг-Грудзинский •
Пауль Гома • Милован Джилас • Пьер Дэкс •
Эжен Ионеско • Фазиль Искандер • Оливье Клеман •
Роберт Конквест • Наум Коржавин • Эдуард Кузнецов •
Николаус Лобковиц • Эдуард Лозанский •
Эрнст Неизвестный • Амос Оз • Булат Окуджава •
Ярослав Пеленский • Норман Подгорец • Андрей Седых •
Виктор Спарре • Витторио Страда • Юзеф Чапский •
Карл-Густав Штрём • Юлиу Эдлис •

Корреспонденты «Континента»

Италия	Сергей Рапетти Sergio Rapetti via C.Hajech 10 20129 Milano, Italia
США	Эдуард Лозанский Edward D.Lozaansky 3001 Veazey Terrace, N.W. Washington, D.C. 20008 USA
Япония	Госукэ Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10—7 189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются. При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент» обязательна.

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*

Выходит четыре раза в год

МОСКВА — ПАРИЖ

3•92

73

Издательство «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Совместное издание

Редакции журнала «Континент»,

Ассоциации друзей журнала «Континент»

*(Париж, Президент Ассоциации и основатель-учредитель
журнала «Континент» ВЛАДИМИР МАКСИМОВ),*

Издательства «Московский рабочий»

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Слуцкий	
<i>Остальное — повторы... Стихи</i>	7
Андрей Битов	
<i>На ранних циклах. Рассказы, коллажи</i>	10
Александр Лаврин	
<i>Четыре стихотворения</i>	73
Игорь Тарасевич	
<i>К месту назначения. Рассказ</i>	76
Евгений Рейн	
<i>Вермеер. Поэма</i>	104
<i>Литературный дебют</i>	
Андрей Колесников	
<i>Болезнь. Рассказ</i>	120
РОССИЯ	
Анатолий Арсеньев	
<i>Глобальный кризис современности и Россия (заметки философа)</i> .	132
Сергей Юрский	
<i>Почем в Париже картошка?</i>	162
ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ	
<i>Стенограмма экстренного заседания правления МОССХ от 23 января 1935 года. Публикация, предисловие и комментарий Галины Загянской</i>	191
<i>Письма и документы по делу В. И. Лашкина</i>	218

РЕЛИГИЯ

Христос Яннарас

Вера Церкви. Главы из книги «Азбука веры». Перевод с новогреческого Галины Вдовиной. Предисловие Мишеля Ставру . 230

Церковь есть мир Божий. Беседа с отцом Георгием Кочетковым. Записал С. Юров 250

ГНОЗИС

Андрей Зубов

Этнопаранойя 262

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Валентин Непомнящий

С веселым призраком свободы 270

ИСКУССТВО

Тамара Грум-Гржимайло

Штрихи к портрету Мстислава Ростроповича 294

РАЗНОЕ

От редакции 308

«Континент» в 1993 году 314



ОСТАЛЬНОЕ — ПОВТОРЫ...

САРАЕВО

По эрцгерцогу, как по мишени!
С десяти шагов наповал.
А придворные — не помешали.
Как хотел, так убивал.

По эрцгерцогу и по супруге!
И супругу не пощадил!
И не дрогнули крепкие руки.
Словно в тире в мишень всадил.

Он обдумал обвал и камень
вынул,
самый главный устой.
Все один, своими руками,
оказалась задача — простой.

Этот камень толкнул соседний,
и один за другим потом
покатились без опасений
миллионы каменных тонн.

Борис
СЛУЦКИЙ
(1919—1986)

— широко известный в России поэт, автор многих поэтических сборников, среди которых «Память» (1957), «Работа» (1964), «Доброта дня» (1973), «Неоконченные споры» (1978), «Вопросы к себе» (опубл. 1988) и другие. Мы публикуем четыре стихотворения из большого творческого наследия Б. Слуцкого, которые словно бы написаны сегодня — настолько актуальными они выглядят.

И покуда от туберкулеза
умирал убийца в тюрьме,
все катилися камни, как слезы
вдовьи,
по несчастной земле.

Что он думал, когда он слышал
человечества
долгий отстрел?
Что он сделал бы, если бы вышел?
Самолично бы посмотрел?

Этот случай,
с миром случившийся,
гимназист был
недоучившийся.

Сочинял свои сочинения,
в хоре пел,
задачи решал,
а потом улучил мгновение,
и никто ему не помешал.

* * *

Итак, начинается логика паники
и логика взрыва.
— Спасайся, кто может! — кричат охальники,
смываются торопливо.

Кто может, спасается и смывается,
кто может — обходит стороной,
а кто не может — смывается
взрывной волной.

Философы смытые — смыты,
но смывшиеся — обобщат,
и мытари требуют мыта
у спасшихся — без пощад.

И мирная, междувоенная,
междувзрывная пора
смывает откровенную
эпоху топора.

* * *

Молоденькая власть обидчивей
молоденьких парней
и охорашивается,
словно молоденькие барышни.

Когда же созревает — матерееет,
выучивается ухмыляться,
и пропускать мимо ушей,
и не шуметь из-за грошей,
и ждать спокойно барышей,
покуда не созреют.

* * *

Зуб неймет, хоть видело око.
Зубу трудно. Оку легко.
Зубу слишком высоко, глубоко —
высоко, глубоко, далеко.

От решения до рушения,
может быть, и рукой подать,
только некому руку подать
для совместного совершения.

Остается птица в яйце.
В чертежах остаются моторы.
Остается рота в кольце
и т. д.
Остальное — повторы.

Публикация Ю. БОЛДЫРЕВА



НА РАННИХ ЦИКЛАХ

Точка. Точка. Запятая.
Минус. Рожица кривая.
Ручки. Ножки. Огуречик.
Вот и вышел человечек.

Присказка

СОДЕРЖАНИЕ

АВТОБИОГРАФИЯ 11

1. ЛЮДИ, КОТОРЫЕ... (1958—1961)

Люди, побрившиеся в субботу 15	Китайцы 27
Люди, которых я не знаю 17	Черный день 28
Голубая кровь 19	Кошей бессмертный 29
Чужая собака 21	Родинка 31
Собрание фраков 22	Однокашники 32
Любители 24	Разводы 33
Такие дела 25	Пафли 35
	Воспоминание о бочке 37

2. МОЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КОРЗИНА

Моя замечательная корзина 41
Чернильница 41
Из цикла «Пипифакс» 43
Из цикла «Пипифакт» 45
Из цикла «Подлинник» 50
Из цикла «Личный архив» 58

МОЕ СЕГОДНЯ — 1962 67

**Андрей
БИТОВ**

— родился в 1937 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский Горный институт, печататься начал в 1960 г. Автор многих книг прозы — романов, повестей, эссе, путешествий («Пушкинский дом», «Улетающий Монахов», «Книга путешествий», «Статьи из романа» и др.).

АВТОБИОГРАФИЯ

Это теперь я утверждаю, что родился в Ленинграде в том самом тридцать седьмом, в потомственной петербургской семье, что первое мое воспоминание — блокада, затем сталинская школа и первое прозрение в пятьдесят шестом — дитя «оттепели».

С одной стороны — все это факты, с другой — ничего похожего.

Жизнь и память — различного состава, тем более, когда память склеротически подменяется оценкой.

Значит, так. Я, по-видимому, родился, раз я есть до сих пор, но когда и где — ни малейшего представления. Родители мои появились позже меня и то поначалу довольно смутно и изредка, и лишь потом, уже в школе, возникли в обязательном порядке. Детство как детство, после войны — уже лафа (что-то вроде кайфа в переводе на язык современности). Помню по лестнице древнего профессора Вишнякова, богача (золотые зубы) и вредителя (звал нас бандитами за наши веселые послевоенные забавы); помню, улица вся в траурных флагах, я ему говорю «Калинин умер», а он мне «Туда ему и дорога — козел» (это сейчас у меня здесь, по смыслу, тире, а тогда была запятая). Помню лесозащитные желуди собирали, а я екатерининский пятак вырыл — целую пятилетку после этого монетки собирал, не мог остановиться. Помню, мне уже лет четырнадцать стало, лежу на пляже, рядом со мной незнакомый старший парень бицепсами поигрывает, а я смотрю с завистью; «Что, нравится?» — спрашивает он. «Нравится». — «Хочешь такие же?» — «Хочу». — «Тогда бегай». Я последовал его совету и еще одну пятилетку пробегал (знал бы я, что занимаюсь «боди-билдингом»...). Больших успехов достиг: на одной руке стоял, шпагат (почему-то женский) делал, мостик (зубами платок с полу подымал), — и вот выхожу я в таком виде, шея шире плеч, осенью пятьдесят шестого из кинотеатра «Великан», где внезапно показали «Дорогу» Феллини, — совершенно потрясенный, не зная, куда всю эту силу деть, а мне навстречу мой сокурсник Яша Виньковецкий. Никогда не забуду его взгляд, когда я ему про искусство Феллини стал рассказывать! Никакие мои последующие свершения не вызывали ни у кого такого же удивления. Так сильно он меня уважал за мою бездумную силу, что мысли в моей голове не допускал. Потрясенный моей непол-

ной дебильностью, решил он продемонстрировать ее своим друзьям по литературному объединению нашего Горного института.

Так все и началось — скоро семь пятилеток этому нездоровому увлечению.

Чтобы задержаться среди наконец обретенных друзей, вынужден я был писать стихи, так что переход на прозу два года спустя вызвал у меня вздох облегчения.

Рассказы писать проще, чем стихи, вот что я обнаружил!

Тогда еще никого не печатали, и мы публиковались, читая друг другу вслух. Одно дело читать вслух стихи, другое — прозу. Я боялся вызвать скуку, вот отчего эти рассказы такие короткие.

Короткие они еще и потому, что единственный живой гений в прозе тех лет, соответственно и кумир, был Виктор Голявкин. Как он божественно краток!

Я и сейчас полагаю, что Голявкин — гений, и лишь извечная московская несправедливость к Ленинграду привела к тому, что это сегодня не всем известно.

Я писал короткие рассказы сотнями, пытаясь постичь его тайну, пока с огорчением не постиг, что гений — и есть тайна. С тех пор я пишу длиннее, предав забвению ранние опыты. Каково же было мое удивление, когда двадцать лет спустя некоторые из этих рассказиков стали появляться в эмигрантской прессе. Их вывезли друзья моей юности, в том числе и Яша Виньковецкий захватил как воспоминание детства.

Этот факт заставил меня тогда же, лет десять тому, перетрясти свой архив и извлечь этот немыслимый ворох. Преследование возрастало вместе с манией и, опасаясь беспорядочности посмертных публикаций, отложил я четверть вот в эту подборку, чтобы в нее не затесались рассказы еще более случайные.

Вроде я не умер, но возможности перемещений и публикаций, возникшие для меня в связи с перестройкой и гласностью, парадоксально совпадают с посмертием, такая «жизнь после жизни».

Яша же Виньковецкий не стал жить после жизни, своей волею оборвав такую возможность. Он ничего этого не знает, про гласность и перестройку.

Светлой его памяти посвящаю я эту посмертную публикацию. И это закономерно, что именно в «Континенте».

Июль 1992

**ИЗ ЦИКЛА
«ЛЮДИ, КОТОРЫЕ...»**

ЛЮДИ, ПОБРИВШИЕСЯ В СУББОТУ

Рано утром.

Мужчины, побрившиеся в субботу, ждали троллейбус. Над женщинами торчали зонтики. От дождя у мужчин поднялись воротники, а по спинам скатывались серые капли. Шляпы уныло опустили крылья. Передо мной стояли спины с опущенными руками, и на спинах был понедельник.

Подошел троллейбус. Он должен был перевезти этих людей окончательно из воскресенья в понедельник. На лице у троллейбуса была тупость работающего без воскресений. Один за другим пропадали в нем шляпы с опущенными крыльями и женщины вперед зонтиками.

Двери захлопнулись и выдавили меня внутрь. Я уперся носом в одну из спин, стоявшую на ступеньку выше. Она пахла сыростью. Над спиной была шляпа, и с нее стало капать мне на нос. Я постучался в спину и сказал:

— Гражданин, у меня нет зонтика, чтобы спрятаться от вашей шляпы.

Под шляпой оказалось молодое лицо, на котором еще сохранилось воскресенье. Оно улыбнулось:

— Извините.

Молодой человек снял шляпу и аккуратно вылил воду из туфли. Вода попала в туфлю рядом стоящей женщины.

— Не умеете обращаться со шляпой, так не носите! — возмутилась она.

Молодой человек смутился и стряхнул на меня оставшиеся капли.

«В субботу была баня...», — подумалось мне.

Ехать было далеко, за окном был дождь и туман, и я стал смотреть на лица. На них был тоже понедельник, такой же, как на спинах. Приглядевшись, я открыл и несколько другие лица.

Оживленно делились чем-то две девушки, рассеянно и глупо рассмеялся сам по себе сосед — на их лицах доживало воскресенье. Про некоторых можно было сказать, что у них на лицах была суббота, а воскресенье было отдыхом от субботы.

Понедельники ни на кого не смотрели.

Воскресенья смотрели, но не очень видели, словно изда-лека.

И лишь субботы, казалось, видели и понимали происходящее.

На одной из остановок в троллейбусе появилась старушка. На лице ее не сохранилось никаких дней недели, а был какой-то общий, длинный и последний день. И было стран-

но, зачем она сюда попала. Она вошла с передней площадки, прижимая стул к груди. Стульчик был маленький, детский, но у него было уже четыре ножки. Они воткнулись в ноги, и получился шум, суতোлка. Кричали в основном понедельник. Кричали о том, что неприлично лезть со стулом в троллейбус, что со стульями надо в трамвае, что вообще с мебелью надо в грузотакси, что и так сесть негде, а она со стулом, что и так все едут на работу. Старушка испуганно обнимала стул и беззвучно жевала жалкие слова.

Она вышла, а в троллейбусе, до нее молчаливом, сохранился гул. Рядом со мной что-то говорили, что чего-то стало вовсе не достать, а что-то стоит невозможно дорого, что в детском саду дурные воспитатели и что еще надо кормить мать... А кто-то обругал кондуктора в том смысле, что безобразие, что по утрам, когда всем ехать на работу, так долго нет машины; мол, зачем она открывает двери всяким со стульями и что еще не хватает, чтобы влезли со столом. А кондуктор говорил, что не она открывает двери и составляет график, что она на работе и чтоб к ней не лезли всякие.

Потом случилась женщина: подъезжая, мы забрызгали ей чулки. Она этого так не оставила и записала номер кондуктора.

Вошел пьяный, в лице которого была ночь с воскресенья на понедельник. А кондукторша, у которой еще и вовсе не было воскресенья, стала требовать с него за проезд. А он, катая голову по плечам, просил ее не беспокоиться. А она стояла над ним и требовала, потому что у нее еще будет воскресенье, когда она ни с кого не будет требовать.

И кондукторша наконец стала на него кричать, что все они такие, что пропьют все на свете, а женщины маются, что сегодня на работу, а он, видите, с утра пораньше.

На лице пьяного смешались все недели, и он что-то бормотал про то, что он хороший рабочий и что ничего в том плохого, что рабочий человек один раз выпьет. И наконец поняв, что требует от него эта женщина, стал бессмысленно рыться в карманах, засовывая в них руки чуть не по локоть. Но устал.

— Опять плати... Жи-и-изнь... — протянул он и приткнул свою вращающуюся голову на плечо соседке. Та брезгливо стряхнула голову с плеча и встала. Он свалился на сиденье и уснул окончательно.

«В субботу тоже была выпивка... после бани», — подумалось мне.

Скучным голосом объявил кондуктор мою остановку. Это была конечная остановка. И люди, вымывшиеся и побрившиеся в субботу, ошетилив воротники и зонтики, вышли из машины.

Я присоединился к толпе спин и, с общим потоком, попал в стремнину заводских ворот.

Октябрь, 1958

ЛЮДИ, КОТОРЫХ Я НЕ ЗНАЮ

Тихая у нас улица... Совсем рядом гудит туго натянутая магистраль: автобусы, люди, люди, машины. А здесь — тихо. Речка без набережной. Мост деревянный. А все остальное — сад. И мой дом. Очень спокойный дом. Все окна у него разной формы, и это мне особенно нравится. Проходя мимо дома, мне всегда хочется пожить в угловой мансарде.

Мои окна выходят во двор.

Если пройти по лестнице, то почти на каждой двери будет медная дощечка — профессор такой-то. Очень много профессоров по нашей лестнице. Тихие старики.

Внизу магазин — тоже очень тихий. Покупателей мало, и все друг друга знают. Вот, кассирша — она тоже живет по нашей лестнице.

На скамеечке у входа в магазин согнувшись сидит женщина. Тихо, очень неподвижно сидит эта женщина. Пятнадцать лет сидит она на этой скамеечке. Сначала молодая — худенькая, в нарядном ситчике, с короткими прямыми волосами. Она сидела на этой скамеечке в любую погоду. Иногда к ней подсаживались дворники, и иногда она исчезала куда-то.

У нее странный взгляд — кажется, никто не попадает в него.

Иногда она смеется. Такая у нее сипотца.

Может, она и не всегда сидела на этой скамейке.

Она сидела и сидела — и день, и два, и год, и другой, и потом еще год, а я, как-то странно, замечал ее только вдруг. Однажды я вдруг заметил, что она очень похудела. Потом очень поседела — тоже вдруг. Потом она надела коричневое мужское пальто. Теперь она всегда сидит в этом пальто.

Внезапно согнулась ее спина.

И вся она, сжавшись, сидит сейчас на скамейке.

Я прошел в магазин. За прилавком девочка — это новенькая. Милая. Второй раз я захожу в магазин, и она за прилавком. Смущается, когда я подхожу к ней с чеком.

Очень миленькая девочка. Да-а-а...

Тихая у нас улица.

Когда я выходил из магазина, туда прошел тоже странный человек. Он живет напротив. Он всегда в шляпе и с портфелем. Мы часто ездим вместе в автобусе. Все кондуктора его знают. Встречаясь со мной, он говорит:

— Приятно видеть молодость! При этом,

Лишь только посмотрю, я становлюсь поэтом.

Впервые я столкнулся с ним на автобусной остановке. Я направлялся в ателье, и у меня на руке повисло пальто. Впереди стоял человечек с портфелем и в шляпе. Несколько раз он оборачивался и с интересом посматривал на меня.

— Почему на вас второе пальто? — спросил он наконец.

— Это мое пальто,— сказал я.

— Я увидел на вас второе пальто.

И сразу подумал: здесь что-то не то...

— В чем дело?! — сказал я.

— Дело в том, что нынче лето...

А вы, что, не слышали об этом?

В очереди смеялись.

— На мне первое,— сказал я.— Не приставайте.

— Зачем ко мне вы, юноша, придрались?

Вы, может быть, в Америку собрались?

Мы поговорили.

— Родные все зовут меня поэтом,

А я не чувствую себя при этом,— сообщил он мне.

И звал к себе.

Вот он-то и прошел в магазин, когда я вышел.

Интересно, что он еще может мне сказать?

Я вспомнил, что могу еще купить сигарет, и вернулся за ними в магазин. Девочка за прилавком снова смутилась. Я встал в очередь за человечком с портфелем. Тут в магазин прошла девушка со стеклянным глазом. Она тоже из нашего дома. Она всегда старается быть нарядной. Она встала за мной. Бабы в очереди посмотрели на нее и зашумели.

С этой девушкой я знаком немного. Вернее, я был знаком с ее подругой, и они пришли однажды вместе в нашу компанию. В тот вечер все разбрелись парами по комнатам, а она сидела одна в гостиной, и ее стеклянный глаз удивлялся.

Теперь я иногда вижу ее сидящей на скамейке около магазина.

Худенькая, с короткими прямыми волосами, в веселом ситчике, сидит она рядом с женщиной в коричневом мужском пальто.

Девушка встала за мной, и я поздоровался с нею.

Девочка за прилавком странно на меня посмотрела.

Бабы в очереди зашикали:

— И не стыдно!.. Прямо в очереди!..

— Что вы?.. Что вы! — отмахнулась девушка в веселом ситчике.— Это просто знакомый.

— Пачку сигарет! — крикнул я на девочку за прилавком.

— Когда я вижу юности приметы,

Тогда невольно становлюсь поэтом, — сказал человек с портфелем.

— При этом, при этом! — рассердился я.

И выскочил из магазина. С удовольствием вдохнул воздух и закурил.

Подошла толстая дворничиха. Поставила около скамейки метлу, бросила совок. Села рядом с женщиной в коричневом мужском пальто.

— Что это ты, Машка, грустная такая? — засмеялась она. — Вон, смотри, молодой человек, — кивнула она на меня.

Женщина сидела, положив локти на колени, а голову на ладони, смотрела вперед, и ничего не попадало в ее взгляд.

— Что ж ты молчишь! — толкнула ее дворничиха.

Женщина деревянно покачнулась и завалилась набок, нелепо задрав стоптанные башмаки.

— А-а-а! — закричала дворничиха. — Машка! Машка! Дядя Миша! Дядя Миша!

Из сапожной будки вылез дядя Миша, квартальный милиционер, степенный и уса́тый. За ним вылез ассириец, уса́тый и степенный.

Из магазина высыпали бабы.

— Жалость-то какая... — сказал кто-то из них.

— Тетя Маша! Тетя Маша! — закричала девушка в веселом ситчике.

— Уснуть... И видеть сны, — сказал человек с портфелем.

— Да-а... — сказал дядя Миша и стал звонить по телефону.

Сентябрь, 1959

ГОЛУБАЯ КРОВЬ

«Интересный дядя! — подумал я. — Керенский-Врангель-Коненков...»

Интересный дядя стоял в подворотне.

Седые усы серебряными ложками изгибались по щекам. Трость. Корректное пальто. Выдержанное, достойное лицо.

«Джентльмен. Аристократ. Комильфо».

Я смотрел на него вежливо и с интересом, стараясь, чтоб не вышло нагло. И в это время входил в подворотню.

Он тоже смотрел на меня.

«Чувствует породу... — думал я. — Теперь ее мало. Приятно увидеть ее в молодом. Так настоящая женщина чувствует настоящую женщину».

Я разделился, забежал на место дяди и посмотрел на себя, входящего в подворотню...

«Так себе. Ничего. Просто прелесть!»

Дядя сделал сдержанные полшага в мою сторону. Два пальца сжали поля шляпы. Легкий поклон.

— Извините, пожалуйста... — говорит он поставленным голосом.

— Нет, что вы, что вы... — говорю я и тоже кланяюсь. Только шапка у меня меховая и полей нет... Я делаю полшага в сторону, чтобы обойти дядю.

Дядя делает полшага ко мне:

— Извините, пожалуйста...

— Пожалуйста-пожалуйста... — говорю я.

И стараюсь протиснуться между дядей и стенкой.

Дядя прижимает меня к стенке:

— Вы не скажете, где квартира такая-то?

— Ах... — говорю я. — Я из этой квартиры. Пойдемте со мной.

— Там живет профессор Роттенбург?

— Я его племянник.

— Ах, вот как... — говорит старик. — Значит, он ваш дядя? Очень рад.

Мы пожимаем руки. И идем вместе.

— А как здоровье вашего дяди?

— Ничего, — говорю я, — хорошо здоровье. Недавно, было, заболел, но все в порядке.

— Так что ваш дядя в пор... то есть здоров?

— В совершенном порядке.

— Так вы говорите, он сейчас дома?

— Он всегда в это время дома, — говорю я.

— Приятно видеть такого молодого человека, как вы. Ах, теперь не та молодежь...

Я потупляюсь. Только скромность не позволяет мне согласиться. Он должен оценить это.

— Опять лифт не работает, — говорю я.

— А какой этаж?

— Пятый.

— Ох, — говорит дядя, — чего же он не работает?

— Разве ж теперь обслуживают?... — скорбно замечаю я.

Дядя светски раздвигает усы в улыбку.

Мы поднимаемся рядом. На площадках я пропускаю дядю вперед. Ему тяжело. Усы шевелятся по щекам.

— Извините, — говорит он и передыхает. На лице у него достоинство и виноватость. Он пыхтит.

— Ничего, я не спешу, — говорю я.

«Славный, красивый старик, — думаю. — Таких теперь уже мало. Старой закваски».

— А вы чем занимаетесь? Работаете или учитесь? — спрашивает дядя. — Если, конечно, вы ничего не имеете против такого вопроса.

— Нет, что вы, — говорю я, — учусь.

— Это замечательно, это хорошо, это изумительно — учиться,— говорит старик.— Ваш дядя — прекрасный пример. Наука требует от человека всей его жизни...

Он смотрит с испугом на оставшиеся ступеньки. Наконец пересиливает себя:

— Ну, пойдемте дальше...

Улыбается он так легко и плавно, мол, вы уж извините, что я старик, мол, старость не радость...

— Вот и наша площадка,— успокаиваю я старика.— Вот мы и пришли.

Я чуть задеваю дядю.

— Ах, извините,— говорю я.

— Нет, что вы, что вы, пожалуйста...

Мы стоим у двери. Смотрим друг на друга.

— Нет, вы меня извините, ради бога, пожалуйста... — Я краснею.

— Да ну что вы! — отмахивается дядя.

Я стою у двери и не могу пошевелиться:

— Да нет, я, правда, очень виноват... извините, пожалуйста... я совсем забыл... простите, ради бога... так получилось... я не хотел...

Дядя расширяет глаза, и его усы выгибают пушистые седые спинки.

— Что вы, право?

— Я совсем забыл... дядя улетел вчера в Кисловодск...

Некоторое время мы смотрели друг на друга.

На дядином лице боролась корректность.

Корректность победила:

— Что ж вы сразу не сказали...

Тучная спина заколыхалась вниз по ступенькам.

«Ничего,— успокаивал я себя,— ничего. Усы, как у швейцара».

08.02.1960

ЧУЖАЯ СОБАКА

На работе объявили выговор. Соседи объявили бойкот. Жена сбежала с другом детства.

Я, конечно, могу сходить к тетке, погулять с ее собакой... У нее, у собаки, сегодня день рождения. Тетка приготовит торт.

Этот молодой жирный боксер, я ничего не имею против. Сильный зверюга. Он идет, виляя обрубок хвоста, натягивая поводок. Все время приходится тормозить, словно бежишь под горку. Морда у него, с точки зрения обывателя, мало симпатичная. По-моему, это красивое животное.

А я надеваю темные очки от солнца и веду его желтенького, песочного по Невскому.

А про него говорят:

— У-у-у! Черчилль... чертяка! Мизантроп этакий...

А про меня говорят:

— А хозяин-то... Еще очки надел!

А одна говорит:

— Бедный... Такой молодой — и уже слепой!

А один другому говорит:

— С-суки! Жизнь-то у них какая!.. Нам бы такую...

А мальчик кричит:

— Хочу собачку! Хочу-у-у!

А один говорит:

— Почему собака без намордника?!

А я думаю: «На тебя бы намордник...»

А я иду по улице в темных очках, с боксером... И у меня к нему симпатия. Да он бы и не обратил внимания на этого типа! Он вообще ни на кого не обращает внимания. Наверно, у него свой, собачий мир, и он меня туда не пускает. Я его уважаю за это. Мы бы с ним нашли общий язык. Но мой мир его не интересуется. Умный, зверюга! Лоб мыслителя. А глаза? Чтобы у всех людей — такие глаза!

Люди зыркают на него — на меня, на меня — на него. А он ни глазом, ни ухом — все тянет и тянет меня вперед. Сосредоточенность и целеустремленность во всем. Он явно идет куда-то. Наверно, ему стыдно показать, что он идет просто так...

И я, тоже вот,— гуляю с собакой...

У нее сегодня день рождения. Тетка приготовит торт...

А еще я могу — не пойти к тетке...

09.02.1960

СОБРАНИЕ ФРАКОВ

После речи дедушки Во, ровно в 12, звякнули шампанским.

Был роскошный стол.

Хвалили отдельные вина, их букет и выдержку. Пили из хрусталия мелкими глотками. Хвалили отдельные закуски. Кушали икру и апельсины-ананасы. Описание того, что кушали,— слов на 100.

У мужчин образцово торчали белоснежные манжеты.

Дамы держали длинные мундштуки в длинных пальцах.

Время от времени говорили, что все славно, но пробовали ли кто такой-то сорт вина, такую-то закуску. И если не пробовал, то не пробовал ничего в жизни.

Кто-то что-то кушал у знаменитого Шейнина-Моисеева-Ботвинника.

Все кушали Шейнина-Моисеева-Ботвинника.

Танцевали.

И говорили, что чудесная музыка, просто славная. Но кто не слышал такой-то вещи, тот не слышал ничего.

Что за музыка была у Шейнина-Моисеева-Ботвинника!

Вина становилось мало.

Женщины невозмутимо покидали стол и выстраивались у туалета.

У мужчин торчали манжеты.

Кто-то принес из бабушкиной комнаты часы с кукушкой. На него зашикали. Обиженный, он ушел на лестницу.

Где-то на кухне уединившиеся манжеты пили стаканами перцовку. Нюхали горбушку.

В кухне тоже ничего не осталось.

Два манжета толклись у хозяйкиных духов.

В три часа один кандидат, разговаривая о способах заварки кофе, упал замертво.

Жена выскочила из темного угла дивана и начала беспокоиться вокруг. Из того же темного угла вышел бледный дух, поправляя манжеты.

Обиженный человек принес с лестницы огнетушитель и представил его как доказательство.

Вызывали такси.

Кто-то пробовал еще упасть, но все поняли, что тот прикидывается.

Кто-то потерял манжету. Ползал.

— Адрес... Адрес свой потерял! — плакал он. — На манжету, уходя, записал... и потерял! Кто знает теперь, кто я такой?!

Никто не знал.

— Как меня зовут?!

Такси вызвали.

Кандидата погрузили на заднее сиденье.

Бледный дух махал ручкой.

Шофер был мужчиной.

Ехали.

Жена оглянулась на заднее сиденье: муж был еще там.

— Мужественная профессия... — сказала она шоферу.

Шофер рыгнул.

— Голубчик, вы всегда такой мрачный?

— Приехали, дамочка.

Кандидат сохранял бесчувственное состояние. Вызвали неотложку.

Врач был мужчиной.

Распевая, он пощупал пульс через манжету и приложил ухо к пиджаку.

— Ер-р-рунда! — сказал он. — Проспится. Ничегошеньки с ним не будет. Такого не бывает, чтобы что-нибудь было.

— Я так испугалась, доктор...

— Чеп-пух-ха! Стоило вызывать... Разве ж это случай? Это не случай. Вот только что был случай, так это случай! Жена с мужем друг дружку бритвами порезали... Только что оттуда.

— Благородная профессия... — вздохнула жена.

Врач поцеловал ей ручку:

— Вызывайте, как только сочтете нужным...

И долго искал галоши.

Видимо, тогда он и наблевал в передней.

09.02.1960

ЛЮБИТЕЛИ

За рулем.

Дорога впереди в ниточку. Машина раздвигает дорогу, разрывает лес. Лес разлетается, улетает двумя струями слева и справа.

Поворот.

На лужайке за обочиной — колеса.

Машина, как жук, — кверху лапками.

Чужая машина. Не своя машина.

«Вот это да! Вот этот пропорхал!...» — Вообразил. Возникла сказка происшедшего. Диагноз.

«Тот ехал. Тот затормозил. Того занесло. Тот повернул — еще больше занесло.

Заносило, заносило...

И тот полетел.

Перевернулся, перевернулся... Раза два перевернулся.

Не меньше ста была скорость!

Интересно.

А где же пассажиры?

Никого людей. Впрочем, пассажиров могло и не быть.

А шофер?...»

Машина остановилась. (Долг автомобилиста. Интерес профессионала-любителя.)

Все равно никого.

Вдруг смех. Послышалось?

Увидел...

На холмике сидит человечек. Смотрит на машину кверху лапками. Прыскает.

«Странный очевидец. Все-таки надо узнать.»

— Здорово!

— Здорово. Ха! — сказал сидящий. — Здорово? Ха-ха!

— Здорово! Ведь шел-то как! На сто.

— Наверно. Ха-ха-ха!

— Вы видели?

— Видел... Ах-ха-ха-ха!

— Наверно, подвели колодки?

— Ах-ха-ха! Курица... Ха-ха-ха!

— Ведь не меньше двух раз перевернулся?

— И-ах-ха-ха! Четыре... — трясся человечек. — И-их-хи-хи!

— Что ж тут смешного! — возмутился автомобилист. «Все бы этим пешеходам поскалиться». — Жертвы были?

— Их-хи-хи-хи! — визжал человечек, тыкая пальцем в сторону перевернутой машины. — Были... Иг-ги-ги-ги!!

— КТО? СКОЛЬКО?

— И-и-иг-ги-ги-ги-ги! Курица... И-их-ха-хи-ху-хó!

— Как?

— И-их-ха-хи-ху-хó! Хотел объехать... Уа-ах-ха-хи-хи-ху-хó! Уа-ах!

— А как же пассажиры?!

— Уóх-хоу-хоу! — лаял человечек. — Пассажиров нет. Уóх-хоу-хоу! хох!

— То есть как?!

— Уóх-хох! Фьить-фьють... И-ах-хи-хи-гú-го-гó! Фью-йт! — свистело в человечке.

— Бессердечный человек, — сказал автомобилист. — А шофер?

— Гú-гу-гó-го-гí-ги-гí! Бúль-бульк! — булькало в человечке. — Ох-гу! Ух-го! Ах-гы-ы-ы! — ухал он. — Игги... Хó-хíхи... Пш-ш-ш! Вш-ш-ш! — выпустил воздух человечек. — Шофер?!.. Гóги-гúги! Их-хи-хú-хи! Буль-бульк... Уáп-пи-пí! Бу-бо-бá! Фьють-фьють! Х-х-х... ЭТО Я!!!!!!.....

11.02.1960

ТАКИЕ ДЕЛА

В энской районной газетке была нехватка стихов. Кое-как перебивались на армейских собкорах.

Однажды — честь честью патриотических стих. В редакции обрадовались. Стих прошел.

Все нормальные люди читают нормально. А стихов не читают.

А вот какой-то псих читал стихи снизу вверх по заглавным буквам.

Искал.

Нашел: по диагонали читалось «ИВАНОВ — ДУРАК».

Иванов был большой человек.

Газетку разогнули. Столько-то человек, кормившихся ею, осталось без куска.

Эти люди:
стали писать стихи,
стали читать стихи.

СЕНСАЦИЯ!!

Весь мир потрясен вестью. 500 лет мы неправильно читали Вийона. Все стихи Вийона надо читать не так, как они написаны.

Их надо читать:
снизу, по диагонали, ходом коня, третьими буквами, четвертыми буквами третьего слова с конца пятой строки снизу.

Биография Вийона совсем не такая, а другая, зашифрованная.

А как обстоит дело с другими?

С другими обстоит так же.

Тыщи лет люди не так читали стихи.

Наивные увлечения прошлого: игра в 15, футбол, Шерлок Холмс.

Все читают стихи. Общий ажиотаж. Детективность стиха.

Страшные истории из жизни великих людей. Их теневые стороны.

Тираж поэзии подскочил до невиданных высот.

Современная поэзия перестроилась. Ушел в историю наивнейший по технике акростих.

Поэты строили дачи.

Поэтессы удачно выходили замуж.

Кроссвордисты, ребусисты терпели крах...

Но переквалифицировались:

«В этом стихе про зиму, найдя ключ, вы прочтете совет по домоводству».

Литературоведение с ужасом осознало, что оно шло не тем путем.

И оно пошло новым:

Надсон оказался словарем всех русских ругательств при соответствующем чтении.

Барков — лириком.

Классики были пересмотрены. Чистка.

Гражданские поэты были довольны: стало куда помещать идейное содержание.

Возникла проблема. О.....: его не удавалось расшифровать. Это был один из самых драматических моментов.

Открылась группа врагов.

Жертвой пал Щ. Стихи его, при соответствующем прочтении, таили в себе порнографические откровения.

Всюду:

в трамваях и парках,
на улице и в очередях,
сидели,
стояли
и ходили

люди с раскрытыми томиками и сложно водили пальцем, выискивая закон прочтения стиха.

А еще через тыщу лет — еще сенсация:

обнаружили рифму,
и что читать надо то, что написано в строчках,
и что ничего зашифровано не было.

Такие дела...

18.02.1960

КИТАЙЦЫ

624 тыс. т. мух перебили китайцы.

Торжественное собрание: в районе уничтожили всех мух. Эстрада — кумачовый стол — президиум. В зале товарищи в синих френчах. В президиуме товарищи из товарищей. Собрание считается открытым... Слово предоставляется...

Речи.

Товарищи сменяют на трибуне товарищей.

Зал относится с полной китайской ответственностью. Слышно, как муха пролетит.

Вдруг услышали... Пролетела.

Муха! Муха в зале!!

— Синь-синь-сяо-МУХА,— сказал председатель.

— Синь-синь-сяо-МУХА!! — сказал президиум.

— Синь-синь-сяо-МУХА!! — сказал зал.

Все смешалось. Ловили муху.

Поймали. Казнили. Отнесли в президиум.

Собрание продолжается.

...Где-то сдают сухих комаров. Где-то обязательно должны сдавать сушеных комаров...

18.02.1960

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

Человечек.

Когда закурил, перетряхивал пачку — раз-два, два-раз. Высунется папироска — он ее обратно загонит. Спрячется — снова вытряхнет. Раз-два, два-раз. Потом, словно спохватится, — достанет. И снова: откроет коробок спичек, закроет. Закроет—откроет. Ширк-ширк — коробок в его руках. Уже, кажется, никогда спички не вынет. Вдруг — раз! — закурит.

Уходит — дверь прикроет—откроет, откроет—прикроет. Туда—сюда. Сюда—туда. Помашет дверью, словно прикрыть ее можно только с великой точностью...

Положит что-нибудь на стол... Чуть пододвинет. Потом обратно. Еще подвинет... Пока вещь не успокоится словно на единственном для нее месте.

И был у него большой бумажник.

Отделений — раз, два, три... Много.

Одно отделение — для рублей, второе — для трешек, третье — для пятерок... Каждому сорту по отделению в этом бумажнике.

А каждая бумажка сложена в четыре раза.

И специальный кошелечек для мелочи.

Пересчитывает человечек деньги, они укладываются пирамидкой: внизу — самый большой квадратик, наверху — самый маленький...

Или можно по росту.

И досталось ему наследство. Тысяч пять.

Много вещей вдруг стало необходимо купить.

А тысяч всего пять.

И он решил так:

Ухнутся они — их и не было.

И жить ему будет — так же.

Ведь никогда ему отложить не удавалось...

А если черный день?

А про черный день — и ничего нет.

Надо бы их сохранить, 5 тысяч.

Но как-то приятно в то же время, чтобы не только он чувствовал, что у него есть деньги.

Положил в сберкассу.

КАК ОНИ ТАМ ЛЕЖАТ?

Беспокоился.

Снял, переложил в другую.

КАК ОНИ ТАМ ЛЕЖАТ?

Взял половину. Переложил еще в другую кассу.

Вынимал, вкладывал.

Клал, забирал.

ПЕРЕКЛАДЫВАЛ.

В одну кассу — три, в другую — две, в третью... — И нечего. Тогда:

Из первой — пятьсот. В третью — пятьсот...

А кассиры поглядывают.

Докладывают каждую субботу куда надо.

А соседи в квартире поглядывают.

Откладывается у них в голове.

И на кухне разговоры:

— Один человек нес мешок. На нем синие очки, несет его по улице. А пацаны пошутили — чирк! А оттуда — как посыплется! как посыплется...

— А то, еще у одного был чемодан с двойным дном...

с тройным!

с четверным!..

— А наш сосед ТОЖЕ странный человек...

А человечек беспокоился.

Еще раз переложил.

Тут-то и отделился от очереди один в плаще:

— ПРОЙДЕМТЕ.

А человечек то приоткроет сберкнижечку, то прикроет. То приоткроет.

Не понимает: куда пройдемте?

— Я давно слежу за вами и все знаю.

Жена пришла на свидание, говорит:

— Черный день пришел, надо бы...

— Э-э-э, не-е-ет... Какой это черный день! Разве это черный день? Это еще не черный день. Надо — про черный день...

Разобрались — выпустили человечка.

И еще случилось что-то...

— Вот, пришел черный день,— говорит жена.

— Нет,— говорит человечек,— это еще не черный...

И не было у них в жизни черных дней.

02.03.1960

КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ

(Старая история)

Ух! Ух! — Трясется лес.

Стонет земля под Кощеем.

Вот и хоромы.

Вот и дома.

Устал он, ух, как устал. Не такое теперь время.

А жена у него молодая, круглая.

И он говорит:

— А не пахнет ли тут человеческим духом?

Жена у него молодая, круглая...

Она и говорит:

— Полно тебе, нахватался в дороге. От самого и пахнет.

А я тут бедная, молодая-круглая...

— Ну, ну,— говорит Кошей.— Что ты говоришь... Какие ж теперь бабы? Одна ты у меня.

— То-то.

А сама ему на стол ставит. И первое ему, и второе, и третье.

Угодила всем. Обтаял Кошей. Разлегся.

— Иди ко мне,— говорит.

А жена ему гладит волосы, говорит:

— Уж так я тебя люблю, так холю...

Скажи, где твоя душа?

— В венике,— ухмыльнулся Кошей. А про себя подумал грустно: «Старая история...»

На следующий день ушел Кошей, жена веник и помыла, и посушила, бантиком повязала, маслицем смазала.

Явился:

— Что-то тут челове... — А жена надула губки, круглые, красные. А Кошей видит: в углу веник сияет.— Ну, ну, не буду,— говорит.— Зверь я, зверь... Истинно Кошей. Нехорошо я к тебе отношусь. К жене своей единственной. Соврал я тебе вчера. А ты — хорошая, доверчивая — сказок даже не читала. Разве ж может душа быть в венике? Сама рассуди... Соврал я тебе.

Жена совсем расстроилась с виду. Размяк Кошей:

— Скажу я тебе: там, на чердаке, в сундуке — шкатулочка, в ней заячий хвостик...

В нем моя душа.

И вот, на следующий день ушел Кошей, жена сундучок-то начистила, а из хвостика щепотку вырвала.

Приходит Кошей, шатается.

А жена молодая, круглая...

— Простудился я, что ли. Просквозило меня, продуло. Просек много — сквозняки. Сегодня уж точно человечесиной пахнет. Ну, да ладно, сил моих нет.

Слег.

Жена хлопочет. И малина, и мед, и молоко. Выскочит, словно в погреб. А сама наверх. Щипнет — и обратно.

А Кошею все хуже.

А жена хлопочет. Градусник ставит.

Гладит его по волосам:

— Поправляйся, выздоравливай...

Уж я ли тебя не любила, уж я ли не холила...

Скажи своей женушке,

где ты свои сокровища хранишь?

А Кошей вовсе обессилел. Рта раскрыть не может.

Приподымет только кверху два пальца...

И рука падает обратно.

А заячий хвостик совсем облысел.

А жена плачет:

— Неужто ты меня покинешь... Что я делать буду? Куда себя дену?

Скажи хоть, где свои сокровища хранишь-прячешь?

Тут Кошей собрался с остатными силами. Поднялся на чердак.

Хвост забрал.

А полюбовника съел.

И тут же поправился.

— Съесть бы тебя мало,— говорит жене,— да разрушать семью жалко.

И на что ты надеялась? Ведь я же бессмертный!

А жена и говорит:

— Виновата я, раскаиваюсь. Ошибалась.

— Старая история,— говорит Кошей.— Все вы начинали с веника... Бессмертный я.

Успокоилось все. Улеглось.

Говорит жена:

— Только скажи мне, что это ты все два пальца подымал, когда я про сокровища спрашивала? Думала, на чердак показываешь. А там ничего...

Говорит Кошей:

— Не подозревал я тебя. Думал, правда, заболел. Умирать собрался. Столько живу — надоело. И совсем уже на сокровища показать хотел. Но только подниму руку — и не могу. Подниму — и не могу...

А раз не вышло — зачем тебе про сокровища знать?

Бессмертный я, бессмертный...

02.03.1960

РОДИНКА

Можно сходить в кино. Взять билет за полтора рубля. Стоять у контроля и ждать, пока впустят.

Они обязаны впускать за час до сеанса!

Он войдет вместе со старушками и школьниками, мотающими уроки...

А когда впустят, можно рассматривать фото артистов, лица, знакомые до того, что странно, что они не с вашей лестницы. Или стенд о семилетке.

Можно купить мороженое, наконец...

Покупить с инвалидом в уборной.

Можно подняться наверх и листать журналы:
четыре матросов носило 49 дней в океане без еды,
наша галактика расширяется и конечна,
мы нашли друг друга! мы не виделись 10 лет... и вот
благодаря вашему журналу...

А ему и находить некого. Никого и никогда не было.

А можно и не пойти в кино...

Соседка Марья Ивановна говорит, что чайник скипел.

Можно попить чаю... Он всегда покупает к чаю что-ни-
будь вкусненькое. Сегодня — пряники.

И стало ему как-то скучно:

была бы у него мама,

был бы у него братец, звали бы его Вовкой... теперь бы он
был большой и старый.

А еще лучше — было бы два брата.

и еще сестра.

Он отодвинул чайник и пряники и долго вертел перо.

«Помогите отыскать моих близких,— написал он.— Мно-
гим вы уже помогли найти своих близких родственников.
Прошу теперь помочь мне.

Мы проживали где-то около Ленинграда, не могу вспо-
мнить, где. Маму, кажется, звали Верой.

Меня, сестру и двоих братьев (одного звали Вовкой)
соседи отдали в детдом, какой — не знаю. Позже меня с
сестрой привезли в другой детдом, а где остались братья —
неизвестно. Из детдома меня взяли одни люди, а сестру —
другие.

А я теперь живу тут».

Он перечитал. «Только как же они найдут?» — подумал
он. И стал думать, каким бы он был в отличие от других.

И ничего не мог придумать.

И тогда приписал про родинку. Про большую родинку у
брата Вовки. Такую большую, по которой узнают в книжках
выросших на чужбине сыновей.

Помогите отыскать моих близких!

Очень прошу.

16.03.1960

ОДНОКАШНИКИ

Петя Бойченко с 3-го класса собирал медную мелочь. К
10-му классу у него было два пуда. К V курсу — пять.

Он сел за задержку разменной монеты.

Во время летних каникул Вася Власов нашел на речке штык. Он сделал к нему ножны и хранил в столе до самой свадьбы.

Он сел за хранение холодного оружия.

Мой сосед по парте Колька Санин рассказал мне анекдот, а потом сознался, что я его слушал.

А Филька Шмаринов до сих пор гуляет на свободе.

21.03.1960

РАЗВОДЫ

Помню, он учил меня курить во втором классе. Звали его Гапсек. Вообще-то он был Коля Иванов. Просто как-то на детском утреннике мы видели, почти весь наш двор видел, картину «Гобсек». А потом Колька принес огромный моток серебряной ленты. Мы, конечно, хотели поделить. Но он не дал. Все сказали, что он жмот, жох и жига. Но он и внимания не обратил. А один крикнул, что он Гапсек. Колька страшно рассердился на это прозвище и погнался за обидчиком. Тогда все закричали: «Гапсек! Гапсек!». Потом все забыли, кто такой был настоящий Гобсек, а вся лестница была исписана:

Гапсек — дурак,
Гапсек — жук,
Гапсек + Валя
и т. д.

Я не поссорился с ребятами. Прошло время, и мы как-то редко стали встречаться. А столкнувшись, не знали о чем говорить.

Ребята побросали школу. Многие работали на заводе. Двое попали в исправительную колонию.

Сам я рос постепенно, а сталкиваясь с ними, удивлялся, как внезапно они выросли, что вот уже пошли в армию, а девчонки красят губы, а та, рыжая, — совсем недурна.

И мы как-то уже перестали здороваться. Вот только с Гапсеком... Он всегда широко расплывался в улыбке.

Потом кто-то вернулся из армии, кто-то стал чемпионом Ленинграда по боксу, кто-то заболел воспалением мозга (такой молодой!) и умер.

А девчонки таскали на руках детей.

Женился и Гапсек.

Все говорили, что бедная девушка, что он ей не пара. Она такая воспитанная, образованная...

А Гапсек потолстел, зарабатывал, не пил, приобрел телевизор и осуществил давнишнюю свою мечту — мотоцикл.

Родился маленький Гапсек.

А большой бегал по лестнице, обвешанный свертками. И вдруг что-то пошло не так.

В квартире снова говорили, что Гапсек ужасный человек, что бьет жену, что пьет и не работает.

А мать Гапсека говорила, что эта стерва хочет урвать площадь.

А Гапсек ходил какой-то потерянный.

Жена его сбегала в больницу, показала синяки и взяла справку о том, что она побита. Жена трясла перед Гапсеком справкой и говорила, что теперь-то он в ее руках.

А мать Гапсека сказала: «Дурак ты, дурак! Да на тебе же синяков еще больше. Пойди и возьми справку тоже. Не подскажи тебе, так ты так и будешь... Раззява».

И Гапсек взял. И доказал жене.

А жена все-таки подала в суд.

Суд разделил площадь: $1/3$ — Гапсеку, $2/3$ — жене с ребенком.

А площади 8 метров.

Гапсек ездил на мотоцикле и привез еще одну кровать. Так в комнате появился еще один муж, а Гапсек привел еще жену.

Когда родились дети, суд разделил гапсекову треть: $2/3$ — второй жене с ребенком и $1/3$ — ему.

Когда появились следующие, теперь уже две жены и два мужа, когда родились следующие дети, все развелись еще раз и каждый получил свою долю площади. И снова все возросло вдвое, и снова все развелись, и снова каждый получил свое...

А Гапсек все ездил на мотоцикле.

Предпоследним появился робкий молодой человек он обожал сырое тесто он приносил домой завернутое в целлофан тесто и входил в комнату после рабочего дня занимал свою $1/81$ часть площади и стоя на одной ноге поджав вторую ел тесто прямо из целлофановой бумажки держа его на весу как он в таком положении мог но от него тоже родился ребенок и это бы еще ничего дело в том что когда площадь была разделена еще раз молодой человек привел робкую молодую девушку и я живущий тремя этажами ниже встретил ее на лестнице моя мама категорически против того чтобы эта девушка жила у нас во всем городе не нашлось балетных тапочек 43 размера с большим трудом мне удалось выпросить их в балете ежедневно в ожидании решения суда я учусь стоять на пуанте и это бы еще ничего если бы было куда откинуть ногу

1000 лет мы прожили в подобной тесноте. Наши внуки научились летать. Они порхают под потолком и не пользуются площадью. Но они уже забивают кубатуру.

Им-то хорошо — они могут вылететь прямо в форточку...

Март, 1960

ПАФЛИ

— Слышал, слышал,— сказал Зарембо, встретив меня в раздевалке.

— Что — слышал?

— Уж слышал,— сказал он и, подмигнув, ушел.

Поднимаясь по лестнице, я почувствовал себя тем более странно. Что-то очень непривычное было на этот раз, хотя я ничего такого не мог заметить: все было так же. Я уже совсем поднялся, и тут столкнулся с Иваном Филипычем.

— Что же это вы? — сказал он.

— А что? — сказал я, и что-то во мне сжалось.

— А вам уж надо бы и самому знать,— сказал он.

И вот его нет уже, а я вдруг осознаю, что же было такого непонятного, когда я поднимался по лестнице. Вот уже сколько я по этой лестнице хожу, там всегда только одно слово нацарапано было: почему-то «Культия». Не может быть! Я спустился, внимательно осмотрел стену. И действительно — никаких следов... И тут опять Иван Филипыч появился. Ничего не сказал, только посмотрел.

Когда я входил в чертежную, все словно бы замолчали, приподняли головы и замерли, на меня глядя. Я тихо проскользнул к своей доске.

Растягайцы на приколе!..

— почему-то визгливо пропел Слоним и замолчал так внезапно, что тишина вроде бы звякнула, когда наступила.

Я принялся за дело, и вдруг до меня дошло. «Распрягайте, хлопцы, коней» — вот что пел Слоним. Вот оно, оказывается, что.

Солнце — просто ужас, какое солнце! И синица — влетела и повисла на форточке вниз головой и вертит ею. А я просто веду эту линию, веду и, кажется, всю жизнь только ее и веду, и буду вести. Бумага — белая, линия — черная, кнопка — блестящая, резинка — мягкая, доска — ровная, табуретка — круглая и вертится, синица висит вниз головой и ею вертит; капли капают, солнце — яркое и круглое; крутится; капли по стеклу, круглые, катаются; кнопки — блестящие, круглые, крутятся. Пожалуй, кроме этих четырех, надо еще четыре по

середкам воткнуть, чтобы бумага не топорщилась... Кнопки блестящие... А где же кнопки? Кто взял?

Я подошел к Слониму.

— Ты не брал мои кнопки?

— Кнопки? Какие кнопки?

— Как какие! Мои... Простые, обыкновенные.

— О чем это ты? Да постой, что это с тобой?..

— А что?

— Ну ничего, ты не унывай... Но что это ты сегодня? Не такой какой-то...

— А какой же?

— А не такой.

Вот теперь не отгибается. Я веду и веду свою линию. До самого обеда.

Спускаюсь со всеми в столовую.

— Ну вот и ты с нами,— говорит мне Зарембо.

— А что тут такого?..

— Да нет, это я так...

Спускаюсь, смотрю на стену. Нет «Культи». А тут Артамонов. Задушевно так за руку берет и не выпускает, в своей держит, и пристально так на меня смотрит.

— Ну как ты, Петя?

— А что?!

— Ну ничего, ничего,— говорит Артамонов.— Это ничего.

В столовой опять солнце. Всюду слепит. Набрал всего на поднос — не знаю, куда сесть. Стою с подносом. Вижу, Слоним один сидит. Сажусь к Слониму.

— Что же ты, Петя, киселя-то не взял? — говорит Слоним.

— Как киселя?

— Ты киселя-то возьми.

Теперь и кусок-то в горло не полезет. Что это? Солнце слепит, Слоним сидит напротив, кисель пьет. Да полно, Слоним ли это?

И вот опять я веду и веду эту линию. Кнопки блестят, круглые. Капли еще капают. Синицы же нет. Рейсшину почистить надо — мажется. Синицы нет. Иван Филипыч подходит.

— Так, так,— говорит.

Я черчу, не оборачиваюсь, веду свою линию.

— Культию подхавали пафли,— слышу я из-за спины.

— Что вы сказали?! — говорю я.

— Я? Ничего. Что это вы, право?..

И отходит.

Я же черчу. Только что-то вдруг все на меня пристально смотреть стали. И не чертят уже, смотрят все и молчат.

«Да полно вам»,— хочу сказать я.

Молчат. Солнце. Кнопки блестят. И чертежные доски отдельно так стоят, черные на солнце, на тонких ножках; ножки все мелькают — и словно бы все эти доски по комнате плавают и ножками перебирают.

«Ну что вы?! — хочу сказать я. — Не надо! — хочу крикнуть я. — Да вы что?!»

Молчат. Все словно бы расползается перед моими глазами, как мокрая промокашка. Серое такое, амебное...

«Спокойно, — говорю я себе. — Только спокойно. *Культ-поход завтра. Возьми себя в руки*».

01.04.1962

ВОСПОМИНАНИЕ О БОЧКЕ

Эта бочка, совершенно непонятно почему, стояла на насыпи, причем так близко от проходящих поездов, что до нее можно было дотянуться рукой. Она была железная и пустая, а сразу за ней был длинный склон насыпи, и там, в глубине, под насыпью, до самого леска — огромная лужа. Бочка была рыжей от ржавчины, и на ней было написано 703-КЛ, но и эта надпись была уже рыжей. Невдалеке от бочки стоял маленький белый столбик с цифрой 7, отмечавшей очередные сто метров. А в другую сторону, и тоже невядалеке, стояла черная металлическая мачта, которая поднимает плоскую металлическую лапу с кругом-кулаком на конце. От этой мачты долго еще, до самой путевой сторожки, низко над землей тянутся интересные такие тросики. Побеленные же камушки, уложенные чуть не через каждый метр, тянутся вдоль всей линии аккуратной цепочкой. У этой мачты, внизу, даже растет трава, и несколько запыленных ромашек с трудом поддерживают свой головки. А под насыпью — там вообще море этих ромашек, до самого леска. Лесок из молоденьких сосенок — пушистый и веселый. Чуть подальше за ним течет ручеек, и один его изгиб виден с железной дороги: так он поблескивает. За ручейком длинное непонятное строение, и всегда одна и та же грустная лошадь пасется около него, и кажется: никогда не сойдет со своей точки. А там дальше луг и опять что-то вроде ромашек, до самого горизонта. А если нет дождя, то над всем этим еще голубое небо с редкими взбитыми облачками.

Так вот, бочка, старая и ржавая, стояла на высокой насыпи, у самой колеи, и внизу была лужа. По насыпи полз зелененький дачный поезд. На подножке одного из вагонов сидел Петр Иванович и ехал на дачу. Он вез туда большую

подушку. Он сидел на подножке, обнимал подушку, и подбородок его покоился вверх. Ему было очень удобно сидеть вот так с подушкой, и он дышал воздухом, который совсем другой, чем в городе. А дождя в это время не было, и поэтому небо было голубое, с редкими взбитыми облачками.

И Петр Иванович увидел множество ромашек и пушистый сосновый лесок, за леском блеснул ручеек, и Петр Иванович увидел длинное непонятное строение и эту грустную лошадь, а дальше луг и опять ромашки... Он глубоко вздохнул, и что-то переполнило его.

И тогда он увидел рыжую бочку прямо перед собой и так близко, что ничего не стоило до нее дотянуться. В тот же миг Петра Ивановича озарило. Будто полыхнуло.

Озарение — вещь мгновенная:

он увидел перед собой бочку —

и пнул ее ногой в совершенно естественном желании посмотреть, как эта пустая железная бочка, которая еле держится на краю насыпи, покатится глубоко вниз по этой насыпи

и шлепнется в огромную лужу, и сколько при этом будет шуму...

И вот что произошло:

бочка осталась стоять на месте, нисколько

и не шелохнувшись,

а Петра Ивановича с подушкой

не оказалось на подножке.

То есть, совершенно невозможно себе представить, как закричал кто-то в тамбуре, и как они кричали дальше, между тем как поезд, что совершенно естественно, далеко уже проехал мимо бочки, где-то под собой оставив Петра Ивановича и увозя кричащих в тамбуре. Вполне понятно, что через некоторое недолгое время поезд все-таки стал, и из него вылетели и помчались назад по насыпи кричавшие в тамбуре и многие другие люди из поезда, может, даже весь поезд, и вот они высыпали и бежали назад по насыпи, рисуя себе ужасные картины.

И вот видят Петра Ивановича, если можно так сказать.

Он вырос вдруг, как из-под земли...

И вот он идет себе по шпалам им навстречу, широко и радостно улыбаясь,

и в руках у него —
две ромашки.

ИЗ МОЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ КОРЗИНЫ

а и б
сидели на трубе
а упало
б пропало
что осталось на трубе?

Загадка

МОЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КОРЗИНА

Сегодня моя тетка выбросила на помойку совершенно новую корзинку. Она всегда выбрасывает эти чудные корзинки, абсолютно не находя им применения. Сегодня я забрал эту корзинку. Такая замечательная корзина! Просто я удивился, как это я не догадался забирать их раньше. Белая, плетеная, аккуратная... Так у меня все без места, а тут я могу положить это в корзину. Очень современная у нее форма... Я положу в нее журналы, которые валяются, где попало. Или я положу в нее газеты? Газеты копить ни к чему — только пыль. Впрочем, можно вместе: журналы и газеты. Можно скаладывать в нее грязные носки. Или всякие иголки, нитки, пуговицы. А можно поставить ее на стол, а в ней рассыпать — так красиво будет выглядеть! — букеты цветов, которые я буду собирать этим летом. Я положу в нее фрукты. Бананы. Ананас. Приспособлю ее под хлеб. Под сухари. Буду хранить в ней письма. Канцелярские принадлежности. Фотографии. Фотопринадлежности. Спортивный инвентарь. Гайки, гвозди и другие детали хлама. Курительные принадлежности и разных сортов сигареты. Бутылки с разным вином. Пустые бутылки. Веревки. Старые тетради. Библиотечные книги. Аптечку. Я сделаю из нее абажур — это будет замечательный абажур! Постель для кошки. Лучше заведу щенка. Будьдога? боксера? дога? ньюфаундленда? Лучше маленькую собачку. Ежа. Ужа. Какая чудная пепельница!!

А рукописи?..

01.04.1962

ЧЕРНИЛЬНИЦА

(Из рассказа «Бездельник», черновой вариант)

...Есть еще гигантомания: скрепки-гиганты, чернильницы-соборы и кнопки с пятак. Интересна также иерархия чернильниц и всяческой канцелярской роскоши. Вот, допустим, вам бегунок подписать, так можно все это проследить. Есть чернильница-шеф, вы представляете, даже выражение у шефа на лице такое же! Есть чернилица-зам. Кажется, и нет почти разницы, тоже роскошная, а все-таки — зам. И так далее, и так далее, ниже и ниже. То есть просто, наверно, промышленности трудно справляться с таким обширным ассортиментом, чтобы каждому чернильницу по чину. Ведь даже промышленность такая есть, вот в чем ужас! Есть и самая ненавистная мне чернильница-руководитель. Однажды, в самом начале, поручили мне эту чернильницу наполнить. Чернильницу руководителя. И я — конечно, это только

я так догадываюсь — не бутылку с чернилами принес, а весь прибор забрал с руководительского стола и понес из кабинета, через наш огромный отдел, к бутылке с чернилами. Руководитель, помню, еще так удивленно на меня посмотрел, но я не придал значения. Да ведь и не только по нелепости своей понес я чернильницу к бутылке, а не наоборот. Не совсем ведь достойное вышло поручение... И захотелось мне подчеркнуть это. Туда еще ничего: на злости не заметил, как дошел. А обратно... чернильницы я, конечно, переполнил, так что чернила мениском своим торчали над краем... и вот несу, мелкими шажками такими переступаю, не дышу уже — какая там злость! — доска мраморная скользкая, чернильницы скользкие — по доске катаются, а между ними какой-то медный собор крышкой бренчит. И чего, думаю, он вечной не пишет... Доношу до самых его дверей, и тут как раз дверь открывается — до чего ж хорошо получилось, думаю я, а то я все шел и страдал, как я дверь отворю... — распаивается, и в дверях женщина, и до того красивая, что такой ни разу у нас на работе я не видел. Выходит она — и я перед ней, с чернильницей. Я, конечно, глаза растопырил и галантно так в сторону отхожу, чтобы даму пропустить. И она, конечно, тоже отступает, чтобы пропустить меня с моими чернилами. Внимательно так на меня посмотрела. И до того мне тотчас неловко стало: чего это я чернильницы разбежался носить! А женщина отступила, дверь придерживает и говорит: «Вы проходите, проходите». И я прохожу. Боком почему-то, лицом к женщине. И тут этот чернильный постамент у меня чуть наклоняется и чернильница с него на пол — прыг!.. лежит так на боку, и аккуратная лужица по полу расплзается. И я, конечно, — нет, чтобы плюнуть и идти дальше, нет! — держа прибор в одной руке, наклоняюсь подобрать — и тут — прыг! — вторая. Тоже на боку лежит. Рядышком. Вспомню — трясет. И еще трясет потому, что руководитель вроде бы все тогда понял и ничего мне не сказал. До того он у нас чуткий. Не стал размазывать. Лучше бы орал. А как уж он этой своей чуткостью все размазал!.. Лучше бы хохотал. Ведь смешно же! Ведь это же дьявольски смешно... Вот она чернильница-руководитель!.. Стоит себе. Покоится. Ничего нет хуже средних чернильниц! Весь ужас чернильниц-черни и чернильниц-бояр соединился в ней. Да что говорить! Даже в красном уголке есть своя красная чернильница...

1. ПОДВОДЯ ИТОГИ

Чего я достиг?

7 Витек, и

5 Санек, и

1 Феликс

непрочь со мной выпить...

Ну и что?

2. ХОЛОСТЯК

Вы набираете номер...

Вам говорят, что вы ошиблись...

Вы думаете, вы не туда попали?

Как бы не так!

Все подстроено.

У этих охотящихся женщин — знакомые телефонистки... Эти телефонистки... Нет, вы совершенно правильно набрали номер. Это они переключают мужчин. А вы замечали, что всегда, когда вы не туда попадаете, какие это все прия-я-ятнейшие женские голоса?..

3. ОЧЕНЬ ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ

Одна бабушка жила совершенно одна. Куда ей деньги? Деньги она прятала в валенок. Однажды села на сундук, отдыхает. Посмотрела на печь — думает: «Печь». Видит — валенки, думает: «Валенки». Ну да, валенки... Куда ей валенки? Стоят себе и стоят.

Отправилась на базар, продала валенки. Приносит деньги домой, хочет спрятать. Где валенок? Ну да, валенок... Ах ты, боже мой, господи, валенок!!

4. ЧЕРЕСЧУР БОЛЬШАЯ РЫБА

А вот у нас большую-большую рыбу поймали. Акулу-кашалота. Большая-большая!.. Я как раз на работе был. Честное слово. Работал я тогда там. Кого хотите спросите. Работаю это я... А у меня там дружки были... Прибегают, говорят: акулу поймали! Большую-большую. Кашалота. Ну, побежал я с

ними. Прибегаю, значит. И вот... действительно... лежит акула... большая-большая!

5. ТРИУМФ ЯЙЦА

Что случилось с этим человеком? На нем лица нет. Лицо есть, но такое растерянное... Может, у него состояние?.. Когда все вокруг теряет радость и красоту? И все непонятно и бесцельно? Почему — для кого — зачем??? И вообще есть ли хоть один предмет?

А может, у него в кармане было яйцо всмятку? И он о нем совершенно забыл? Забыл и жил так, будто у него нет в кармане яйца? И когда полез в карман за сигаретами или за мелочью, то почувствовал — все это?..

6. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БЕТХОВЕНЕ

Вот только непонятно, почему, к примеру, Бетховен не писал научно-фантастических романов? Космос, например... Что, это ему было неинтересно, что ли? Не близко? Неужели его это не волновало? Безграничность познания и возможность достижения неужели были ему чужды? Неужто он не мог оторваться от окружающего его быта? И ему не хотелось помечтать о светлом будущем? Или, может, у него не хватало способностей? Воображения?.. Ну да, ведь он был глухой.

7. ПЯТЬ СОТЫХ

Проголосовало 99,95%, и я замечаю, что с детства, когда еще ничего не имел в виду, думаю об этих 0,05.

Я беру двести миллионов, делю на сто, умножаю на пять сотых — получаю

$$\begin{array}{r} 200\ 000\ 000 \\ 0,05 \\ \hline 100\ 000 \end{array}$$

Кто они, эти сто тысяч?

ТЕПЕРЬ НЕ ТО

Уж теперь не то, что было прежде!
Грустно мне, как вспомню о былом:
Раскрывалась сладко грусть надежде
И мечтам о счастье земном;

.....

Жизнь теперь я лучше разумею;
Счастья в мире перестав искать,
Без надежды я любить умею
И могу без ропота терять.

Ю. В. Жадовская
(«Чтец-декламатор», 1908)

КТО?..

На перроне стоял почетный караул, мимо которого про-
вели Ильича и всю нашу эмигрантскую братию, потом нас
посадили в автомобили, а Ильича поставили на броневик и
повезли к дому Кшесинской.

(Из воспоминаний старого большевика, 1961)

КОМИССАРЫ...

...Дакаленко, Петленко, Кошелев, Брюзгин и Плохов.

ХОТЯ ВОЖДЬ УМЕР...

Одним из основных условий подготовки полноценного,
всесторонне образованного работника советской музыкаль-
ной культуры является глубокое и творческое овладение
марксистско-ленинской наукой, знание которой, как учил
нас товарищ Сталин, необходимо для людей всех профессий.
Марксизм-ленинизм формирует весь склад музыканта, его
облик. Советской стране нужны не узкие профессионалы и
индивидуалисты, а активные деятели искусства, способные
внести достойный вклад в советскую музыкальную культуру.

До сих пор мы имеем факты беззаботного отношения к
изучению марксистско-ленинской науки. Студент Яснев-

ский, обладая определенными данными по специальности, проявляет полную беспомощность в вопросах марксизма-ленинизма. Он растет музыкантом-ремесленником, не способным к подлинному творчеству, ибо не понимает задач советского искусства. Не считают для себя нужным и обязательным изучение гениального труда товарища И. В. Сталина и материалов XIX съезда партии студенты Копылов, Иоаннисиани, Лейбенкрафт и другие. И это в то время, когда труд товарища...»

*Из многотиражки Ленинградской консерватории
«За музыкальные кадры», 1953*

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Беседуя с конструкторами, Н. С. Хрущев дал ряд практических советов, как изменить систему сцепки, чтобы смену тележек для измельчения соломы производить без остановки комбайна.

— Будет большая ж экономия и времени, и горючего, — подчеркнул Никита Сергеевич, — и производительность машин повысится.

На этом же поле, где только что убрана озимая пшеница, работал новый, необычного вида, большой колесный трактор мощностью 130 лошадиных сил. Он производил глубокую вспашку земли пятикорпусным плугом со скоростью 9 километров в час. Транспортная скорость этой машины достигает 35 километров. Никита Сергеевич заметил, что для этого трактора нужно сделать шины низкого давления, чтобы он мог работать так же производительно и ранней весной на влажной почве.

После осмотра хозяйства председатель колхоза Г. С. Могильченко пригласил Н. С. Хрущева и сопровождающих его лиц к себе в дом на завтрак.

«После XXII съезда»

ПРОРОЧЕСТВО

Дружески настроенная к нам американская писательница Бесси Битти после пребывания своего в Поволжье в голодный 1921 год встретила в Москве с Лениным и спросила его: «Что передать Америке?». Ленин ответил: «Так и передайте: «Мы не завидуем ей даже в нашем нелегком положении. Она богата, мы бедны, она сильна, а мы еще очень слабы, она, быть может, даже сыта, мы... — он умолк, сурово взглянул на

небо.— Но у нас есть то, чего нет у нее,— вера. А это даст нам все: и силу, и хлеб... много хлеба».

Так сказал Ленин в 1921 году.

Блокнот агитатора, 1961

1 МАЯ 1961 ГОДА

Мы, сомалийцы, знаем о страстных выступлениях Никиты Хрущева против империализма, в защиту народов Африки, и говорим ему: Сердечное спасибо!

Субер Эно Осман и Абдул-Кадер Абукер Магди

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Советско-турецкие отношения были омрачены в послевоенный период рядом осложнений. Однако Советский Союз и Турция — по-прежнему ближайшие соседи.

ПЕНЗЕНСКИЙ ПОЧИН

— На нашем призывном пункте — настоящий «урожай» на близнецов,— шутит майор из облвоенкомата.— Среди призывников восемь пар братьев-близнецов. Все они направлены для прохождения действительной службы в одну часть.

АРМИЯ

Около четырех миллионов человек в СССР играет в шашки. В их числе — более шестисот мастеров, восемь гроссмейстеров. Но популяризация шашек среди детей и юношества ведется пока слабо.

ВОТ В ЧЕМ ВСЕ ДЕЛО

Туркмения: без осадков, плюс 26—31.

Москва: ветер, дождь, утром минус 3—5.

ЗНАЙ СВОЙ ГОРОД

Одно из бывших помещений духовной семинарии (д. № 17) занимает лыжный цех катушечной фабрики имени Володарского.

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Интересны вазочки для цветов в виде скульптуры. В работе скульптора В. Пермяк изображена девушка, несущая корзины цветов. На дне корзины имеются отверстия, соединяющие корзины с «туловищем» вазы.

А ЧТО НОВОГО ПОЯВИЛОСЬ В ОДЕЖДЕ МУЖЧИН?

В этом сезоне палитра мужской одежды обогащается зеленоватыми, изумрудными, синими цветами. В то же время самый модный — черный цвет.

РАСТЕТ ИМПОРТ

Вниманию потребителей!

На давайте детям играть с этим мешочком.

Иначе, если ребенок наденет по ошибке мешочек с головой, то он может задушиться, так как этот мешочек сделан из воздухонепроницаемой пленки.

Самое эффективное средство, которое огромным успехом атакует перхоти, этот неприятный космический дефект.

Мазать корни волос, помощью ваты, легко массируя, оставить так просидеть 20 минут при взрослых, а у детей 10 минут.

Надо употреблять очень внимательно, чтобы препарат не попал в глаза и в рот, чтобы не причинить отравления. Препарат СУЛЬФОСЕН пользуется только для устранения перхоти.

Япония

ЗА РУБЕЖОМ

Некролог

Последний индеец племени ямана умер в аргентинском городе Ушуая. Родиной племени была Огненная Земля. В 1850 году оно насчитывало 3000 человек.

Яманы не имели никакой политической организации, слово старейшины считалось для них законом. Они были небольшого роста — всего около 150 см, жили в хижинах, крытых травой или овечьими шкурами. Язык племени делился на 5 диалектов.

Полезный совет

Как быть, если ваш муж или сын порвал шерстяные брюки, зацепившись за гвоздь? Ответ на этот вопрос дает французский журнал «Рабочая жизнь». Оказывается, надо сдвинуть как можно ближе края разрыва, взять кусочек той же материи, густо смазать его яичным белком, подложить под разорванное место и пригладить с изнанки горячим утюгом.

Где третий?

Фернли Г. Р., Чакрабартти Р., Винцент Ц. Т. Влияние пива на фибринолитическую активность крови. Ланцет, 1960. Великобритания.

Предварительные эксперименты с участием 2 человек показали, что пиво из бочки и белое вино в значительной степени понижают фибринолитическую активность крови; виски, джин и чистый спирт не обладают этим действием.

СЛАБАЯ ПСИХИКА

Хронофобия — безудержное стремление к уничтожению стенных часов.

Псевдолалия фантастика — навязчивое стремление сознаваться в краже вещей, которые не были украдены.

Танатомания — болезненное пристрастие к чтению некрологов.

Ретифизм — патологическая страсть к покупке ботинок.

Тафефобия — боязнь быть похороненным при жизни.

Уранофобия — боязнь улететь на небо.

Франция

НА ДОСУГЕ

Один из играющих берет носовой платок и, сказав первую половину какой-нибудь пословицы, бросает его в кого-нибудь из играющих, а затем считает до трех. Тот, в кого брошен платок, должен тотчас же, пока считают до трех, сказать вторую половину какой-нибудь совершенно другой пословицы.

Например, бросивший платок говорит: «На то и шука в море...», ему же отвечают: «...а сам не плошай».

Чем несообразнее получается ответ, тем больше в нем юмора. Не успевший ответить выбывает из игры.

Из отрывного календаря

1. ФЕНОЛОГ

...Благоухает пчелиное раздолье медоносных цветов. Дружно сразу зацвели деревья, кусты, травы. «Черемуховые холода», как обычно, замедлили роспуск раннецветных растений, и в строй к ним подвинулись по очереди предлетние цветы: в руках перемежались букеты черемухи, сирени, ландышей. Совпали вместе весенние цветы садов и леса.

Климатический цикл «зеленой весны» не уложился в свою норму — 35 дней — и на декаду отдалил начало предлетья. Воздух посвежел, и после первого за полмесяца благодатного дождя холодно стало на Севере и в Сибири. Климатической приметой недаром считается, что июньское похолодание обычно завершает центральный сезон весны. Именно в первую декаду июня в отдельные годы прихватывали ночные заморозки на почве и даже выпадали очень редкие пороши скоротечного снежка-нележка (как в 1947 и 1904 гг.).

Безоблачно прошла нынче на редкость солнечная весна, но буяны-ветры ознобом баламутили, остужали циклический воздух ранней и зеленой весны. И нечаянной особенностью отличился исключительно безгрозовый май тихого неба, без грома и молний. Только соловьиный «гром» слышен в сирени.

Между роспуском почек и цветами сирени и рябины обыкновенно проходил ровно месяц, а нынче вышло полтора месяца, почти на полмесяца раньше заторопились зеленеть вздутые бантом почки, а распустились через полтора месяца, в средний срок. От зеленых пик-почек до цвета черемухи тоже прошло больше времени, а именно: восемь пятидневок вместо нормальных пяти. Фаворит садов — жасмин — пока обутонивается.

В первой декаде июня при среднесуточной температуре воздуха в 14,7 градуса цветут 19 главнейших медоносов и вновь расцветают два древесно-кустарниковых и шесть травянистых медоносов.

От цветов черемухи до конца цветов сирени идет последняя, третья фаза фенологической весны. Это климатическое предлетье.

6 июня 1961

2. АКТИВИСТ

Первому секретарю Петроградского РК КПСС
т. ГРЕЧУХА Н. А.
члена КПСС пенсионера Демидовой О. Д.

Мы живем в замечательную эпоху, эпоху строительства Коммунизма.

Сейчас, когда миллионы людей советских учатся работать и жить по-коммунистически, когда семилетка шагает семимильными шагами и творит чудеса, когда рождаются новые формы коммунистического воспитания через народные университеты, которые пользуются большой любовью трудящихся по месту жительства, нельзя не отметить, что по индивидуальному воспитанию советских людей в духе коммунизма, по месту их жительства, еще многое не сделано.

Если бригады Коммунистического труда на заводах и фабриках в борьбе за выполнение плана семилетки рожают нового человека Коммунистического завтра, то в быту — в домах и квартирах — еще мало сделано. А опоздать немного с воспитанием нового человека, можно задержать наш приход в то новое, светлое и радостное, что зовется Коммунизмом. Наш Петроградский район был первым инициатором широкого развертывания работы среди населения по месту жительства. Полагаю, что мы можем смело продолжить начатую инициативу и внести на рассмотрение предложение — «О СОЗДАНИИ КВАРТИР КОММУНИСТИЧЕСКОГО ЗАВТРА».

Каждая квартира берет на себя следующие обязательства:

- 1) Безупречно-моральное поведение всех проживающих в квартире;
- 2) Взаимопомощь друг другу;
- 3) Повышение своего идейного и культурного уровня через (нрзб.) университеты, кинолектории, музеи и другие культурные учреждения.
- 4) Сохранение жилого фонда как государственной собственности.

Работа трудная, кропотливая, долгая, но и вполне выполняемая. Такая работа под силу нашей многочисленной армии агитаторов и, если мы ею займемся сейчас и немедленно, то будем шагать в ногу со всем рабочим классом нашей страны.

Всякое промедление недопустимо!

Член п/бюро 7 жил. Кон-ры

(О. Демидова)

19.10.60

3. ИСТИЦА

Привет из Свирска
Здравствуй Михаил.

С приветом к тебе Надя и мой супруг Николай и Леночка. Сообщаю что письмо я твоё получила за что большое спасибо. Но меня очень удивило что ты нашол мой адрес и прислал мене письмо. И вот я сичас пишу тебе письмо и думаю что всё так было хорошо но повернулось в другую сторону, а почему ты знаешь сам писать не надо, я только одно напишу что виновна она сама и ненадо было ей злить меня или же после всего этого могла же она прийти к нам и сказать черт или ещё что сказать что мол прости Михаил мы разберёмся и уплотим тебе всё что будешь ходить по больничному но заместо этого она начела орать то что я блять и такая секая и передакая, но я надеюсь честнее её, и мене сичас всеровно с ней не встречаются и стобой тоже может не встретимся но как она говорила что я стобой путалась и прочее но это была ложь, ведь ты знаешь а если бы нужно былобы то я бы стобой и могла ходить когда ты был еще парнем, а когда ты уже стал мужиком то ты для меня был просто хорошим другом или как ты говорил моим родным что моя сестрёнка Надька, а вы мои мать и отец, и вот поэтому она ревновала, а когда ты уехал домой к себе то она тебя ждала, а с Гигинау Вовкой спала, но я думаю что ты от меня слышишь первый раз не смотря на то что ты у меня спрашивал но я всё говорила что Миша это неправда, а ты отвечал что я всё знаю и можешь не скрывать, но я молчала, а после того как тебя посадили она через неделю уже нашла солдата и всё говорила что это к Надьки ходит а не мой, но когда Бутин и Сеньчуков увидели её в кустах то ей и крыть больше нечем и пошла мольва по посёлку что мол пришол солдат Надькин но пошол Толя к Жени, и она после стала отвечать, мой чемодан кому хочу тому и дам и останется мужу.

Миша ты спрашиваешь на помилование, я не против и могу подписать твоё заявление и живите сней если что это поможет.

Миша немного осебе живем мы хорошо и дружно Леночка уже большая четвёртый год с декабря пошол. Вот я пишу письмо а Ленка бегаёт и говорит кому письмо пишешь а я говорю что Юрыному папы а как его звать я говорю что дядя Миша, а когда он пиедет суда. Миша посылаю тебе фото с мужем сосвоим если можешь то вышли своё он хочет посмотреть тебя.

Новот и всё жду ответ
Надя

Жму руку.

Мой адрес. Лен. обл. Лодейно польский р н. п/о Старая слобода.

Жигаренко Над. Сергеевна.

4. В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ

(Из дневника незнакомки)

Умей жить тогда, когда жизнь становится невыносимой (Н. Островский).

Человек создан для счастья, как птица для полета (Короленко).

Хорошо чувствовать себя одной, но плохо чувствовать одинокой (В. Кетлинская).

Тяжела и невыносима рана, если она нанесена любимым человеком неожиданно и внезапно (Логунов).

Достоинство девушки — это ее чистота, доброта и скромное поведение.

Лучше прожить 5 минут, чем просуществовать 5 лет (Белинский).

Истинная любовь страдает молча (Е. Мальцев).

Наука это не каток, по которому скользят по поверхности (Добровольский).

Не годы сближают людей, а моменты (К. Маркс).

Лучше умереть стоя, чем жить на коленях (Долорес Ибарури).

Человек! Это великолепно! Это звучит...* (М. Горький).

Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему только один раз. И прожить ее надо...** (Н. Островский).

Любовь — это очень нежное робкое чувство, и очень нехорошо, если в ней начинают копаться посторонние (Медынский. «Повесть о юности»).

Умей любить так, чтобы пройти мимо ста лучших и не оглянуться (Ауэзов).

Настоящий человек — это то, что скрывается под внешним человеком (Пименов).

Капля долбит камень не силой, а частым падением (Флеминг).

Товарищество — это не дружба, но от товарищества до дружбы один шаг (Лермонтов).

Нет ничего тяжелее, чем измена первого друга (Маркс).

Замарать себя в глазах людей легко, а очистить трудно (Панова).

* Сокращено мною. — А. Б.

** Сокращено мною. — А. Б.

Превосходная должность — быть человеком на земле (Горький).

Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь (Локотков).

Высший судья — совесть (Горький).

Лучше ждать и не дожидаться, чем найти и потерять (Маяковский).

Ревность — одна из отвратительных черт в человеке (Локотков).

В человеке должно быть все прекрасно: и одежда, и лицо, и мысли (Чехов).

Вторично пережить нельзя, что было пережито раз.

Счастье, конечно, в любви, но взаимной (Г. Матвеев. «Семнадцатилетние»).

Юность дается человеку только раз в жизни, и...* (В. Белинский).

Жизнь — сложнее всяких схем (Л. Леонов. «Дорога на океан»).

5. ИГРА НА ВЕЧЕРЕ

*(Кабинет культпросветработы и искусствоведения ЛВШПД
ВЦСПС)*

Когда молчит оркестр, когда Вы хотите отдохнуть от танцев, разверните этот листок, возьмите карандаш и попробуйте решить предложенные здесь занимательные задачи. За правильные решения Вам будут засчитаны очки. Троиц участникам игры, которые раньше других наберут наибольшее число очков, будут вручены призы.

Задача четвертая

Решите следующие шарады:

1. Мой первый слог — тревога, второй — предлог, а целое — в лесу стоит, в одном цвету зимой и летом.
2. Мой первый слог течет из Альп, второй найдешь на нотной строчке. Ударь на первый слог меня и именем прикинься я, а на второй — колхозная земля.

Задача пятая

1. Какой писатель открыл Америку после Колумба.
2. Кто первый перевел на казахский язык «Евгения Онегина» Пушкина и из какого романа мы это узнали.

* Сокращено мною. — А. Б.

3. Какими словами кончается книга Юлиуса Фучека «Репортаж с петлей на шее»?

Задача шестая

Назовите фамилии композиторов и авторов текста следующих песен:

1. Россия
2. Орленок
3. Да здравствует наша держава

6. АНКЕТНЫЙ ЛИСТ

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Полное наименование и адрес учреждения. | Место для фото-карточки (приклеить) |
| 2. Занимаемая должность. | |

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ*
1. Фамилия, имя, отчество (псевдоним). При перемене фамилии или имени и отчества указать старые и причины перемены.	
3. Сословие и соц. происхождение.	
8. Состояли ли раньше в каких-либо политических партиях, в каких именно, где, когда и причины выхода.	
9. Принадлежали ли к антипарт. группировкам, разделяли ли антипарт. взгляды Вы и Ваши ближайшие родственники. Какими парторганизациями вопрос рассматривался, когда, и их решение.	
12. Служили ли Вы в старой армии, когда, в какой части, сколько времени, в качестве кого, и какой имели чин.	
13. Служили ли Вы или Ваши родственники в войсках или учреждениях белых правительств (белых армий), в каком чине (должности), где и когда.	
14. Были ли Вы или Ваши родственники на территории белых, где, сколько времени и чем занимались.	
17. Привлекались ли к суду, следствию, были ли арестованы, подвергались ли наказаниям в судебном или административном порядке, когда, где и за что именно. Если судимость снята, то когда.	До ре- После волю- револ. ции
18. Привлекались ли к суду, следствию, были ли арестованы, подвергались ли наказаниям в судебном порядке, когда, где и за что именно, Ваши ближайшие родственники.	
19. Лишались ли Вы и Ваши родственники избирательных прав и за что.	
22. Национальность	Ваша Жены (мужа)

* Заполняется читателем.— А. Б.

23. Подданство (гражданство). Если состояли в другом подданстве, то в каком именно и когда приняты в гражданство СССР или подданство России.
24. Жили ли за границей, когда, где, сколько времени, причина возвращения в СССР (Россию).
25. Чем занимались за границей и на какие средства существовали.
26. Кто из родственников или близких знакомых находится за границей, где, когда и чем занимается, когда и почему выехали, их адрес.
27. Имеете ли родственников или знакомых в иностранных миссиях, представительствах или среди инородных, их фамилии, имя и отчество.
28. Родители:

а) фамилия, имя и отчество (указать девичью фамилию матери)	Отец		Мать
в) Каким владели ли недвижимым имуществом, когда и где.			
г) Чем занимались до революции и после.			
29. Родители (жены) мужа.

в) Сословие и соц. происхождение.	Отец		Мать
г) Каким владели ли недвижимым имуществом, когда и где.			
д) Чем занимались до революции и после.			
30. Фамилия, имя, и отчество, партийность, место работы и должность, местожительство Ваших совершеннолетних сестер, братьев, сыновей и дочерей.
31. Ваше местожительство (точный адрес и № телефона).

ПРИМЕЧАНИЕ: Ответы на все вопросы должны даваться точные и подробные. Подчеркивания не допускаются.

7. НЕОЖИДАННЫЙ ОТЗЫВ

ПИФОЧКА, ПРИВЕТИК

Назло решила написать тебе письмо. А также выразить тебе большую благодарность за то, что ты меня проводил до вокзала. Как ты там поживаешь, что новенького в твоей журналистской деятельности. Как поживает наш общий знакомый МИХ, меня это по-прежнему волнует, между нами, девочками, говоря. Как его дражайшая любовница, оставила его в покое или все так же мучает его своей привязанностью.

Не думай, пожалуйста, что это меня очень-очень волнует, но всё же факт остается фактом. Все здесь пишется на основании этих родимых фактов. И никуда от них не денешься.

(Я благополучно доехала до Москвы, даже устроилась в гостинице, благодаря своим друзьям, но настроение было всё время в Риге.)

Мне было очень приятно, какие вы мне устроили проводы в мою честь, я этого никогда не забуду, до следующей встречи, во всяком случае. (На Первое мая я бы очень хотела поехать в Ригу, к вам, мои дорогие, но... есть но, к сожалению. И я не могу от него избавиться.) От Эли мне еще не было писем, и я не знаю никаких новостей, не знаю, как там ваша дружная семья, в мои дни она была еще цела, но Эля говорила, что распад близок, во всяком случае, внешне всё было благополучно. Я в своём Ленинграде весьма серьезно болею за ваше благополучие и дружбу. В общем-то у вас неплохая компания, и я целиком и полностью за ее процветание. Пифочка, как твои делишки на работе. Помню, мы пили за твои успехи, они, наши надежды, сбываются понемногу. У меня в Ленинграде ничего не изменилось, послезавтра иду на работу. Может быть, от этого что-нибудь изменится, но перед праздниками, не думаю... Ты не забывай мне писать, я постараюсь отвечать, по мере возможности.

Дома меня встречали мои приятельницы по работе, с ними я провела первые два вечера, рассказывала свои впечатления, а они у меня всё же накопились за целых три недели моего отсутствия в городе Питере, как мы его дружески величаем. Сегодня я встретила своего приятеля, зашли ко мне, он мне почитал свои собственные сочинения на тему «Корзина». Ты не представляешь, как много можно написать на эту тему бесподобных вещей, слишком необычных, и в то же время близких нам по духу. Я не могу в письме подробно описать все, что там есть, скажу коротко, что там о всевозможных мыслях, лезущих в голову, например, в автобусе. С каждым это бывает, сидишь, скучно, и в результате целый рассказ, я не знаю, понял ли ты что-нибудь из моих слов. Что непонятно, просьба спрашивать в письме, а то ты вообще мне писем не пишешь.

Спасибо Элиньке, что она передает вам мои письма, а то я даже адреса твоего не знаю.

Надеюсь, на это письмо я получу ответ.

Пусть оно не серьезно, но я не люблю писать серьезные письма, ты в этом скоро убедишься.

Привет от меня МИХУ, жаль, что я сама не могу ему написать.

Пифочка, поцелуй за меня свою бабушку, надеюсь, она тебя больше не ругает за позднее возвращение, вернее, за ранним утром возвращение.

С приветом, ваш друг.

1. МУЗЫКА РЕВОЛЮЦИИ (1908-1918)

Вещь

**ПРИДВОРНАЯ ФОРТЕПИАННАЯ ФАБРИКА ОФФЕН-
БАХЕРЬ и К°**

Санкт-Петербург, 20 августа 1908 г.

Господину Л. И. Битову
в г. Здесь.

Милостивый Государь.

Настоящим фабрика имеет честь подтвердить, что она
ответствует за прочность металлической рамы, купленного
Вами у нея пианино за № 4857, в течение десяти лет и
принимает на себя обязательство заменить лопнувшую ра-
му — новою, в том только случае, если повреждение таковой
произошло по вине самой фабрики. А также и за прочность
всех поставленных материалов.

С совершенным почтением:

(В. Козырев)

Как разбогатеть в 3600 раз

С.-Петербург, 19 декабря 1909 г. Г-ну Л. Битову

СЧЕТ №

Отправлено за Ваш счет и риск:

18 августа 1908 г. 1 пианино за № 4857. Ценою руб. 525.

Скидка — 25. Итого — 500.

Деньги получены в разное время по отдельным выданным
квитанциям.

Петроград, 18 июля 1918 г. Гр-ну Петипа М. И.

РАСПИСКА

Дана настоящая в том, что мною, гр-ном Битовым Л. И.,
получена от гр-ки Петипа М. И. сумма 18000000 руб. (восем-
надцать миллионов руб.) за проданное мною ей рояль фирмы
Оффенбахер.

(Битов)

Подпись руки гр-на Битова Л. И. удостоверяю —

Предсревдомком

(Замков)

2. НЕ ВСЕ УДЕРЖАЛОСЬ В ДЕТСКОЙ ПАМЯТИ

(1941—1945)

Мама—Папе

...последнее время вестей ни от Тебя, ни от мамы не имеем, потому собственно особенного стимула для писания — нет. Пишу больше для очистки совести, п. ч. когда Ты получишь, уже это будет старовато. (...) Сможем ли мы приехать, сейчас сказать трудно. Если мы здесь останемся, будем соображать, как сюда переправить посылку — когда это будет можно. Ты в какой-нибудь выходной сходи пообследуй свой базар. Не придерживайся общепринятых деликатесных продуктов, поинтересуйся любым жиром (говяжий, свиной), пшеничными отрубями (что покупают кормить коров — вполне съедобная штука), крестьянской мукой, сушеной картошкой. Еще меня беспокоит вопрос с деньгами. (...) Дома пока тепло и топят, и опять функционирует «буржуйка», которая чрезвычайно удобная штука. (...) Брат твой переброшен в действующую Армию... Твоя мама не была у нас с 9 ноября, но Твоя сестра ее видит. Я не бываю нигде, п. ч. детей таскать, без крайней необходимости, — нельзя. Андрюша был нездоров — простудился, но очень хорошо справился — без осложнений и сейчас здоров... занимают они себя весьма недурно, ко мне относятся прекрасно. Олег не отходит от радио. Он так чудесно ориентируется в направлениях, местечках, знает всех героев, награжденных и кто что сделал для своей страны, — что всех затыкает за пояс. Собирается быть летчиком (а Андрей — «писателем»?!). Дети — забавный народ, жизнь воспринимают совсем по-своему. Пока нас жизнь милует, и нервная система их (чего я так боялась!) нисколько не страдает: они все принимают легко, как стараемся и мы...

Ленинград, 30 ноября 1941 г.

Армия Гитлера*

В бой идут войска.

Гитлер сам ведет.

Офицеров нет.

Два коня ведет.

Танки, пушки — барахло.

Роты, роты, роты...

Лучше к жизни подошло —

Это самолеты.

* Стихи, однако, не мои, а будущего летчика.

Самоварчик — будет танк,
А кофейник — пушка.
Мы сегодня по пятам
Будем бить мы русских.

А советских увидав,
Затряслись все разом.
Это, верно, был удав,
А теперь он (?) Хазе (?).

В мозгу у Гитлера застряв,
Шальная пуля полетела.
Упал удав и, твякнув: тяф,
Упал в могилу телом.

Колхозники

26 июня 1942 г., г. Ревда Свердлов. обл.

Дана настоящая гр. Кедровой О. А.* в том, что она действительно эвакуирована с 2 детьми из Ленинграда.

Справка дана для поступления в Ревдинский совхоз.

Уполномоченный по эвакуации: (Герасимов)

Победа

СПРАВКА

Дана БИТОВУ АНДРЕЮ в том, что в доме № 6, кв. 34 по улице АПТЕКАРСКИЙ ПРОСПЕКТ заразных заболеваний не имеется. ПРОВЕРКА 25/VII.

26/VII 1945 г.

Уч. Эпидемиолог

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА

Район — Петроградский. Школа — 83. Класс - I^б.

Ф. И. О. — Битов Андрей Георгиевич. Год рождения — 1937.

Домашний адрес — Аптекарский проспект, 6, кв. 34.

Перенес болезни: коклюш, ветрянка, корь, свинка — 1944 г.

Прививки: оспа привита 1944 г., брюшной тиф — отвод по болезни, дифтерия привита 1944 г., дизентерия — иммунитет — 1945 г.

Состояние здоровья: здоров. Туберкулиновая проба: отрицательная (—). Кожные заболевания: отсутствуют. Наличие педикулеза: отсутствует.

Вес: 25,2 кг.

Отношение к физкультуре: допускается. В пионерлагерь: допускается.

« » июля 1945 г.

Врач:

(подпись)

* Моя мама

Природа зимой

Природа зимой очень красива. Вся лиственная поросль потеряла листву, а голые сучья покрылись снегом. Но не все деревья зимой теряют листву, например, сосны и ели не теряют свои иглы, но очень часто ветви хвойных деревьев засыпает снегом, и их зеленых игл не видно. Все деревья будто оделись в шубы белоснежные, блистающие на солнце ослепительной белизной. Снег лег на огороды, на поля и на луга. Еще глубже его покров в лесу и в садах.

В большие морозы дым стоит столбом и не двигается, если же на небо взойдет солнце, то и дым, и солнце кажутся красными.

Очень красивую картину представляют из себя парки и дома, покрытые инеем.

В северных городах, деревнях и селах зимует мало птиц, только зимующие; перелетные же еще осенью улетают зимовать на юг.

Медведи зимой спят в своих берлогах.

Зимой очень приятно выйти на лыжах среди снежных убаюгиваний, по глубокому рыхлому снегу.

У нас снег бывает только зимой. Но на высоких горах и зимой, и летом лежит снег. Снег лежит неподвижно, пока никто не нарушит его покой. Но иногда достаточно бывает сильно топнуть ногой, крикнуть — и все вокруг начинает двигаться. Целая снежная река, сначала тихо, потом все быстрее обрушивается вниз. Бывают еще ледяные реки. В северных странах ледяные реки кончаются на берегу моря. Морские волны отламывают огромные куски льда и уносят вдаль. Покачиваясь плывут по океану ледяные горы — айсберги, плывут, пока не растают. (Сочинение ученика 3-а Битова А.)

Крепкая четверка

...Планы рассчитываются на годы и целые пятилетия. Все пятилетки с огромным воодушевлением исполнялись досрочно. Благодаря выполнению этих планов Советское государство смогло противостоять такому сильному врагу, как Германия. Фашисты просчитались в надеждах, что мы не сможем сделать этого. Наше социалистическое плановое хозяйство оказалось более жизнеспособным, чем капиталистическое. На это указывал товарищ Сталин.

Из контрольной работы по конституции на тему «Социалистическое плановое хозяйство» ученика 7-а класса 213 мужской средней школы с преподаванием ряда предметов на английском языке Битова А.

Подписчики

Настоящий футляр является
упаковочным материалом для
предохранения книги от порчи.

*Текст с картонного супера собрания
сочинений И. Сталина, 1951*

Первое упоминание в печати

На геологоразведочный факультет обычно принимаются с более высоким проходным баллом. Раз принят студент, значит он серьезно подготовлен и умеет работать.

О чем же тогда говорят двойки в зачетных листах у второкурсников? А двоек у них многовато. Основная причина — отсутствие систематической работы в течение семестра, переоценка своих сил, недостаточный контроль и требовательность со стороны преподавателей.

Студент группы РТ-55-2 А. Битов потерял всякий авторитет у деканата и своих товарищей. За безделье, текущую неуспеваемость он не допущен к сессии.

*Из передовицы «Неутешительные результаты».
«Горняцкая правда». 23.01.1957*

4. ПРОБЛЕМЫ РОДА (1957)

Кое-что о моем деде и прадеде с материнской стороны
Уважаемый т. Кедров!

Деньги получила, сердечно Вас благодарю.

Знаете, крест был починен, но его снова свалили, и разбился он так, что его нельзя починить, не знаю, что делать. Могилы в порядке, я за ними все время слежу. С сердечным приветом к Вам.

Иванова

Моя будущая теща — моей будущей жене

Убери свою комнату идеально, вымой окно, вытри стены, выколоти матрацы, вымой полы, потом будет некогда, довольно спать, от безделья человек разлагается, если ты комнату не уберешь будешь жить на кухне

довольно тебе гнусавить, будь человеком наконец

* Кедров А. А. (р. 1906) — мой дядя.

5. ДЛЯ БИОГРАФИИ НА СУПЕРОБЛОЖКЕ
(1957—1958)

Ученик токаря

СМЕННЫЙ ЛИСТОК

Месяц — октябрь. Цех — 9. Фамилия — Битов. Табельный — № 1366.

Число	Приход	Уход	Дни
21			Понедельник
22	0.55	7.49	Вторник
23	0.30	7.58	Среда
24	0.54	8.06	Четверг
25	0.33	8.09	Пятница
26	0.47	8.03	Суббота
			Воскресенье

Начало смены — 1.00. Окончание смены — 8.00

Военнорабочий

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
НАЧАЛЬНИКА 343 ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО
ОТРЯДА
№ 94

19 апреля 1958 г. ст. Чикшино Печ. ж. д.

Подполковника БОБКИНА В. И. 20 апреля 1958 г. командировать в г. Вологду в Политотдел спецчастей гарнизона для принятия сверхсрочнослужащих на укомплектование отряда сроком на 8 суток с 20 апреля 1958 г.

п/п Начальник 343 ВСО

гвардии подполковник:

(ХИМИЧ)

Верно: и. о. инсп. по уч. л/с (Битов)

6. ЛИТЕРАТУРА И ПРОИЗВОДСТВО (1959-1962)

Субботник, или возмещение убытков

КВИТАНЦИЯ

к приходному ордеру № 140

Принято от Битова А. Г. за изготовление разбитой им таблички кожного диспансера № 22 по счету № 522 от 19.IV руб.66 (шестьдесят шесть)*.

22 апреля 1959 г.

Главный бухгалтер (подпись)

* К счастью, в старых деньгах.

Помбурмастера

Махмуд! выручи пожалуйста, достань 60 руб и отдай их Андрею он мне их вышлет. Приеду расплачусь. Е. Мысев* 1/VIII 60 г.

Андрей эту записку покажешь Махмуду Мурадову, кто он, тебе его покажут, он мне должен их и должен выручить, ну а финансовые дела мои, сам знаешь, — неважные, поэтому прошу тебя постарайся браток. Еще раз прошу сохрани в тайне мое письмо и все остальное. Записку оторви и прочитай ее ему а то он слабо читает по-русски он один из сменных ЗИФ 300.

Внутренняя рецензия

Что касается мальчишества, своеобразной инфантильности, присущей в чем-то лирическому герою Битова, то это мальчишество не мешает ему в ответственные моменты жизни поступать со всей взрослой ответственностью, ответственностью по отношению к миру, к людям и к самому себе.

Андрей Битов только недавно начал свой литературный путь. Я уверен, что его талант выкажет перед нами дальше и более зрелые черты и грани, но начало его работы надо оценить по достоинству — надо издать эту первую, свежую поэтическую книжку.

21 января 1962.

Л. Рахманов

Итак, книга Битова — талантлива, своеобразна, свежа. Считаю, что книгу эту, бесспорно, следует издать.

14/II 1962 г.

Мих. Слонимский

Писатель Бёлль и возчик Сумманен

Васкеловская комплексная экспедиция — тов. Битову с получением сего отпустите машину ГАЗ-51 т. Игнатьева и выдайте на время домкрат для тов. Борочкина и пусть его везет т. Игнатьев. Для подвозки воды вам направляю лошадь и возщика. Обеспечьте стоянку лошади и жильем возщика.

Шафорост

ТЕЛЕГРАММА

Васкелово Пос. Стекланный Карельская партия Битову
ПРОШУ ПРИЕХАТЬ ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ВЕЧЕРА
ВСТРЕЧУ С БЕЛЛЕМ. ГРАНИН
9.10.1962

* Мысев Е. — помбурмастера в Корханнинской ГРП (Тадж. ССР)

Шафорост — Битову

Наймите человека для подвоза воды на вышку ибо т. Сумманен не может больше у вас пребывать.

12.11.1962

Конфликт

Все это говорит за то, что ст. бур. мастер т. Битов А. Г. недостаточно серьезно относится к порученному делу. Будучи по образованию горным инженером техники разведки, лично сам не занимался технологией бурения, не совершенствует передовые методы применения глинистых растворов в бурении, в особенности на Карельском перешейке с частым переслаиванием четвертичных отложений — вопросы бурения передоверил полностью бур. мастерам.

Из приказа по Невской комплексной геологической партии № 20 от 30.X.1962 г.

...Битов работает интересно, интенсивно, разносторонне и многогранно, а главное, талантливо и очень серьезно. Это несомненно достойный представитель нового поколения в литературе.

Необходимо как можно скорее реально привлечь А. Битова к активной литературной деятельности и сделать его полноценным членом Союза советских писателей.

16 ноября 1962 г.

*Т. Хмельницкая
(из рекомендации в члены Союза писателей)*

Ст. мастеру тов. Битову А. Г. — за прогулы и опоздания на работу, а также за задержку расчета, **ОБЪЯВИТЬ СТРОГИЙ ВЫГОВОР.**

Из приказа по Невской комплексной геологической партии № 35-а от 27 ноября 1962 г.

7. В НЕВЕДОМОМ МНЕ БЛИЗКОМ БУДУЩЕМ (1963)

От подшефной организации

Уважаемый Андрей Георгиевич!

Управление охраны общественного порядка Леноблисполкома сердечно поздравляет Вас и Вашу семью с Новым годом. Желаем, чтобы 1963 год был для Вас и Ваших близких годом радости и счастья.

*Начальник Управления охраны общественного порядка
Леноблисполкома (А. Соколов)*

Несколько лет назад в околослитературных кругах Ленинграда появился молодой человек, именовавший себя стихотворцем. На нем были вельветовые штаны, в руках — неизменный портфель, набитый бумагами. Зимой он ходил без головного убора, и снежок беспрепятственно припудривал его рыжеватые волосы.

Приятели его звали запросто — Осей. В иных местах его величали полным именем — Иосиф Бродский.

*Из фельетона «околослитературный трутень».
«Вечерний Ленинград». 29.XI.1963*

Заслуженная кара

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания бюро секции прозы от 4/Н-64 года

Присутствовали: Воеводин, Васютина, Дружинин, Дар, Офин, Абрамов, Фарфель, Смолян, Гор.

СЛУШАЛИ: Дополнительное обсуждение рекомендации А. Битова в Союз писателей.

РЕШИЛИ: В связи с поступлением в Секретариат ЛО Союза писателей документов о нарушении Андреем Битовым общественного порядка (Письмо Петроградского отделения Милиции от 23/І-64 г.) Бюро секции считая, что поведение А. Битова и его поступки недопустимы и не достойны члена Союза Советских писателей — решает задержать рекомендацию Битова А. в Союз писателей и вернуться к рассмотрению этого вопроса после того, как Андрей Битов своим поведением и творческой работой докажет, что он будет достоин быть принятым в члены Союза. О настоящем решении поставить А. Битова в известность и товарищей, давших ему рекомендации на прием в Союз писателей.

Выписка верна
зав. секретариатом —
(Арямова)

Председатель секции
(В. Воеводин)
Секретарь (Е. Васютина)

Лес, дорога

Вот здесь же, в Токсове, как-то, два года назад, мне было так же, как теперь, два года спустя. Спустя-я — смешно! Не смешно. Все-таки смешно. Спустил. Спустил два года.

Конечно, мне было и не так же. Но тоже не писалось. А тогда ведь еще только кончался тот период, когда мне казалось: я хожу по рассказам, ими вымощен мир. В любой, мол, момент их под рукой тыщи — возьми любой. И я жалел, что я — это не 10 человек, а то бы и написал эти тыщи. Упаси боже! Во-первых, эти тыщи... А во-вторых: как бы они ссорились, эти десять человек! Один-то возится, как десять.

Так вот, тогда, два года назад, этот период только еще начинал кончаться, так что можно считать: он еще был. И вдруг такое чудо, что мне не пишется! Теперь-то у меня даже опыт в неписьме есть. А тогда это меня прямо ошеломило. Я кис, кис — и вдруг обрадовался: ведь я же могу написать рассказ о том, как мне не пишется. Даже название придумал: «Лес, дорога». Мол, вот лес, а вот дорога, и вот мне не пишется. И еще радовался: вот какая писатель машина — и из неписьма может сделать письмо. Впрочем, в этом и какая-то правда. Так ведь, чтобы писать было нечего, не бывает. Есть немота. Писать о немоте — это какое-то преодоление. И может, мы в основном о своей немоте и пишем. О чем же писать в такое немое время? Я кис-кис, какая писатель, сделать письмо.

Рассказа я этого не написал. Хотя кто меня, подлеца, знает...

И вот сейчас... Я болен, можно сказать... Да что там! Болен, болен. Неудовлетворенностью, неполнотой, немотой. И суетой чрезвычайной. А суета, как ее ни кляни, — вещь любимая. Она ведь на месте пустоты. И только в случае пустоты. Так что она — недаром. Мы рвемся от суеты — и попадаем в пустоту. И без суеты нет ей заполнения, этой пустоте. И мы рвемся публично от суеты, и мы бросаемся ей в объятия. Может, не сознавая?... Ладно, не мы, не мы! Я, я!.. Нем, нем.

Во мне сейчас пустыня. Можно напиться, можно влюбиться... Если не то и не то — можно суетиться. Если уж и это отпадает — застрелиться. Конечно, лучший выход — писать. Переделывать пустыню. Дубовыми защитными насаждениями. Лес, дорога. Суховеи — сухо веют. Сухотка. Сухость мозга.

Ничего ведь не исчезает. В этом я уверен. Если б не уверен — то, что же? Ничего не исчезает. Где-то это все

плесневеет в мозгу, неосвобожденное, неотданное... Обрываются какие-то связи — и не извлечь. Стучись, ломись, рвись, даже жалуйся — не натянуть струн. Нет связи. Кибернетика проклятая! Кир-бир... Кир-бир...

Вырабатывается прием...

Чик-чирик!

Чик-Чирик

«Я еще много, пожалуй, могу извлечь из своей башки!» — так я себя часто тешу. Чешу, почесываюсь.

Прыг-скок! Прыг-скок! Брык... с коп!.. ыт.

Севулямирбетрон! Севуля, Севочка! Се-ля-ви. Бетатрон. До-ре-ми. Силь-ву-пле. Мир — бетон. Мир — батон.

Троп, троп, троп.

Маразм —

полнейший.

Графоман —

милейший.

Танцевальщик танцевал,

А в углу сундук стоял.

Танцевальщик не заметил —

Спотыкнулся и упал.

Я вышел из трибуны в зал,

Перевернулся и сказал:

Я помню чудное мгновенье

И мимолетное виденье.

И в этот миг

Я к вам приник.

Е-если б зна-али вы-ы-ы,

Ка-ак мне до-ороги-И-ы...

На...! На...!

Мир, труд, счастье!

Одно забыли.

Мир, труд, счастье и братство!

Опять забыли. И не забыли, а вот, попутал, не то слово вставили.

Мир, труд, счастье, братство и... братство и... равенство!

Не монтируется.

Мир, труд, счастье, братство, равенство и... и... свобода...

Наконец-то. Выговорили. Тьфу, как трудно было! Но чего-то недостает... Какой-то ясности. Определенности, так сказать. Так все есть — а чего-то и нет. Так-то так, да не совсем так. А пожалуй, что так:

Мир, труд, счастье (не достаточно ли, товарищи, и этого?)

Мир, труд, счастье, братство (может, хватит, а, товарищи?)

Мир, труд, счастье, братство, равенство (не слишком ли, товарищи?)

Мир, труд, счастье, братство, равенство и... и... свобода, мать твою так! (о-ох, товарищи... Ох!)

Раз уж перебрали, то добавьте.

Мир, труд, счастье, братство, взаимопомощь, равенство и... свобода.

Недобрали.

Мир, труд, счастье, взаимопомощь, братство, равенство и свобода... (кого, чего? Свобода, говорю, кого-чего?)

...всех народов (Вздых зала: Все-ех).

Так бы и говорили, товарищи... А то что же получается? А так все на месте:

Мир, труд, счастье, взаимопомощь, братство, равенство и свобода всех народов!

Урара-а-а!!!

Нельзя же: «Свобода, равенство, братство!» Было уже. Да ведь надо исходить и из конкретных условий...

.....
.....

УР-Р-РА-А-А!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Чик-чирик! товарищи...

Ты у меня дочерикаешься!!

Си-ижу за решеткой,
В те-емнице сы-ырой,
Такой-то такой-то
Орел мо-алодой...

Чик-чирик!

А вот у нас на предпраздничном вечере самодеятельности всех зеков собрали: кто поет и пляшет, а кто сидит и смотрит. И вот был у нас такой Костя Отвали, так он тоже выступал. Стихи с выражением читал. Очень он это здорово делал. Начальству нравилось необычайно. И вот объявляют: Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина,— и он это самое «Сижу за решеткой» читать начал. Да как! Все плачут, рыдают и хотят на свободу. А он все с большим и большим подъемом читает. И вот уже последняя строчка, и он уже кричит с болью и страстью:

Пора-а, бля-а! пора-а!!!

Голос сверху, снизу и сзади:

— Только тихо! Не пой с чужого голоса. Ты сам-то сидел хоть?..

— А я что? Я тихо... Просто себе напеваю. Разве вы не слышите:

Бля-бля... Бе...
Сидели на трубе...

А...

А: — Вот тебе и А... Говорю тебе: без булды, пожалуйста, без булды, дорогой...

Без Б (бе)

Б. (оправдываясь): — У меня в распоряжении целый этаж. Три двери, два балкона, один солярий, одна лестница и четыре окна — на четыре стороны света. С каждой стороны торчат верхушки какой-нибудь зелени. Ничто не мешает. Иногда внизу кричит дочка. Мой стол стоит прямо в центре. «Как это ты догадался поставить его в центр, я бы никогда не догадалась», — говорит теща. Вокруг стола с четырех сторон веревки: на них иногда вешают пеленки. Это меня веселит. Вчера передо мной висели совсем не детские трусы. В мои обязанности входит колоть дрова, носить воду и керосин, иногда ходить в магазин. Если учесть, что гораздо большие помехи не мешали мне раньше писать, то сейчас мне ничто не мешает.

А: — Скажи мне, пожалуйста, что тебе мешает? Ведь, кажется, все у тебя есть, все о тебе заботятся, тебе не приходится ни о чем думать... Все условия тебе созданы. На тебя работали папа, мама и вся страна. Дали тебе образование. Одели тебя и обули. Накормили. Чего тебе не хватает, в смысле недостает? Скажи, пожалуйста. Мы потратили на тебя всю свою жизнь...

Б. (молчит)

А: — Ведь теперь ты уже большой. Мы не можем тебе уже помочь. Когда ты был маленький, нам было ясно, чего тебе надо. Сейчас ты уже взрослый, и ты уже живешь сам. У тебя есть семья. У тебя есть свой опыт. У тебя есть свое дело. Ты смотришь на мир по-своему. Мы уже ничем не можем тебе помочь. Мы тебя любим, но ничем не можем...

Б. (молчит)

А: — Теперь уже все зависит от тебя. Если ты виноват, ты виноват сам. Что тебе мешает, дорогой?

Б: — Дорогие мамочка, папочка, тетеньки и дяденьки, дедушки и бабушки, тещиньки и — как вас? — папы жен, дорогие граждане и гражданочки! Ничто мне не мешает. Я вам очень благодарен и признателен. Мне от вас ничего не нужно. Я буду вам благодарен до конца дней своих. Если я чего-нибудь от кого-нибудь хочу, то это от себя. Но и в этом я не уверен. У меня подрезаны крылья, дорогие гражданочки.

А: — Нет, вы мне скажите, кто вам их подрезал? А? Может, я, который всю жизнь работал и проливал кровь за таких, как вы? Может, я, который ни разу о себе не подумал?

Б: — Что вы переживаете? Вы не переживаете. Мне и так трудно собраться с мыслями. А если так... то, может быть, и вы. Почему же это вы о себе-то не думали. Может, этого мне и нужно было, чтобы вы о себе думали, а не обо мне. Как же вы о других-то можете думать, если вы о себе не думали ни разу?

А. (молчит обиженно)

Б: — Ладно, ладно... Не вы. Я не прав. Я действительно не о том хотел сказать. Ну, хотите, я еще раз извинюсь. Ну, хотите, я на колени встану? Мне это ничего не стоит, честное слово. Ах, вам надо, чтобы стоило. И это вы так о себе не думаете? Ну, ладно, если по-честному, это мне дорого стоит. Вернее, стоило. Да и, в конце концов, я не вам это говорю. Пойдите и пройдитесь. Подышите, так сказать. И подумайте о себе.

А. (уходит оскорбленный)

Б. — Господи, как он меня сбил... О чем же это я? Нервы все. Единственное интеллектуальное приобретение в наш век. Так вот, гражданочки, никто из нас не доезжает до города. И это грустно. Может даже, если брать только одну сторону вещей, именно это их и подрезает. Так называемые крылья. Уверенность существует только в пору щенячества. Дальше сразу начинается невозможность. Конечно, существует благородное служение количеству ради будущего качества. Кости, если расшифровать. Удобреньице. Не пропадет ваш скорбный труд. Маленькое, но нашенькое. Благородная нищета: в заплатах, но чистенькое. Но что же сделано хорошо без уверенности, хотя бы и тщательно и робко скрываемой, что тебе за это суждено бессмертие?

(Возвращается А., дружески все простив, берет под ручку Б.)

БА. — Не верите? Представьте, что вы умираете. И что же в таком случае можно от человека еще отнять? Пусть сожгут ваши рукописи. И вы поймете, как много у вас еще осталось.

АБ: — Впрочем, чего не надо, так это говорить о смерти. Это пижонство, дорогой.

БА: — Обращение «дорогой» без всякого повода — это тоже пижонство. Какой я тебе на... дорогой! Когда ты меня ненавидишь.

АБ: Я тебя? Помилуй...

БА: — Тогда я тебя ненавижу. Я не я, а труп с квалифицированной сиделкой. Кому там помогают припарки? Душа съехала, а тело ее охаживает. В иное время жену хоронили вместе с мужем. Тоже ведь проекция самоубийства. Дорогой

человек уже мертв,— так почему бы не убить второго, насильника трупов (как это называется), не убить второе, телесное, я?

АБ: — Ну, если тебе не нравится «дорогой», то милый... Милый мой, ну, скажи, разве говорить о самоубийстве — это ли не пижонство? Ну, что о нем говорить? В некой цивилизованной стране существует даже право на него. Это временное, дорогой и милый, поверь мне. Это только в первый раз страшно. А потом в этом будет такой же опыт, как, ты признался, у тебя в неписьме. Ты просто еще ребенок.

БА: — А ты умудрен до тупости.

АБ: — Ах, прости!.. Ну, просвети меня...

БА (с чрезмерным выражением):

Вот здесь когда-то
На самую крышу
Начальной школы
Я мяч забросил...
Что-то с ним случилось?

АБ: Чего-нибудь японского?.. Рыбного?.. И ты думаешь, что он может до сих пор там лежать?

БА: Он там лежит.

АБ: Интересно... Что же ты лепешь о смерти, если он у тебя там лежит?

БА: Боюсь, как бы ты его не спер.

АБ: А ты меньше выбалтывай сокровенных тайн. Тогда не сопрут.

БА: Тогда-то и сопрут.

АБ: С тобой поговоришь...

БА: А фу-ли!..

(Входит невозможных размеров И.)...



ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Шестидесятые прошли под Зодиаком реализма,
А все-таки и в их пыли светился призрак коммунизма.

Кто с ним лакал на брудершафт, тот знает муки пробужденья:
Неузнаваемый ландшафт и схватки смертного рожденья.

Смерть по-немецки значит «Tod», — учили в школе терпеливо.
Комбайны, как на эшафот, шли в колоссящиеся нивы.

Небесный взламывая створ, свистел Гагарин «Карменситу»,
И новый спутник, как топор, взлетал на вечную орбиту.

Гремела медь. Звенел трамвай. Стакан трезвонил спозаранку.
На кухне пили черный чай и кипятили перебранку.

И, чтобы плакать в тишине, отдавшись, как любви, покою,
Мы рисовали на стене сердца, пронзенные стрелой.

Все миновало. Жизнь прошла. Заката роза побледнела.
И отражают зеркала сомнамбулическое тело.

Оно ложится на кровать, как на подошву пьедестала,
Чтоб научиться забывать о том, что прошлое настало,

Что жизнь со смертью тыщу лет сам-друг выходят для разбоя,
Что правды не было и нет — ни на земле, ни под землею.

Александр
ЛАВРИН

— родился в 1958 году в городе Советская Гавань. Учился в Московском институте культуры. Автор сборника стихов «Поднимается ветер» /1991/, сборника рассказов «Люди, звери и ангелы» /1992/ и историко-документальной книги «1001 смерть».

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Дети мира, уходим в море.
На Тверской, в ресторане «Якорь»
Чай — не водка, беда — не горе, —
Плачет пьяный, как вечер, Яков.

Яша, Яша, скажи, откуда
Наша тьма — отражение света?
Ах, как млечно горит посуда
Из-под бархата винегрета!

Жизнь пропета или пропита?
Сторублевые спрячь пиастры.
Сизой люстрою общепита
Дым колышется в пальцах астры.

Крикнешь: «Твари!» — и в тесном зале
Вилки смолкли, глаза утихли...
Дни — как беженцы на вокзале.
Эй, милиция, вам не их ли?

Обрывайте, как флаг с рассветов,
Провожайте с концами в ночь их —
Звезды кормчих и сны поэтов,
Згу крестьян и тоску рабочих.

* * *

Кто бы мы были, когда б не смерть, —
Млечное облако тишины?
Жить в ослепленье и даже сметь
Перебирать, словно карты, сны.

Ляжет колода рубашкой вверх.
Прыгнет лягушкой бубновый туз.
Козырь — суббота, а здесь четверг
Точит балясы и дует в ус.

Выйди из дома — морочит зга,
Прячет зрачок сирота-заря,
А под ногами хрустит лузга
Григорианского календаря.

Я бы сроднился с берложной тьмой,
Только бессмертье мое не в счет,
Ибо, как девочка, за спиной
Тихо на цыпочки привстает

Нежно взлетающая, как тень,
И опадающая к виску
Благоухающая сирень,
Перемогающая тоску.

ПАСХА

Послушай, как напряжена,
Устав от бархатного хора,
Полуслепая тишина
Богоявленского собора.

Роняет вниз иконостас
Слезу, подобную алмазу...
Пускай помолятся за нас
Не согрешившие ни разу.

Пускай жужжит пчелой оса:
— Покайся, мальчик окаянный!.. —
И купол треснет, как стеклянный,
Приоткрывая небеса.

Но мне не нужно оправданья,
Я не ищу в других греха —
Оставь себе свои рыданья
И хора черные меха.

Вот небо — тычу пальцем в степь я, —
Здесь, слава Богу, нет вины,
А только розовой весны
Великолепные отрепья!



К МЕСТУ НАЗНАЧЕНИЯ

Рассказ

«Я приближался к месту моего назначения... Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда...»

Александр Пушкин

Поезд незаметно взял с места и покатил, мимо поплыли стоявшие на перроне люди. Отец, мать и Саша — она была в том самом розовом платье — еще сделали несколько шагов вслед вагону; Сбоев только поднял лицо, прощаясь, кивая по усвоенной привычке снизу вверх — вскидывая подбородок. Миг — и он остался один, как в небе, сам себе хозяин, совершенно один — не считая, конечно, соседей по купе, но это было не в счет. Сбоев неудержимо улыбнулся ударившему в окно солнцу, наверняка вызолотившему четыре — по две на каждом его плече — лейтенантские звезды, кокарду, авиационную птичку на тулье фуражки. Солнце только на миг опоздало с командой на отправку, но команда дана была именно солнцем — тут не имелось никаких сомнений. Сбоев улыбался сколько мог широко, жмурясь навстречу лучам и жалея, что все-таки не поехал в парадно-выходной. Тогда погоны тоже полыхали бы сейчас огнем, а уж кокарда, пуская вокруг себя плоские латунные шнуры офицерских узоров, просто-напросто слепила бы глаза. Но парадно-выходная лежала, упакованная бережными Сашиныными руками, в чемодане, парадно-выходную он надевал лишь два раза пока: один раз при вручении диплома — «Поздравляю с первым офицер-

Игорь
ТАРАСЕВИЧ

— родился в 1951 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта, служил офицером Железнодорожных войск, затем окончил Литературный институт. Автор нескольких книг стихов и переводов, трех книг прозы, многих статей и рецензий.

ским званием, желаю отличной службы.— Служу Советскому Союзу!», а второй раз дома, самодовольно нацепив кортик и глядя, как отражается синяя форма в синих Сашиных глазах. Саша тогда непроизвольно провела руками по бокам, подняла плотно прижатые руки к груди, словно ее грудь уже наливалась первым молоком, чтобы кормить рожденного от этого офицера ребенка. В ту минуту Сбоев не заметил глубины Сашиного чувства, ему вполне хватало ее видимого восхищения. Он даже не подумал, что в доме они совершенно одни, и Саша — готовая, ее можно было бы взять запросто, только так, нечего делать; нетронутая кровать, убранная покрывалом, притягивала непорочностью и прохладой, как притягивает сорокалетнего тихая девочка, но Сбоев, юнец, стоя перед зеркалом, в котором, кроме него, отражались Саша и угол кровати, только по-пустому пыжился, будто на короткое время перестал быть мужчиной. А потом, через несколько дней, вышла неприятность — Саша не стала даваться...

Уже поздно ночью, лежа на верхней полке и слушая вечный вагонный перестук, Сбоев с острым сожалением представил, как бы он залез на Сашу — прямо в парадно-выходной, только бы приспустил брюки — она же потом их и погладила бы; как она прерывисто дышала бы в такт его движениям, потом, когда бы он поднялся, осталась бы лежать на смятом покрывале, раскинув ноги и опустошенно выставив под потолок светлую шерсть...

Сбоев заворочался на своей полке, и в соседнем купе, через перегородку, заворочались тоже; перегородка чуть выгнулась, показывая, где в нее уперся зад.

Сбоев перевернулся на живот и стал глядеть в окно, за которым редко-редко проходили, подрагивая, тусклые огни. Там, у огней, возможно, тоже была жизнь, жили люди, ели, пили, заползали друг на друга и ждали чего-то, но Сбоеву не хотелось думать о людях, а только о том, что на земле, внизу, жизнь скучна и редка, а вот сверху, когда, пробив облачность, выходишь на базу и отыскиваешь привычным взглядом ориентиры во тьме, ночная земля вся переливается огнями, огни перемигиваются, выстраиваются в двойной ряд красных светляков посадочной полосы, огни дают жизнь огонькам приборов — под левой рукой, внизу. Зеленоватый сумрак купе четко связывался с зеленым рассеянным светом ночной кабины, и Сбоев, непроизвольно сжимая угол подушки правой рукой, — на шаривал ручку управления, — быстро скосил глаза вниз, налево, на приборную доску, словно он совершил невесть сколько ночных посадок, и теперь выработанные рефлексy сами выдавали команду телу. Слева внизу спал, открыв рот, старик, с которым Сбоев поцапался утром из-за

шторы — закрывать или нет; щеки старика отливали в зеленом свете серебром, губы запали в зияющую пустоту. На столике тихонько дребезжал стакан, Сбоев, вытянув шею, различил плавающую в воде челюсть и шепотком выматерился.

Тогда, утром, радуясь солнцу, он не успел еще отойти от окна, как из-за его спины вдруг протянулась кривая старческая рука и резко задернула поездную шторку. Видимо, солнце кому-то мешало. Сбоев машинально открыл шторку снова, снова подставил лицо с зажмуренными глазами льющемуся свету, снова и снова впитывая его и ощущая, как свет проходит сквозь него, Сбоева.

— Ты.. что... лыбишься, а? Сопляк! — вдруг услышал Сбоев.— Ты... знаешь, сколько я немцев... своими руками...

Сбоев, не переставая улыбаться, посмотрел на соседа. При посадке он как-то не обратил внимания на старика со старухой, которые, сопя, ставили под сиденья свои корзины, а теперь быстро оглядел красное, перекошенное ненавистью лицо, влажные подглазины и потные волосы на такой же влажной, красноватой лысине.

— Что.. сс.. смотришь?

Сбоев, ничего не ответив и все улыбаясь, отвернулся к окну, думая, что теперь, вероятно, чувство отрешенности не вернется, но тут же опять ощутил слиянность, счастливую растворенность в солнечном просторе. Поезд стучал себе. Рядом происходила какая-то возня, Сбоев вернулся к действительности и усмотрел краем глаза: старик хотел его ударить, а старуха не давала, держа старика за руки и напряженно шепча: «Вася! Вася! Вася!» Невозможно и глупо было заводитьсь со стариком, и Сбоев только открыл шторку пошире, хотя шире уже было невозможно. Греться у окна расхотелось. Презрительно взглянув на парочку, Сбоев встал и, оправляя китель, вышел в коридор.

— Расфуфырился,— прошипел снизу старик. Сбоев на прощанье еще раз улыбнулся ему.

Земля ощутимо уносилась вдаль, как при рулежке или подлете; гребень выемки быстро поднимался и опадал перед взглядом, словно чье-то длинное тело ритмично колебалось, лежа вдоль пути. По коридору прошел человек в грязной белой куртке, громко говоря:

— Кефир, булочки! Кефир, булочки!

— Ресторан в каком вагоне? — спросил у него Сбоев, оборачиваясь через плечо.

— За девятым.

— А что там? -

— Что-что? Ресторан!

Сбоев хлопнул себя по карману и пошел в ресторан, съел жирное харчо и сухую котлетку с горсточкой сыроватого риса, взял на грудь сто пятьдесят.

Вообще-то он не пил, и в училище, где, особенно в период полетов, медики гоняли дай бог, почти не пробовал. Курсантам в рестораны ходить запрещалось, ходили самые отчаянные. Сбоев однажды пошел с ребятами, и как раз напоролись на патруль, да еще два капитана-ракетчика, только что сидевшие с ними за одним столиком, вдруг приняли самое деятельное участие в поимке курсантов — один из капитанов оказался уже сильно хорошим, и ракетчикам надо было заслужить перед старшим патруля. Тот капитан, что был потрезвее, даже настиг Сбоева между огромными, уже потушенными к вечеру плитами — прятались на кухне, через кухню и выскочили потом — и начал крутить ему руку. Пришлось дать офицеру в лоб. А патрули в то время бегали по залу, наверху.

Теперь же Сбоев, естественно, полагал, что в первом офицерском отпуске он должен вознаградить себя за долгое воздержание, теперь он имел законное право, тем более что дома выпить не давала мать, да и доза была смехотворной. Однако с непривычки Сбоев закосел, войдя в купе — про старика совсем забыл, а тот что-то говорил снизу, Сбоев не слышал, — забрался на полку и, стянув с себя форму и уложив ее с последней старательностью, тут же вырубился, проснулся только ночью, потный, чувствуя неудобство и желание женщины. Он поправил рукой в трусах, с сожалением и злобой вспомнил о неиспользованной возможности с Сашей и, поерзав, стал смотреть в темноту.

Утренней радости не было помину, ночные огни не грели, темнота, наваливаясь на сбоевское окно, страшила. Сбоев почувствовал одиночество. Земля оказалась большой — больше, чем это можно было представить, глядя сквозь колпак кабины на поворачивающуюся внизу карту. Он закрыл глаза, ноги сыграли педалями, и карта, мелькая, быстро развернулась вокруг носа машины; словно бы пугало в пиджаке с широкими рукавами махнуло руками пред взглядом — так закружилась земля; ориентиры исчезли и, покачиваясь, снова встали, крестик мушки на экране локатора совместился с целью, Сбоев нащупал большим пальцем гашетку. Ракета пошла — ж-ж-ж-ю-ю-ю! — оставив тут же гаснущий огненный след, полка затряслась сильнее, под вагон, сталкиваясь, полезли с боков новые и новые железные плети, сквозь закрытые веки проник свет от разрыва и повис, — Сбоев открыл глаза. В адовом пламени у окна проплывала домна, раскатывая вокруг себя бешено шипящие, пронизанные кровью клубы пара. Хотелось пить. Сбоев заворочался, и

старик, озаренный красным сиянием, заворочался тоже, тонко вздохнул и сел, держась за столик. Он взглянул в окно, потом пальцами нашарил зубы в стакане и, разинув пасть, привычным движением вдел в себя челюсть; Сбоева затошнило. Старик же — словно без челюсти, как без очков, он не смог бы толком ничего рассмотреть — придвинулся к стеклу и начал вглядываться в удаляющиеся сполохи света. «Вам третья полоса», — сказал в шлемофоне голос руководителя полетов, Сбоев скрипнул зубами и откинулся навзничь. В купе вновь потемнело. Старик теперь тоже, как и Сбоев, смотрел в темноту, лицо его окаменело, черты, закрытые мраком, смазались. Наконец он лег и заворочался.

— Не спится? — неожиданно для себя самого спросил Сбоев и тут же пожалел, что заговорил. Старик замер и громко задышал через рот.

Не дождавшись ответа, Сбоев закрыл глаза и попытался усыпить себя аутотренингом — им давали основы в училище. Он уже начал ощущать тяжесть в конечностях, когда его толкнуло:

— Вот — ветеран, ветеран, в газетах чушь всякую пишут... А на самом деле нас ненавидят все... Ненавидят!

Сбоев перегнулся с полки. Старик опять сидел, держась за столик.

— Ненавидят, — голос его скрипел, — так и ждут, когда подохнем. Всем легче станет тогда, я понимаю, пони-ма-аю... У меня друг фронтовой.., хотел без очереди в магазине... так в спину вытолкали. В спину! — Он тихонько вскрикнул и облизнул губы узким языком. — А у нас... очередь в райисполкоме... быстро движется, десяток человек в год... Дóхнем, вот очередь и движется. Скоро совсем очереди не будет, каждый свою квартиру получит. Отдельную! Однокомнатную!

Сбоев подумал, надо ли что-нибудь говорить, и решил, что не надо. Полоска света скользнула из окна и выключилась.

— Плохо мне, ох, плохо... Вера! — Старик потянулся было к противоположной полке, но отдернул руку. — Плохо... Что смотришь? Мне сверху видно все? Как в песне поется?

Сбоев покивал.

— Врешь, ничего тебе не видно. Ты и видеть ничего не можешь. Что ты можешь видеть? — Он опять характерно задышал, грудь его поднималась. — Ничего не можешь, да... — У меня, кхэ, внук — одно: денег дай! денег дай! Шестнадцать лет, а уже женщину... имеет, сопляк.

Сбоев засмеялся.

— Вот-вот, смейся... Мой тоже смеялся, пока из вендиспансера в школу не позвонили, кха! Что он понимать может! То же, что и ты, — ничего. Привели дурака к бабе, сказали: хочешь? Известно, хочет, сс... сопляк! И мне... позор! Позор!

— Это почему же? — спросил Сбоев с интересом.

Старик посмотрел на жену. Та, видимо, спала.

— Потому! Потому что триппер... То я каждую неделю в школу ходил — на каждый праздник, на комитет их родительский, выступлял от ветеранов... Еще комиссия ревизионная — тоже я был. А теперь носу не могу никуда показать, каждый на улице знает: у Василия Босько внук венерическую болезнь имеет.

— Это все ништяк,— весело сказал Сбоев.— Триппер сейчас лечится только так. Мелькнул и нет.

Он посмотрел на мелькнувший в окне огонек и повторил:

— Мелькнул и нет. Брак на производстве. Бывает! Ха-ха-ха!

По мокрому лицу старика прошла, как тень далеких огней, тусклая улыбка. Состав затормаживал, огни заходили по окну чаще.

— Сам-то небось тоже попробовал уколов таких, нет?

— Вам-то что за печаль?

— Вот-вот,— старик словно обрадовался — воспитание. И вдруг прошипел: — Отец воевал?

Старуха на койке под Сбоевым заворочалась.

Сбоев хмыкнул и стал быстро одеваться. Поспать не дадут — это уже было ясно. Сам и виноват, полез с вопросом, дурак.

— Мой отец, дядя, тридцать восьмого года,— насмешливо сказал Сбоев, быстро натягивая ботинки,— он только с матерью воюет.

Старик засмеялся мокрым кашляющим смехом и удовлетворенно, словно радуясь подтверждению собственных мыслей, сказал:

— Вот — ни к отцу уважения, ни к матери. И потому все вы заразные. Офицер! Эх, ты... сс...

Видно было, как в уголках его рта выступила слюна. Поезд втянулся на станцию, шарообразные фонари пускали вдоль перрона холодный напрасный свет. Сбоев быстро взглянул на старика, но тут же опустил голову и начал натягивать китель.

— Иди, иди. Беги! Хэ, кха! Летун срамной. Кхэ!

Сбоев быстро прошел по затемненному пустому коридору, по краям глаз мелькнул тамбур; угловым зрением он заметил металлические ребра двери, за ними открывался простор вокзала, легко лежавший в близкой ночи. Сбоев выскочил на мокрый асфальт.

— Что вышел, лейтенант, покурить? Покури.— Проводник хлопывал свернутыми флажками об ладонь, грубое лицо его было равнодушным.

— Не курю,— злобно сказал Сбоев,— вышел и вышел.

Проводник кивнул, глядя в сторону вокзального здания.

— Сколько стоим? — задал Сбоев вечный вопрос пассажира.

Проводник не ответил. Сбоев проверил, правильно ли он застегнулся. Все было в ажуре.

— Сколько стоим, спрашиваю!

— Не кричи, лейтенант, я уж давно демобилизовался, — сказал проводник, не оборачиваясь и все похлопывая себя флажками. — Не хочешь, чтоб стояли, — пойдешь, распорядись там... Ша и полетим.

— Почему вы так разговариваете? — Сбоев начал заводиться. Это был не старик, тут можно было, на минуту подумал Сбоев, и вмочить, если что. — Отвечайте!

Проводник только хмыкнул.

Сбоев быстро, воровски, оглянулся, не видит ли кто — ближайший человек стоял только у третьего или даже четвертого вагона, — и сделал шаг к проводнику. Тот открыто улыбнулся в лицо Сбоеву, потом спокойно выговорил:

— Шел бы ты на хер, лейтенант. Ша охерачу флажками, а Виктор вон подтвердит, что хошь, понял? Строит из себя, — он сплюнул в лужу, — дерьма кусок. Ты ж выпил, я знаю. Звезды с погон полетят — будешь не в небе летать, а по сортирам со шваброй ползать, ёклмн. Я восемнадцать лет езжу, всякий народ повидал, понял? Пошел на хер, — с видимым удовольствием повторил проводник.

Сбоев заложил крутой вираж, в ночном небе сверкнули и, чиркнув по этому небу, врассыпную бросились звезды, словно ими выстрелили. Звезды же на погонах незбылемо висели в сбоевском шкафчике — на кителе, китель — на плечиках, ватное плечо кителя на заламывалось — Сбоев сразу же, как только прапорщик-вещевик выдал ему комплект обмундирования, подложил под погоны оргстекло; до сих пор Сбоев оставлял в шкафчике только курсантское х/б, но сейчас ощутило представлял, что там висит именно лейтенантский китель, а на нем, прикрученные под погоном нарезным колесиком, — звезды, звезды, которые нельзя, конечно, поставить на высотно-компенсирующий костюм со вшитой негорючей пластиной «СБОЕВ Н. К.», но которые незримо присутствуют, живут на плечах, даже когда он, Сбоев, находится в полетной зоне, даже когда в ушах раздается лишь номер сбоевской машины и короткие слова приказа, когда ночью за колпаком кабины не видно ничего, совершенно ничего — даже прошиваемое носом СУ пространство, уплотняясь и уплотняясь перед звуковым порогом, невидимо слетает с оперения и крыльев, далеко позади оставляя тугую, слышимый только на земле хлопок...

Сбоев заложил хороший вираж, стрелку вариометра мгновенно зашкалило, в уголке дисплея мигнула короткая цифра,

и в другом уголке ярко загорелся тревожный красный квадрат; Сбоева вдавило в кресло, тут же с дисплея смыло и красный огонь, и цифры, экран выставился пустым мерцающим оком, розовым, как смываемая водою кровь, как тогдашнее кроваво-розовое, с таким же металлическим отливом, Сашино платье. Оно заметно было тогда, наверное, за три-четыре тысячи метров — Сбоев профессионально прикинул видимость: четко! Оба глаза, не зная никакого параллакса, совместили цель с крестом прицела, Сбоев быстро охватил взглядом обтянутую на облыжку фигуру,двигающийся под платьем зад с ясно выделяющейся линией трусиков, сильные, крепко стоящие на земле ноги. Весь боезапас мог быть выпущен хоть сию минуту, миг — и автоматически срабатывающее реле замкнуло бы электрическую цепь в хитроумных сплетениях пульсирующих проводов, чтобы выпустить в небо огненную струю. Сбоев остерегся стрелять, боясь попортить обшивку, это было бы ужасно — ходить с пятном на брюках, тем более — на новых, только что выданных брюках с узким, почти нитяным голубым лампасом. Одно — в училище, когда на нарах, наскоро поставленных в три ряда в спортзале (затеяли перед смотром Начальника войск косметический ремонт, и вся казарма курса штукатурилась и красилась), одно — в училище, когда на нарах рассказывали об увольнении или о дежурстве по пищеблоку, где — Зоя, Зоя, Зоя-подпольщица, Зоя-разведчица, которую замполит роты осмысленно называл — эта дребанная Космодемьянская; Зоя со всех сторон не за страх, а за совесть служила целью на учебных стрельбах боевых соколов. В училище поллюции Сбоева не раздражали — курсант, что ж делать, положено, положено, как мытье туалета дневальному, да и подсыхало к утру на горячем. Там — одно, теперь же возможность пуска Сбоева испугала, тут пуск никак не должен был состояться, и Сбоев последние шаги к Саше сделал, намеренно замедляя себя, стараясь двигаться свободнее, легче, кассета с НУРСами¹ отжалась в нишу, створки сошлись за ней — ааа.. тбой!

— Здравствуй!

Сбоев, все еще бледный, показал в ответ голливудскую улыбку. Он прошел по всему, почитай, поселку — от дома до радиозавода — и вышел в полетную зону несколько уставшим от падающих на него, словно метеоритный поток, взглядов и приветствий. Теперь надо было восстановить силы.

Тошная девочка, дочка многолетнего отцовского сменщика Лазутина, встречалась Сбоеву и в прошлом году, и четыре, и десять, кажется, лет назад. Лазутин был парторгом цеха;

¹ НУРС — неуправляемый реактивный снаряд.

однажды Сбоев по просьбе отца, когда тот лежал с температурой, приносил Лазутину домой партвзносы. Прижимая к сопливному носу разодранного плюшевого медведя, девочка отступила к стенке в прихожей, открыв дверь уверенному пареньку. В памяти остались две черные сопелки с нависшими капельками, бесцветные волосенки, не имеющее цвета платице — Сбоев не запоминал лишнего. А в этот год, поставив чемодан, он после первых домашних объятий повернулся на слова: «Поздоровайся же, Коля! Неужто не узнаешь? Вишь ты, какая она стала!»

— Здравствуй! — сказал Сбоев, покровительственно протягивая руку. В голове ясно прозвучало: — Ба-бец...

— Куда пойдём?

Сбоев непроизвольно взялся за висящую через плечо плащ-накидку. Предусмотрительно захватил — подстелить, сегодня он как раз наметил отстреляться на «отлично».

— Туда.

Сразу за заводом начинался карьер — здесь брали песок для поселковой бетономешалки. Обочина, по которой тёплый ветерок носил сейчас желтую пыль, сменялась такой же желтой, подгоревшей травой, трава сразу же кончалась, переходила в твердые песчаные языки, стремящиеся поглотить и обочину, и самую дорогу, где время от времени тяжело проходили машины, а дальше начинались рубленые, как пирог, уступы, перемешанные следами покрышек; в центре карьера одиноко стоял неработающий драглайн с отсоединённым от стрелы ковшом, дальше тянулись мачты освещения с провисшим кабелем, фонари впустую горели среди бела дня, тлея изнутри и не давая стеклу во всю силу отражать солнце. За карьером начинался редкий лесок, знакомый каждому поселковому подростку.

Они тихонько пошли по колее, вытаскивая ноги из песка. Сашины икры были желты и блестящи, словно сделанные из этого же, только расплавленного и затвердевшего песка.

Саша увлеченно говорила о только что оконченной школе, о том, что она собирается поступать в единственное в поселке СПТУ — при заводе, что она никакой институт не потянет, куда там, и Сбоев с внутренней усмешкой подумал, что выбор у них в поселке действительно небольшой, и какой он, Сбоев, молодчик, что сам — в Сашином возрасте! — взял, да и уехал, принял волевое решение и — выполнил. И сейчас выполнит так же четко. Подожди, миленькая, подожди, сейчас.

— Ты на каком самолёте летаешь? — Саша заглянула ему в глаза.

— Военная тайна, — улыбнулся Сбоев. — Не скажу.

— Ну, хоть скажи: на истребителе?

— На перехватчике... Давай руку.— Он втащил ее на гребень карьера. Рука у Саши, несмотря на жару, оказалась сухой. Проходя мимо столба с фонарем, Сбоев хлопнул ладонью по серой древесине. Терпение кончалось.

— У тебя парень здесь есть? — спросил он с деланным спокойствием, и — ошибся: спрашивать не надо было, надо было сразу после первого нежного поцелуйчика заламывать бабца. А теперь Саша, поймав злобный, нелюбящий его взгляд, только что радостная, веселая, счастливая от того, что идет рядом с летчиком, напряглась, интуитивно настроилась на борьбу. Сбоев был наглец, но ночных полетов совершил еще маловато, не набрался опыта. Прямо на опушке, наскоро раскатав командирский дождевик, он обернулся к Саше — та стояла, сжавшись. Он быстро подсек ее, — ойкнула от удара, — повалил на пахнувшую свежей резиной клетчатую материю. Саша укусила его в плечо не хуже овчарки, Сбоев — тоже по-собачьи — зарычал, они завозились, и тут наконец ракеты пошли мимо цели, освобождая направляющие аппарели, Сбоев выматерился, в автоматическом режиме достал платок, сунул в брюки, но из плеча, проступая сквозь тонкую вискозу, начала сочиться кровь, и Сбоев вытащил платок и сунул его теперь под рукав, хотя только что глаженную рубашку все равно уже надо было стирать снова.

— У, дура, — сказал Сбоев, сидя на плащ-накидке, словно только что катапультировавшийся.

Саша, быстро обдергивая платье, отползла в сторону и поднялась; живое,двигающееся ее личико остановилось. Она хотела что-то сказать, но, видимо, никак не могла справиться с непослушным лицом. Щеки и губы не хотели произносить слова.

— Ты зачем в летчики пошел? — вдруг спросила она. Голос прозвучал одновременно с дуновением ветерка, Сбоеву показалось, что это пыльные березы, сухо шелестящие умирающими августовскими листьями, спрашивают его: — А? Зачем?

Наверно, Саша полагала, что летчик не может так поступить с нею или же вдруг подумала, что этот стройный, высокий, в замечательно красивой форме летчик какой-то не такой, каким он должен быть, словно Сбоев, надев форму, перестал оставаться обычным поселковым парнем. Манера поселковых ребят Саше стала известна с четырнадцати лет, сейчас она ждала чего-то другого и — обманулась.

— А? — снова спросила она, пересиливая судорогу.— Зачем?

— Чтобы улететь, такая мать,— тоскливо пробормотал Сбоев, чувствуя в этот момент, что ему, в сущности, на все наплевать.— Здесь с вами, что ли, гнить?

Он повернулся и встал на четвереньки. Саша удалялась, съезжая на пятках по песчаному склону. Обшивка, кажется, не пострадала, снаружи ничего не было видно, только на рукаве рубашки расплылось маленькое темное пятнышко. Сбоев растер пятнышко пальцем и поглядел Саше вслед. Теперь ее платье не просвечивало, фигурка не казалась мягкой, притягивающей; Саша быстро поднялась на шоссе и пошла, не оглядываясь.

— У,— повторил Сбоев, стоя раком.— Дура. Дурак. Дуррак! Сука,— добавил он неизвестно о ком и встал.— А! — подумал или проговорил.— Перебьемся! — Подобрал откатившуюся фуражку, встряхнул, сильно надел.

Он стоял у края песчаного обрыва, перекинув плащ-накидку через плечо, словно Чкалов над Волгой. Но Волги под обрывом не было. Их речка, называвшаяся смешным в детстве именем Сметанка, давным-давно, еще, наверное, до рождения Сбоева, перестала отливать белизной — радиозавод построили тут еще во время войны, сливные воды шли густо, отец лет пятнадцать назад; Сбоев помнил, перестал рыбаить,— их речка текла с другой стороны поселка; перед взглядом, если не смотреть под самые ноги, на карьер, открывались заводские задворки, забор из белого кирпича вокруг, край поселка, вытекающее из него шоссе с уже еле различимым алым пятном посередине — шоссе, уходящее в синее небо с редкой облачностью под полторы-две тысячи метров. Облака плыли, определил Сбоев, на северо-северо-восток, втягиваясь в огромную воронку над степью, туда же впадала дорога, вся округа двигалась, дышала, и Сбоев задышал тоже, раздувая ноздри, чуть сдвигая лопатки-крылья, словно мог сейчас взлететь с обрыва, как с пусковой установки, взлететь и свечкой, на форсаже, уйти вверх, разом оставляя всю эту пыльную рвань, что лежала внизу, обрывая с нею все связи. Никакого разнообразия или, того больше, интереса в их пейзаже не отмечалось.

Стройную перспективу наискось разрезал антоновский биплан, весело сверкая на солнце желтым телом и зелеными двойными крыльями. Иллюминаторы блеснули — АН сделал правый разворот — не очень-то чисто,— чтобы уйти туда, к Сметанке, в пойме которой лежал аэродром.

А! В самом деле! Что тут больше ловить! Сбоев тоже ушел на правое крыло...

...Поезд остановился, серая полоса бетонки, быстро надвигающаяся на глаза,— в окурках, обрывках обертки от мороженого, в рассеянной пыли — мягко ударила под каблучки. Сбоев приземлился на левую ногу, а не на обе, как учили. Это была старая его ошибка, еще на первом курсе при первом прыжке он плюхнулся, словно куль с мукой — и мука полезла

из разом лопнувших швов. Сбоев крикнул и, упав, не поднялся, все продолжая кричать. Парашют не тащил — ветра не было. Не комиссовали, слава богу, да и он сам тут же всхомящился, что могут отчислить, и принялся терпеть; отделался небольшим вывихом — только-то...

Сбоев приземлился на левую ногу, держа в глубине сознания первый неудачный прыжок, Сашу, с усилием пуская в душу старика Васю и ночного проводника. Сосед утром смотрел на него, Сбоева, с непонятной усмешкой и, когда Сбоев, выходя с чемоданом из купе, сказал «До свиданьица», хотел, видимо, ответить какой-нибудь гадостью, несколько мгновений открывал рот, подыскивая словцо, но ничего не придумал, а Сбоев уже шел бочком по коридору, собираясь обматерить проводника, но проводник, сука, отсутствовал, в тамбуре ковырялся сменщик — открыв заслонку, запускал грабли в грязную нишу, где виднелось водомерное стекло. Сбоев задел сменщика чемоданом, хорошо задел углом, а тот даже не обернулся. Ну и хрен тебе в сопло, база, база, при-е-ха-ли, мокрый после полета, как мышонок, база! Кто не летал, не знает, как небо отпускает пилота, как бетонка чуть покачивается при первых шагах, и не веришь, кажется, что — все, ноги не слушаются; Сбоев, держа в себе клокочущую боль, радостно спрыгнул еще до полной остновки, пошел, улыбаясь, как и вчера при отправке, улыбаясь солнцу, пошел к далекому, словно диспетчерская вышка в конце полосы, вокзальному зданию в конце перрона. Люди не мешали. Так аэродромная трава, безостановочно треплемая бешеными движениями воздуха, мечась из стороны в сторону, чуть отвлекает уставшие глаза.

Здесь предстояла пересадка. С улыбкой отстраняясь от баб с ребятишками, Сбоев прошел к воинской кассе, встал в очередь — небольшую, человек на десять. Стояли два внутренних полковника, блестящий золотом морячок — Сбоев оглядел морячка, прикидывая, как бы черный китель сидел на нем, подумал, что к русым волосам черное не подходит, хаки лучше, — несколько воинов с черными погонами — отпускники. Билетов не было.

— Что, никакого? — Сбоев рефлекторно попытался просунуть голову в окошечко кассы, — хоть плацкартный.

— Никакого, никакого, — пропела девица за окошечком, и Сбоев, поджав губы, отошел в сторону, сзади его уже подталкивал подполковник-связист, сразу закричавший:

— Девушка! Девушка! Харьков! Девушка!

Сбоев постоял в середине зала, ругая себя за то, что поторопился, не догуляв четырех дней отпуска и сорвавшись из дома в еще неведомую ему часть, где, можно подумать, без него, Сбоева, не могут, такая мать, обойтись; тут же он

встряхнулся, ощутив знакомую злобу, предшествовавшую у него обычно желанию во что бы то ни стало решить поставленную задачу, решить, взять, получить, добиться; нервы в таких случаях уходили тоннами, словно керосин в баках, но своего Сбоев, как правило, всегда добивался, так и привык — добиваться.

В окошечке ВОСО¹, как и на расстоянии ощутил Сбоев шестым чувством пилота, сидел не офицер-железнодорожник, а старлей-летчик.

— Слушай, браток, — сказал Сбоев тихонько, наклоняясь к нему и затверживая на лице улыбку, — помоги соколу расправить крылья. Бил...

— У меня нет билетов, — не поднимая глаз, выговорил старлей.

На его скуластой физии висела сухая щеточка строгих полковничьих усов. Сбоев почему-то подумал тут, что старлей, наверно, хохол. Ну, пусть хохол. Что ж он, падла, и головой не поведет? Посмотрел бы, увидел — свой, свой. Сбоев не сомневался, что билеты есть. Так всегда: для одних нет, для других — есть. Он, Сбоев, как раз — другой, старлею необходимо было только посмотреть на Сбоева, и Сбоев тут же получил бы от него необходимое ускорение и хорошо стартовал бы, оставляя самого старлея преть на жаре за стеклышком кассы, — собственно говоря, старлей напрасно выеживался, он был такой же кассиршей, только получал вещевое довольствие и оклад за три звезды. «Четкая работенка, — еще мелькнуло в голове у Сбоева. — Сиди себе, читай». Старлей, действительно, не отрывался от какого-то справочника — там шли цифры колонками, было видно. «Можно и усы запустить со скуки. Не мокрели усы-то никогда при трех «g»², закапало бы на губу ручейком, сразу сбрил бы, сучонок. Пригрелся».

— Браток, — повторил Сбоев, не снимая улыбки, — послушай. Ты какое училище кончал?

Старлей выстрелил взглядом в Сбоева, усы его оттопырились:

— Товарищ лейтенант! У меня билетов нет! Ясно вам?

— Ясно, — выговорил Сбоев, распрямляясь.

Старлей не сказал ни «идите», ни «все», ни еще чего-нибудь, он просто, показав монарший гнев, тут же выключился и уткнулся в свою книгу, для него Сбоев уже не существовал.

Сбоев вышел на вокзальную площадь. Прямо перед носом, скрежеща, поворачивал допотопный трамвай, пересека-

¹ Военные сообщения.

² «g» — ускорение, равное ускорению силы тяжести.

ющимися курсами шли люди, движение в разных плоскостях существовало отдельно от Сбоева, летела пыль, давило солнце. В толчее Сбоев пошел углами площади, через переходы, на противоположную кромку — к бочке с квасом. Молодой кислый квас ударил изнутри в голову, Сбоев захорошел. Пузырьки воздуха, разбалтывая давление в системе, прошли по телу от ног до затылка. Отгороженный от города, из которого еще предстояло выбираться, Сбоев пил и пил, осадив фуражку на затылок, забыв обо всем, наслаждаясь свободой; Сбоев пил, поднимая глаза к небу, полному желтых переливающихся искрами игл, он почти летел там, в небе, хотя в том небе, в котором ему приходилось и предстояло летать, не было ни чувства свободы, ни самой мысли о воле — только полное напряжение сил, подавляемый страх и злое желание достичь цели. Это был отличный винегрет, оставляющий — уже на земле — привкус сладости, иллюзию власти, память о верном, а на самом деле ненадежном подчинении человеку многотонной машины, готовой делать все, что она хочет сама; Сбоев пил и летел, претворяя чувство свободы в хоть какое-то видимое действо, машинально расстегнув две верхние пуговицы рубашки.

Он потерял ориентировку, пил и наливался силой, пока машину вдруг не тряхнуло; чья-то рука тронула его за плечо. Сбоев обернулся, квас застрял в горле. Чтобы не выблевать последний глоток, Сбоев икнул, звук пошел по желудку вниз. Перед Сбоевым стоял подполковник-летчик, довольно уже пожилой, но крепкий и, видимо, принадлежавший к породе, называемой в училище долбошлепами.

— Лейтенант, — сказал подполковник и сделал приглашающий жест, — на минуточку, ну-ка.

Сбоев — в распахнутой рубашке, в сдвинутой на затылок фуражке, с чемоданом в одной руке и кружкой в другой — сделал несколько шагов за подполковником. Надо было хоть застегнуться, но Сбоев, сбитый влет, никак не мог собраться и не соображал, что для этого необходимо сначала поставить чемодан или быстро вернуть последнюю кружку равнодушному кваснику, сидящему без всякого прикрытия в самом центре пекла.

— Лейтенант, — подполковник кивнул головой в сторону бочки, и Сбоев тоже обернулся с перекошенным лицом, — поглядите: эк расхристался, мать его поперек и вдоль, а? Мне неудобно, а вы сделайте замечание. И увольнительную его пометьте.

Тут же, незамеченный Сбоевым, стоял солдат и, запрокидывая голову, сильно двигая кадыком, выхлестывал холодящую, дающую свободу влагу. Солдат действительно перешел меру. Галстук висел у него чуть ли не на спине, рубашка была

расстегнута до пупа, китель — это офицеры теперь ходят с короткими рукавами да и с открытым воротничком, а солдату и в жару и в холод полагается китель, — китель тоже, конечно, был расстегнут, а фуражка непонятно как и держалась — даже не на затылке, а почти на шее. Ну, охламон, бля! Такого воина Сбоев еще не видал. Стоящий в горле квас тепло потек вниз, Сбоев протрезвел в единый миг.

— Есть, товарищ подполковник!

— Давай, — тот сразу ушел.

Сбоев быстро поставил чемодан на асфальт, на чемодан — кружку, в единый миг застегнулся, дернул за козырек, успев стукнуть ребром ладони по тулье фуражки, проверяя, на одной ли линии находятся кокарда и нос, развернулся:

— Воин!

Сбоеву повезло — то ли солдат оказался полным кретином, то ли просто первогодком, то ли тоже не успел собраться, только он, не переча ни единым словом зеленому лейтенанту, покорно отдал военный билет, увольнительную и, двигая конопатыми щеками и лупя маленькие в рыжих ресницах глазки, смотрел, что будет делать Сбоев. «Ну, балбес! И не вякнет! — думал Сбоев. — Действительно, конченный балбес!» Сбоев хлопал руками по карманам, ручки не было, тогда он присел к чемодану, достал, покопавшись, ручку и стал писать на обороте увольнительной.

— Товарищ офицер! — Его обступили родственники охламона — отец, мать и сестра. — Товарищ офицер! Простите его, пожалуйста! Простите! В первый раз в гости приехали! И что он сделал?

Девушка попыталась наскоро показать глазки Сбоеву, он посмотрел сурово.

— Да что он сделал-то, господи? — спрашивала мать, разводя руками. Отец воина молчал и только неприязненно разглядывал Сбоева.

— Расстегнулся, — неохотно объяснил он жене, — нельзя расстегиваться.

— Да товарищ офицер! Он сейчас ведь застегнется, он вот уже ведь застегнулся, товарищ офицер, вы посмотрите только!

Сбоев протянул увольнительную, солдат взял и стал читать.

— Дай! «Находился в центре города в безобразно растерзанном виде. Лейтенант Сбоев», — прочитал отец. — На... А вы откуда, лейтенант Сбоев? — спросил он, неотрывно глядя, — с неба, что ли, на нас свалились? Часть какая, номер части какой?

Номера своей части Сбоев пока не знал, у него было на руках предписание — естественно, с номером части, но это был номер штаба округа ПВО, да и в любом случае, хотя тут

он, Сбоев, на все сто прав, следов оставлять — еще до начала службы — совершенно было не обязательно. Поэтому Сбоев ничего не ответил, взял с чемодана кружку, хотел допить, но не стал допивать, поднял чемодан, повернулся, поставил недопитую кружку на мокрый поддон и пошел, ожидая, что те попытаются его остановить — дурачки, зачем? — и приговаривая поступить решительно, решительно. Но никто за локти не хватал, только мать сказала сзади:

— Эх, молодой человек, молодой человек! Словно у вас у самих родителей нету!

— Ладно, оставь его, — еще услышал Сбоев, — пусть катится к едрене фене.

Сбоев не оглянулся. С этим поколением общаться — себе дороже. Хоть с собственным отцом — говорить, так все время хочется спросить, как при полете: «Что со связью? Первый, что со связью?»

Последнее время, разговаривая с отцом, Сбоев почти слышал, словно при грозе, трески в наушниках, разрывы, рвущиеся шорохи, сквозь которые невозможно пробиться нормальным словам.

— Ты ж хотел в училище связи, — говорил отец, барабанил пальцами по клеенке на кухонном столе, — говорил, военпредом будешь здесь у нас, чего ж лучше, и стал бы. Вон у нас Лебедев, подполковник, — как хорошо, — отец говорил в тысячный раз. — Ответственность, оно конечно, но ведь и все такое... Так, вроде, работа, конечно, чистая, пупок не надо надрывать, а так, вроде — ты можешь к себе уважение иметь, потому что ответственность большая, и гроши зря давать не станут... И тоже — дома. Куда тебе еще ехать-то... Дом есть.

— Ну, ё, — Сбоев и плечами пожал, и головой покрутил, — ну что ты, елки, заелся на этом училище связи! Когда ты съедешь с училища связи, мать честная!

— Ну, ты давай, мать тут ни при чем, эта...

— Ни при чем! А что ты мне тут на мозги капаешь! Разуи глаза: я летчик, понимаешь, летчик! Ты посмотри — форма на мне, в кармане диплом, дело сделано, что попусту трепать языком! И я себя, между прочим, прекрасно уважаю.

— Оно так, — сказал отец, рассеянно глядя на Сбоева, словно не понимая его. — А что ж ты в училище связи-то... Хотел же... Какой ты еще летчик-то...

— У... — Сбоев сквозь зубы спустил ругательство. — Ну, хорошо, я тебе скажу, но первый и последний раз... И всё, кончим на этом; идет? Не поступил я в училище связи, физику не сдал.

— Во! — Отец изумленно привстал. — А написал тогда — небо, значит, поманило. И приехал, помнишь, в первый отпуск, все хвастался, как летаешь. Ха! — Отец оживился,

давний шрамик от пореза — на правой щеке — пополз в сторону. — Может, ты... эта, и не летаешь вовсе? Знал я — всегда ты скрытный был...

Сбоев, в свою очередь изумившись, выкатил глаза.

— Ну... а матери-то скажем?

— Да мне-то что! Хочешь — говори, я об этом и забыл давно, — Сбоев усмехнулся, — что не летаю, это ты, пожалуйста, думай, что желаешь. Мне все равно. — Он повторил: — Все равно... Вот, видишь, — он пошел в коридор и принес в кухню висящий на плечиках китель. — Видишь, птичка, — ткнул пальцем в серебристый значок над училищным поплавком, — дают только летному составу... Диплом ведь сто раз читали с матерью, что там написано?

Сбоев повесил китель на крюк, вернулся:

— В летном недобор был — первый раз за всю историю училища — недобор, — усмехнулся, — так что повезло, — он засмеялся совсем легко. — Получается, действительно небо поманило: из летного, нашего то есть, туда, к связистам, приходили — только, говорят, медкомиссию пройди. А что же не пройти, сюда, что ли, возвращаться, как сучонка побитая... И что мне здесь ловить? А? Тарасов Витька где сейчас, будто не знаешь — сидит. А Долишнюк? Инвалидом остался! У Кондратенков — где все трое? Коля утоп вместе с катером своим мелководным... — Сбоев на мгновение остановился, вспомнив «катер» тезки Коли Кондратенко — драную плоскодонку, на которой парни, в том числе и Сбоев, совершали замечательные заплывы по Сметанке и девок завозили на острова. — Утонул по этому делу, а Игорь и Серега где? Хрен ли мне здесь ловить?!

— Ну, извини, — сказал отец.

— Пожалуйста, — Сбоев скривился. — Надоело.

— Это я вижу, что мы с матерью тебе надоели-то.

— Ну, хватит.

Они молча мешали ложечками в стаканах с чаем.

— Всегда был упорный, — вдруг сказал отец. — Помнишь, как ты у тетки-то в самовар-то... нассал? Как я ни полосовал тебя, так и не сознался, что ты. Орал тогда, правда, шибко, хорошо орал, в голос.

Сбоев еще раз нехорошо усмехнулся.

— И все сам, сам, все стороной. Родителям никогда ни гугу, ни полслова.

Сбоев снова усмехнулся.

— Ну, а Саша-то что? Что-то вы... гуляли... вроде... И вроде нет.

— Это мое дело! — взвился Сбоев.

Отец с хлопаньем потянул горячую жидкость, глядя поверх обреза чашки на Сбоева. Отцовский взгляд, непривычно

изучающий, словно Сбоев-старший впервые видел сына, был неподвижен. Отец, всегда сухошавый, за последнее время еще больше похудел, щеки ввалились, нос как-то вытянулся у него, скулы и подглазные бугры выперли из лица, так что заметен стал череп. Мать еще в прошлом году писала — ездил в область к врачам, не доверяя заводской медсанчасти, но областные лепилы ничего не обнаружили, хотя такое похудание, ясное дело, ничего хорошего означать не могло.

— Нет... Не только, значит, твое... Че ты срываешься? Билет уж закупил. А ведь еще не выбрал отпуск-то. Ты скажи, эта, так, по-мужски, значит: поранул ее или что у вас получилось?

— Тебе как — с подробностями? Интересно?

Отец усмехнулся не хуже Сбоева:

— Ага... Можешь. Конечно, интересно... Ты — вьюить, а нам здесь жить с матерью. Люди будут, значит, говорить. С нами, понимаешь, все здороваются, с Лазутиным мне в цехкоме еще срок цельником тянуть до перевыборов — почти полгода.

— Срок тянуть, — передразнил Сбоев. — Как, скажи, в лагере — в цехкоме. — И мстительно добавил: — Боишься цехкома.

— Это тебя не касается... Так что выходит?

— Ничего.

— И не было? Помирились?

— Не было, — проворчал Сбоев в сторону. — Помирились.

Отец заметно повеселел, даже, кажется, округлился с виду.

— Во сына вырастил — девку не может испортить! Куда ж ты годишься, а еще летчик! — Он положил ногу на ногу, вельветовая отцовская штанина задралась, открыв сухую глянцевою ногу с редкими черными волосками, закачал ногой. — Летчик, знаешь, должен что? Пикирнуть, как этот, орел, — рраз! И вверх! Посмотришь на тебя — боец, а силы нет в тебе ни на грамм, одно упрямство. Ха! Ты на этот... на таран, если случай, не пойдешь, выходит! — Отец облегченно засмеялся, выставяя резцы. — Бежишь, значит, сынок, с поля боя.

Чтобы не заводиться с отцом, Сбоев, подняв руку, резко опустил колпак, замки шелкнули, зажегшийся флажок четко показал, что кабина герметически закрыта. Он опустил еще солнцезащитное стекло гермошлема, синие округлые стекла отделили Сбоева от земли еще одною прозрачной стеной; натянул мягкий хобот системы дыхания — все: дышу своим воздухом, чистой кислородной смесью, а не то что здесь — углекислый газ пополам с аммиаком, дышу отдельно от вас! Посмотрел, прищурившись, в конец полосы; воздух безостановочно двигался — по полосе, преломляясь в собственных

воздушных струях, шло звено МИГов, только что «на пятерку» севшее крыло в крыло. Сейчас должна была быть команда «запуск двигателя». Сбоев цепко взял в ладонь тумблер зажигания, ощущая, как в складках ладони проступил, увлажняя изнутри перчатку, невесомый пот...

На площади парило здорово, солнце било в глаза, в ноздри рвался едкий, разогретый августом, асфальто-бензиновый дух. С отвращением вдохнул всей грудью, надел новенькие солнцезащитные очки, курсантам в строю очки запрещались, надел, посмотрел вдаль, в конец улицы. Там ничего не было, кроме самой улицы с низкими, довоенной постройки домами и людьми...

Сбоев пошел обратно на вокзал, решив зайти в ресторан — должен же быть ресторан на вокзале. Переходя площадь, оглянулся на дурачка с родителями — все трое еще стояли у бочки, разглядывая испорченную Сбоевым увольнительную. Эх, салабон, не учился ты в ВВЛУ¹ — орденов Ленина и Красного Знамени! Ни реакции, ничего. Значит — получи. Получи! Зажегши чужого, Сбоев тут же отвалил вправо, совершая противоракетный маневр.

— Падла,— привычно пронеслось в голове, как всегда после выполненного задания. Теперь его ждала «пятерка», «пятерик», «отлично», как пить дать! Падла! Ухо-одим. Сбоева вдавило в кресло, гермошлем уперся в подголовник. Угол зрения у Сбоева был дай бог — если не триста шестьдесят градусов, то сто восемьдесят почти все; выпустив ракету и уходя на правом крыле в сторону, через воинский зал, Сбоев успел боковым зрением ухватить что-то — блеск или движение — почти за подкрылком. Мгновенно скосившись на радар — ничего не показывал, Сбоев выровнял машину и снова приготовился, напрягся: что? Что еще? Старлей из своей стекляшки делал приманивающие жесты, явно относящиеся к нему, Сбоеву. Сбоев, внутренне вспыхнув, подрулил.

— Где ж ты есть? — спросил старлей. Его виски и щеки разрубили резкие морщины улыбки.— Отстрелялся и отвалил, понимаешь. Тебе куда?

Сбоев сказал ему. Старлей одной рукой проиграл короткий аккорд на кассовом аппарате, на дисплее выскочила — Сбоев видел краем глаза, угол зрения-то, ей-же-ей, пилот! — зеленая цифирь.

— Вечером только, поезд сорок два, плацкартное, боковое,— с неожиданным огорчением произнес старлей.— Годится? — Сбоев кивнул, сглатывая нервную слюну, кассовый

¹ Высшее военное летное училище.

принтер высунул бледный язык.— На!.. Чирик и двадцать грошей,— все улыбаясь, старлей протянул билет,— лети!

Сбоев снисходительно принял кусок бумаги, из-за которого столько, скажи, разговоров, повернулся, понимая, что все происходит, как и должно происходить, медленной фланкирующей походкой пошел по залу, засовывая плацкарту в карман; запнувшись, остановился: какие еще десять двадцать, ё? У него ж, как и положено, требование¹ — как у каждого служаки, билет уже оплачен, конёво дело, до самого места, и плацкарту должны выдавать бесплатно! В бешенстве повернулся: только что, запустив движок, Сбоев собрался было рулить по дорожке к полосе, и техники, оставив машину, уже отбежали, чтобы не попасть в струю кипящего воздуха, с горячим сипением выдуваемую из сопла, уже и руку Сбоев поднял, приветственную показывая перчатку, как в ушах прозвучал его номер: — Отбой! Отбой. Сбоев обессиленно откинулся, гермошлем упал на подголовник кресла; откинулся, бросил руки, избыток крови, только что пульсировавшей в теле, ударил в голову, голова загудела, потом — в ноги, сосуды в ногах задвигались, словно бы жили самостоятельной, отдельной жизнью. Ах, ты, хер усатый! Сбоев сделал шаг обратно, к старлею, но того уже не оказалось за его конторкой, сквозь опущенное стеклышко виделась книга; которую он только что читал. Сбоев постоял рядом, словно рядом с пустой самолетной стоянкой, чувствуя бессилие, постучал ребрышком плацкарты по узкому прилавку кассы, сунулся в машинопись на сволочной бумажке: отправление стояло — 23.05. Выскочило из головы, что полчаса назад он, не задумываясь, выложил бы красненькую за возможность уехать. Теперь, когда билет имелся на руках, Сбоев понимал так, что его умыли. Ну, суки! Десятки было жалко. Улыбаясь, держа в левой руке чемодан, а правой четко и с удовольствием козыряя старшим по званию, воинам не отвечал, Сбоев легкой походкой спортсмена прошел в камеру хранения, где уже лежала его аккуратно упакованная в холстину повседневная шинель — парадную еще следовало получить в части,— сдал туда же, в камеру хранения, чемодан, вытащив из него, повинаясь внутреннему побуждению, плащ-накидку, повесил ее на себя, через плечо, проверил, на месте ли в карманах рубашки документы, а в брюках — бумажник, все улыбаясь — красавец, красавец. Осененный золотой птичкой на тулье фуражки, вышел во второй раз на привокзальную площадь, улыбаясь, улыбаясь, все переживая произошедшее.

¹ Выдаваемый воинской частью документ на право бесплатного приобретения билета.

Пес их знает, могли подойти эти — воин с родителями; быстро глянул туда, на противоположный угол. Квасная бочка стояла одинокая, закупоренная, люди равнодушно сновали мимо. Ну, лады, а то: «Мы нанесем, коль это будет надо, ответный термоядерный удар». Огляделся. Шли люди; равномерное колыхание голов сверху — Сбоев был высок ростом — казалось колыханием безбрежной, подогретой изнутри массы океана, казалось, бесконечная рябь по верхнему слою бесконечной прорвы бесконечно двигалась, вкручиваясь в самое себя, то пуская вдруг резкие протуберанцы в сторону, то — втягивающего всхлипа не было слышно — вбирая только что упущенное; непрерывный гул, словно гул работающего с холостыми лопатками двигателя, давил на затылок. Сбоев смотрел поверх голов, уверенный в себе. Турбовинтовой — прошло, проехало, пролетели давно, изучали на первом курсе; теперь — его, Сбоева, движок — ай-люли: свист, грозное змеиное, стелющееся по земле шелестение, рождающее чуть, как в треснувшей деке, дребезжащее пение в микроскопических, невидимых глазу разрывах бетона полосы, потом — обрушивающийся на оставшихся грохот; падающие глыбы звука за миг смяли бы шевелящееся людское море, и Сбоев не различал отдельных его капель и струй, имея билет в кармане. Билет защищал, словно сидящий на заднем кресле инструктор, вывозящий в полет. Сбоев понимал, что теперь можно расслабиться.

Расставил ориентиры: квасная бочка, задраенная, ха, наглухо, вокзал за спиной, свободные для рулежки полосы переkreшивающихся улиц. В фокусе цели встала афишная тумба; аккуратно посмотрев на часы, отметившись («Вырабатывайте офицерские привычки, товарищ курсант!»), прочитал:

ГРУППА ЛИЛИПУТОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ АЛЬБЕРТА ПЕТРОВА

Засмеялся тихонько, съел бифштекс в вокзальном ресторане, подумал — заказать ли; и — не стал этого делать, трезво беря в расчет жару: вечером, перед посадкой. Ресторан работал до полуночи, до 24.00, принять успеет на грудь. После лилипутов шли ТАНЦЫ — курсантское сердце рефлекторно вздрогнуло, ТАНЦЫ ЕЖЕДНЕВНО с 19 до 22 НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ им. АРТЕМА. Что за Артем такой? А фамилия? Всплыли, как ведущий звена всплывает перед тобой в чистом просторе, замыкая на себе взгляд, всплыли некоторые картины. Танцы, шманцы, обжиганцы. ТАНЦЫ, потом КИНОАФИША. Но Сбоев не знал города — где, скажем, «Октябрьский», где «Родина», где «Алмаз», где... Можно было узнать, конечно, узнать у туземцев.

Отстраненно, вовсе не собираясь заходить на цель, спросил:

— Не подскажите, где «Родина»?

— Да,— сказала,— но... тут, в общем, с пересадками на троллейбусе. Хотя недалеко.

Сбоев включился — клевая, скорее догадался, чем увидел,— клевая. Сбоев еще не знал, что чувственность в личине скромности возбуждает сильнее, чем видимая доступность — так для умного. Сбоев умнел, умнел потихоньку. Доступность, известно,— что? Взял и съел, косточки выплюнул, а тут — о, тут еще шкурку сдирать, обламывая ногти и свирепея,— поддается ли, не поддается, все равно свирепея, добираться до мякоти. Шкурку выбросить потом. Сбоев заглянул ей в глаза и отвернулся, словно кошка от взгляда: била, не отрываясь, словно пламенем; штаб в голове Сбоева лихорадочно выдал команды оперативному управлению на разработку операции, в штабе засуетились, забегали по кабинетам, объявили было готовность номер два — сидеть, готовыми к вылету, в шашки резаться, потом, тут же — готовность номер один — находиться в кабинах при запущенном движении, со свистом впустую выдувать из-под брюха машины давно выдугую сухую пыль. Тонкое белое лицо, на нем чувственные, чуть пухлые губы, гладкие волосы — полыхающие, как и глаза, черным огнем. Широкомасштабных операций Сбоев не мог проводить — Академия Генштаба нужна, а не Высшее летное училище ПВО, не защита — стратегия нападения. Еще раз, заставляя себя, взглянул: в выпуклом черном стекле отразился сам, стоящий у машины, колпак откинул, лесенка приставлена к кабине, в руке гермошлем, на зубах усталая улыбка — после полета, что ли? После полета — значит, полетим, полетим — повезли на электрокаре ракеты, ракеты — отстреляемся, улыбнулся, мысленно проходясь по себе,— хорош, звезды ведут без сбоя:

— Вы не покажете мне? Временем располагаете? А то сам — собью ориентировку и попаду на вражеский аэродром.

Она тихонько засмеялась, открылись влажные зубы, у Сбоева быстро-быстро повезли ракеты, быстро-быстро стали начинать кассету, пришлось прикрикнуть на прапора-оружейника, командовавшего загрузкой — осторожней! Сбоев смотрел ей в рот, в голове завертелась строка, одна строка, всего стихотворения Сбоев не помнил сейчас, строка такая: «И... ем глотку ей заткнул!» Ну, Сашечка-мишечка, девочки из столовой — трахнул всего двух за все-то годы, не считая, конечно, Зои-трехстволки, раньше — в школе... Ну, Сашечка, драть тебя, молотить, достану тебя сквозь эту! Заложенный компьютером, включился автоматический режим, звериная интуиция; прост, хорош был Сбоев, добр. Так, так надо.

Оказалась — Наташа; разговаривая, Сбоев запел про себя: «Саша — Наташа, Саша — Наташа, Саша — Наташа». У нее — каникулы, каникулы, свежачок. Сбоев захорошел, как от выпитого, старался не касаться даже платья — хранил боезапас.

Билетов в «Родине» не было уже. Помня урок, Сбоев достал десятку, она произнесла мило так: «Много денег у авиации». Сбоев хорошо улыбнулся — выходил в нужный режим, достал десятку, сунул в кассу: «Может, какие отложенные есть? Вот — без сдачи». Кассирша, тетка с наростом на носу, постаралась, кажется, высунуть свой шнобель в окошечко, чтобы рассмотреть Сбоева, увидела, наверно, только защитную вискозу рубашки, твердые тканые погоны с горящими звездами, скошенный сбоевский подбородок; Сбоев не дождался ни билетов, ни ответа, скрипнул зубами. Бабец сейчас, как пить дать, мог отвалить — проводила, пока, и отвалит за милую душу, но она сказала, словно теперь всю жизнь собралась провести вместе со Сбоевым:

— Что ж нам теперь делать?

Сбоев сказал бы, что делать.

— Может, аллах с ним, с кино?

— Да?

— Любой фронтовик лучше всего отдыхает в домашней обстановке, — Сбоев был великолепен, — после боевых вылетов и схваток с воздушным неприятелем всего дороже домашний уют.

Вдруг мелькнула мысль: конечно, могли быть мамульки-бабульки всякие, об отце ее не подумал, мамульки-бабульки, но все равно качнуть сейчас стоило, чего терять, добавил:

— Горячее сердце сокола в домашней обстановке мягчеет.

По ее лицу, не снимающему улыбки, прошла тень, Сбоев отметил: ми-мо. Эх! Ну, и... Шла бы ты!

Вечерело, но жара не спадала, только начало нежнеть, до поезда оставалось пять часов. Прошелся по приборам — норма, вся огневая мощь мирно покоилась в теле, ожидая команды, но команды не было, и — мирно покоилась. Нам бы чего попроще! Досада прошла по мышцам теплой волной освобождения.

Они медленно спустились по ступенькам кинотеатра — так ничего и не ответила, только заглянула черными своими глазами, сбоку заглянула в твердеющее лицо Сбоева, Сбоев сразу пустил — рефлекторно, реакция-то! угол зрения — о! — добрые складки по щекам.

— Вы, конечно, шутите? О неприятеле? Хотя сейчас Афганистан...

«Спасибо», — подумал Сбоев.

— Но вы ведь шутите, правда?

— Шутю. А в Афгане все кончилось. Вышли из игры.

— И хорошо. Не дай бог, погибли бы ни за грош,— это произнесла она вполне серьезно. Сбоев ощутил некоторое недовольство: какого хрена она тут мелет языком — ее ли дело судить? Сказал:

— Чего тут... Мы выполняли интернациональный долг, и надо будет — выполним его в любой точке воздушного океана. Я... тоже рапорт подавал, но,— сожалеюще цикнул языком,— все, вывод. А у нас в училище один — Героя получил за Афган.

— Хотите быть Героем? — засмеялась. Чрезвычайно получалось странно: она говорила с ним, Сбоевым, тут, рядом говорила, но как-то была отстранена, и Сбоев чувствовал дистанцию. Вдруг резко остановилась, зрачки ее полыхнули: — Хотите?

Сбоев аж отпрянул от залпа, на мгновение смешался, но быстро сориентировался:

— Хочу! Хочу! — прямо залепил в круглые, как дульные, прорези.— Хочу!

Всунуть ей хотел, Героя хотел на китель — хотел, ясно, хотел. Кто же не хочет? Пятипалая медаль — говорят, дают золотую и к ней дубликат из сплава — для носки, чтоб не слизнули,— пятипалая медалька вполне довершила бы рамку, в которую вставил себя Сбоев. Рамка эта, конечно, не должна оказаться столь черной, как это случилось с их выпускником: капитан Бутромеев Александр Алексеевич, посмертно. Вот «посмертно» Сбоеву никак не подходило. Бутромеев выпустился на три, всего на три года раньше, так что тогда его лица Сбоев не запомнил, но наверняка гонял их, салаг с первого курса, когда сам был на четвертом. Крепко сжатый рот Бутромеева представился Сбоеву сейчас, фотография на стенде, копия с фотографии на личном деле,— в парадке, без фуражки. Капитан — хорошо, два звания за три года; сгорел Бутромеев заживо, в кабине сгорел, такой случай вышел — не оставил машину, упорный оказался паренек.

— Вы у нас будете служить, да? — держалась она удивительно легко.— Я даже знаю, где ваша часть.— Сбоев начал заводиться от ее непосредственности: строит из себя, сучка.

— Я вообще-то в Москве буду служить, а у вас тут временно,— твердо соврал Сбоев, бесстрашно глядя в черные глаза.— А узнать, где часть, нетрудно. Полеты от населения не спрячешь. Это дело тайны не составляет. У нас ихние базы тоже давным-давно пересняты. Это раньше,— махнул рукой,— играли в секреты. Толку-то...

— Что-то вы так равнодушно к военной тайне относитесь? — непонятно было, нарочно она его заводит, что ли.— Вы на каком самолете летаете? — Сбоев удивился, что все они задают один и тот же вопрос.

— На ПО-2.

Она засмеялась — необходимо, по-доброму, и Сбоев начал действительно обижаться. Обижать его, Сбоева, было не за что — он нормально учился, тянул, неплохо летал, окончил в первой двадцатке курса, распределился в гвардейскую часть, а то, что особенно летать он не рвался, мечтал уйти на хорошую штабную работу, даже лучше штабная, чем по снабжению — там Сбоев боялся превысить меру и провороваться по крупному, — то она знать не могла, то еще толком не знал сам Сбоев.

— А я знаю — на МИГе, на МИГе, — так же, словно поддразнивая, почти пропела она, — на МИГе. У нас аэродром ваш рядом с танцплощадкой. Как танцы, так у вас сразу начинают самолеты летать — один за другим. Как нарочно! Вот сейчас придем — сами увидите.

— Танцплощадка рядом с аэродромом — удобно, — криво улыбнулся Сбоев, — после полетов недалеко ходить. Ну, ладно, пойдемте.

Штаб отменил уже и готовность № 1, и № 2, Сбоев просто сидел в дежурной комнате, готовясь содрать с себя полетное облачение, — отдыхал, до поезда все равно делать нечего.

Танцплощадка пребывала за плетеным из реек забором, в нескольких местах грубо проломленным — выкидывали, — Сбоев про себя усмехнулся, — выкидывали танцоров. Ровный, как на плацу, асфальт уже покрывался фиолетовыми вечерними тенями. Несколько группок ребят стояли по краям фиолетового плаца, девки — у эстрады. Только Сбоев углядел эстраду, как оттуда, словно указывающий направление маяк, ударил луч прожектора, завращались, как в сопле ракетного двигателя, малиновые и желтые огни, мгновенно стало темно, как при затмении. «Аааа-аа-аа!» — закричала с неба эстрада, словно там, на небе, качественно прочесанная, в голос кончала певица. Красные огни посадочной полосы заполосовали по танцующим. С всхлипом набрав воздух, злобно выплеснув несколько иностранных, кажется, немецких слов, певица вдруг закричала русское матерное слово — бог его знает, как оно звучит по-немецки. Огромный красный зев раскрылся над темной, прошиваемой светом посадочной полосой. «Кии, — неслось сверху, — зда-а-а!» Народ, которого вдруг оказалось предостаточно, отвечал разноголосым ревом — Ки-ии-зда-а-а! Тут же Наташа прижалась к Сбоеву, он быстро ощутил твердые ее бедра под платьем, упруго подавшиеся от упора груди; рефлекторно, ничего не понимающий, оглушенный, Сбоев взял ее за ягодицы, надвигая женщину на себя, но мешала плащ-накидка, Сбоев оторвал одну руку, чтобы отодвинуть плащ-накидку, и Наташа, резко отлепившись, рванула его за руку куда-то в сторону. У Сбоева подвернулась

нога в шиколотке, он покатился куда-то вниз, оказалось, что они стояли на самом краю заросшего диким кустарником обрыва. Крик певицы перекрылся катящимся ревом взлетающего перехватчика, над самыми головами прошел на форсаже МИГ-29 с полной подвеской ракетного вооружения, зеленое пламя било из хвоста тяжелой машины. «...зда-а!» — полетело вслед машине, и тут же, вновь перекрывая вкручивающееся в уши слово, прошел второй МИГ, давя на мозги дребезжащим ревом. В обнимку с подсекшей его Сбоев катился по обрыву, глотая песок. Одна была мысль: фуражка, не найти потом в темноте; вторая мысль: спасибо — сухо, почишусь, — форма, форма. Ветки хлестали по лицу, Сбоев зажмурился, чтобы уберечь глаза. Ремень плащ-накидки сбился на шею, душил. Наконец падение прекратилось, Наташа оказалась сверху Сбоева и судорожно целуя его перемазанные щеки, нос, шею, стала шарить по брюкам, пытаясь расстегнуть тугие армейские пуговицы. МИГи шли теперь один за другим, снимая раз за разом вместе с вибрирующими ушами скальп с незащищенной головы, словно бы Сбоев никогда не знал, как ревет самолет на взлете. Техники, работающие непосредственно у машины, носили фиброглассовые наушники, теперь вместо наушников в ушах был песок.

— Что... что ты, — испуганно выплескивал Сбоев, — ты... что... очумела... плащ-накидку... подожди, плащ-накидку подстелить!.. твою мать.

— Милый, — она не слышала, она была совершенно близка теперь, отстраненность ее пропала, — милый! Увези меня отсюда в Москву, а? Увези! Я хорошая женщина, ты понимаешь, я больше не могу здесь, я хорошая женщина, все говорят, ты сейчас увидишь, какая я женщина... Ну, как у тебя тут... Ну! Ну!

«Ки-и...» — закричала немка из темноты, и глотку ей заткнул обрушивающийся новый рев самолета.

— Ну, ну, — бормотал Сбоев, сбрасывая с себя ее руки, — ду... ра... не надо... не... надо...

— Надо! Надо! — задыхаясь, твердила она, — что же еще надо? Хочешь, я могу...

— Не надо, — заорал насилуемый Сбоев, никем не услышанный в падающем с неба грохоте. — Мне надо немного ласки, понимаешь... ты, ласки, чтоб меня жалели! Чтоб любили! — Сбоев кричал. — Понимаешь ты?! Чтоб кто-нибудь... меня... понимал и любил! Заботился обо мне! Обо мне никто... никогда не заботился... по-настоящему! Ласки!...

Сильное тело под руками Сбоева ерзало, руки Сбоева натыкались на ее руки, ноги, по губам мазнул торчащий сосок, пальцы, все в приставшем песке, оказались в совер-

шенно уже липкой нижней бороде сумасшедшей девицы. А прикидывалась-то! У! На целку косила! Та уже не говорила ничего, только резко, горлом, дышала, спуская со Сбоева брюки. «Во! — успел еще подумать Сбоев,— во попал!» Под ложечкой у Сбоева захолонуло: трепак! Только не хватало ему трепака! Или чего похуже! «Вся улица знает» — вспомнилось ему. Что вся улица, улица — хрен с нею, что будет в части? Холод под ложечкой, соединяясь с разлитым по всему телом жаром, породил электрический ток. «...зда-а!» — гремело. Сбоева передернуло, словно он схватился за оголенный провод. МИГ, на секунду высветив низкие облака, кончики кустарников, прыгающие губы женщины, прошел над Сбоевым. Джюю! Джюю! Джюю! — коротко дали ракеты из-под брюха машины. Перекошенное лицо Наташи мгновенно стало малиновым в отсвете огня, тут же снова — бело-зеленым в темноте фосфором блеснули глаза, и Сбоев, матерясь, ударил кулаком ей по фарам, боезапас пошел мимо цели — ей на платье и на живот самому Сбоеву. Содрогаясь от выстрелов, тело машины ушло вправо, Сбоев, горя в кабине, словно капитан Бутромеев, последним усилием воли сжал ручку, не покидая ее, держа ее теперь обеими руками, нажал на гашетку, доливая остатки.

— Милый, милый,— стихая, шептала Наташа,— милый...

Последний истребитель, полыхнув светом, исчез, уводя за собой грохот, распахнувшись колющая в ушные перепонки тишина. Лярва, все еще шевеля бледными губами, отвалилась от Сбоева и села на песок, раздвинув ноги. Сбоев дернул за ремешок и вытянул из-под нее неразвернутую плащ-накидку.

— Ддура!

Она устало вздохнула, повернула голову вниз и набок, так сидела, словно вдова после первого приступа плача.

— Увези,— сказала тихонько, как будто вспоминая давно забытое ею слово.— Все равно... Увези. Я о тебе буду заботиться.

— Ладно! — Сбоев быстро застегивался, отряхивался, фуражка — он видел — лежала неподалеку.— Ладно! Заметано!

Похлопал по карманам, проверяя ажур, бросил испорченный носовой платок, поднял фуражку, надел, стукнул ребром ладони по птичке на тулье и собственному носу — в норме, выдохнул: — Ху-у! — Еще раз выдохнул: — Ху-у... Ладно!

Не оглядываясь, полез по откосу.

...Ну, здорово, здорово, дорогой,— человек в синих трениках и белой майке, из которой в разные стороны лезли черные волосы, протянул Сбоеву короткую, в таких же волосах руку.— Майор Джаниев.

Майор сидел в коридоре общаги, где Сбоеву отвели комнату, под развешенными над его головой детскими пеленками и — попеременно — женским и мужским бельем. До синевы бритая щека майора саркастически поползла в сторону:

— Это, дорогой, прекрасный твой вид подействовал, потому сразу комнату дали, — он щелкнул языком: — Ай, вай, какой прекрасный вид! Орел молодой! От павлина хвост. У нас отдельную комнату обычно только к пенсиону получают, а тебе сразу дали! Ц, ц, ц! И еще дадут! Догонят и еще дадут.

Сбоев, не зная, как отвечать, тоже улыбнулся — и открыто, и скромно. Все же будущий сосед.

Вчера до вокзала ему пришлось ехать по жаре в плащ-накидке — все же перемазался, конечно, здорово. Люди смотрели и хихикали. Спасибо, не налетел на патруль. В вокзальном туалете Сбоев переоделся в парадку, мятые рубашку и брюки завернул в газету и уложил в чемодан. В парадке, конево дело, и явился сегодня в штаб.

Он сразу желал произвести хорошее впечатление на начальство, и оказалось — в самую точку. Здесь предстояло служить, то есть угадывать желания командира, прогибаться, прогибаться и прогибаться. Сбоевская улыбка — и открытая, и скромная — еще в училище обратила на себя внимание. Фирменная улыбочка! Теперь Сбоев наконец-то добрался, все, окончательная посадка, со свистом вырывающееся из сопла пламя наконец погасло. Так свезло: заметили с первого часу, ведь начштаба — высокий тощий полковник, к которому явился Сбоев, — командир отсутствовал, — явно доброжелательно смотрел на нового летуна и вдруг спросил, не чувствует ли он, Сбоев, склонности к штабной работе.

— Как вы сразу догадались, товарищ полковник? — уже почти интимно произнес Сбоев, продолжая улыбаться...

... — Вон твоя комната, — майор ткнул пальцем в белую обшарпанную дверь. — Распарился ты в кителе, воняет от тебя, дорогой. Воняет! А в полку возьмут тебя вот этак, — майор сжал мохнатый кулак, — еще завоняет! Потечет и завоняет! Ц, ц, ц!

— Вы, товарищ майор... — начал было Сбоев.

— Туда, — вновь ткнул пальцем волосатый Джаниев, — там твое место. Орел... Садись на яйца.

ВЕРМЕЕР¹

Поэма

А.Кушнеру

* * *

Я говорю: «Марсель²,
вот — Александр Великий».
И мы глядим отсель
на Дельфт, почти безликий,
поскольку он теперь
Вермеера владенье,
и нам открыта дверь
в одно столпотворенье.
Все так же желт фасад
и гниlostны каналы,
но триста лет назад
все кануло в анналы
и сведено на нет,
запродано навечно
за несколько монет
(искусство бессердечно!).
Ну, что ты, Александр?
Ведь ты об этом грезил,
не ватник, не скафандр —
тебе достался блейзер.

¹ Вермеер Дельфтский Ян (1632—1675) — голландский живописец.

² Имеется в виду французский писатель Марсель Пруст (1871—1922), почитатель и знаток творчества Вермеера, вводивший вермееровские мотивы в свои романы.

Евгений
РЕЙН

— родился в 1935 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский технологический институт. Автор поэтических книг «Имена мостов» (1984), «Темнота зеркал» (1990), «Береговая полоса» (1990), «Непоправимый день» (1991), «Против часовой стрелки» (1991).

И у меня такой,
повяжем общий гастук,
и за другой рекой
зальем за общий галстук.
Как хорошо одним,
без жен и без дивчины,
напиться в синий дым,
три дня не брить щетины.
Вот встретимся с тобой
у Гроба мы Господня,
но не играй судьбой,
судьба по сути — сводня.
Она сводила нас
на Среднем и на Малом¹,
она водила нас
по общим бредням шалым,
к Ахматовой вела
в пучину Петроградской.
«Такие вот дела», —
сказал бы призрак датский.
Еще и Колизей,
и Вырица, и Нальчик...
Как тихо без друзей!
Ты понимаешь, мальчик?

* * *

В отеле «Виллидж» на канале,
где антикварный магазин,
мы как-то переночевали,
я и приятель мой один.
Он звался Кейсом. Милым «фейсом»
привлек немало важных дам,
и по голландским плоским весям
мы с ним пробрались в Амстердам.
И тотчас он меня забросил,
скупал гашиш и героин,
и я один полсуток прожил,
совсем один, совсем один.
Скучал, играл на билиярде,
пил пиво и голландский джин,
и пробовал бродить по карте,
совсем один, совсем один.
Я побывал у антиквара,

¹ Средний и Малый — проспекты на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге.

что первый занимал этаж,
и столько было там товара,
что впал я в безутешный раж.
Здесь были Гойя и Вермеер,
и Клод Моне, и Эдуард,
но я все миллионы мерил
лишь ставками на биллиард.
Почем в Москве сегодня Гойя?
А К. Моне? А Э. Мане?
Но никогда не знать покоя,
играя в пирамидку, мне.
Поскольку этот стол, и лампа,
и световой под нею нимб
талантом одного голландца
уже попали на Олимп.
Что мне чужие натюрморты
(Я отдал Эрмитажу дань),
когда за столик на три морды
приносят в баре «Фин-шампань».
Поскольку ночью Кейс вернулся
и с ним прелестница одна,
он к героину повернулся,
но к «рейнвеину» — она.
И я остался с этой дамой
и объяснил ей, как умел,
что здесь сокрыт музейный самый
Ватто, Пуссен и Рюисдел.
Но только выпив «Фин-шампани»
и вкусы исказив в душе,
я объяснил ей, что в шалмане
чтят Фрагонара и Буше.
И, наконец, она согласна,
Буше ей тоже по душе,
и это было так прекрасно,
но только кончилось уже.

* * *

«Мы жили рядом. Два огромных дома...
...в столице этой брошенной и ныне
считающейся центром областным...»¹
Мы жили рядом, но худая слава
водила нас налево и направо.
Мы были незнакомы десять лет,

¹ Начальные строки поэмы Е. Рейна «Узел».

и только наш домовый комитет
сводил нас вместе возле паспортистки
по поводу квартплаты и прописки.
Ее я помню резвой пионеркой,
потом одну, потом с подружкой Веркой,
потом в компашке дерзких пареньков.
Все ерунда. Не ерунда Линьков.
Он тут же жил на улице Разъезжей,
но словно обитатель побережий,
где меловые скалы и Кале...
А впрочем, первый парень на селе.
Блондин с фигурой легкого атлета,
он где-то проводил за лето лето,
в каких-то альпинистских лагерях,
где, впрочем, возмужал, а не зачах.
Он был уже студентом Техноложки,
куда на «двойке» ездил на подножке
и, изгибаясь, словно дискобол,
как уголовник, мелко наколол
татуировку «Ася»...
О, сильный довод, истое причастье...
Профессорский сынок, а не шпана,
он этим чувство доказал сполна.
Он был вознагражден, как мне казалось,
но мне-то что, и все же прикасалась
ко мне при встрече подлинная страсть...
Я школу кончил и однажды — шась
в Москву на кинофакультет особый,
и — поступил. И сразу стал особой.
«Москва, Москва, как много...» Но чего?
Теперь не понимаю ничего.
И вот на пятом курсе практикантом
я прикатил на берега Невы,
отмеченный сомнительным талантом,
конечно, сноб, и с ног до головы...
...«И я поднимаюсь на сто второй этаж,
там буги-вуги лабают джаз,
Москва, Калуга, Лос-Анжелос,
объединились в один колхоз...»
А в общем, братцы, этаж шестой,
я не женатый, я холостой.
Зачем же ехать так высоко,
когда на первом кабак «Садко».
Но здесь играет Сэм Гельфанд сам,
и мед и пиво нам по усам.
Здесь Бакаютов, здесь Карташов,
и так уютно, так хорошо.

Но тут бывают Дымок, Стальной,
и Мотя с финкой, и сам Нарком,
ни слова больше об остальном,
уже мильтоны висят на нем.
Они изящны, они добры,
«Казбек» предложат, а то «Пэлл-Мэлл».
И сам я думал так до поры,
покуда суть не уразумел.
Предпочитаю этаж шестой,
оттуда виден пейзаж пустой,
но нам на «крышу» — и хошь, не хошь,
мы там просаживаем каждый грош.
Там удивительный преискурант,
и там у каждого свой приз и ранг,
и коль не вышел на ранг Линьков,
то первый приз ему всегда готов.
Он удивителен, на нем пиджак
из серой замши, на нем нейлон,
и до чего же он не дурак,
всегда сидит он у двух колонн.
Викуля, Люля и Ася с ним,
никто не смеет к ним подойти,
Нарком, напившийся в лютый дым,
и тот сворачивает с полпути.
И нам играют «Двадцатый век»,
и нам насвистывают «Караван»,
и смотрит из-под припухших век
Дымок, Серега, он трезв — не пьян.
Однажды он подошел к столу
и Асю вызвал на рок-н-ролл...
И долго-долго он на полу
сидел и в угол к себе ушел.
И я бывал там, и я бывал
с приятной девочкой в табачной мгле,
и столик рядом с ним занимал,
и с ним раскланивался навеселе,
и он мне вежливо кивал в ответ...
И вот однажды я пришел и — нет,
мне нету места, мой занят стол,
четыре финна за ним сидят,
четыре финна в бутыль глядят,
и я, обиженный, почти ушел.
И поднимается тогда Линьков
и говорит мне: «Я вас прошу
в наш балаганчик и в наш альков,
я приглашаю вас, я так скажу...».
В четыре ночи на островах,

где свадьбу празднует поплавок,
Линьков на дружеских ко всем правах
глядит загадочно в потолок.
Гуляет свадьбу Семен Стальной,
через четыре года — расстрел,
а нынче гости стоят стеной
и говорят ему «вери велл».
И млечный медленно ползет рассвет...
Где моя спутница, и где Линьков?
Ну, что же, ладно, раз нет — так нет,
но Ася рядом, обмен готов.
Тем более, что у Пяти Углов
мы проживаем, она и я.
Тут все понятно, не надо слов,
и так составила судьба моя.
На этом свете все неспроста,
недаром комната моя пуста,
недаром в этот вечер Стальной
мне подарил свой галстук «Диор»,
рассвет июньской голубизной
вползает в узкий глубокий двор.

* * *

Давай уедем.
Давай, давай!
Куда угодно,
за самый край.
На самый краешек?
Он где? Он где?
Наставим рожки
своей судьбе.
Вокзал Балтийский,
купе СВ,
а настроение —
так себе.
Какие улочки!
О, Кадриорг!
Какие булочки!
Восторг, восторг!
Стоишь у ратуши —
поддельный хлам,
И все же рад уже —
что здесь, не там.
Что пахнет Балтикой,
а не Москвой,

и даже практикой
чуть-чуть морской.
На рейде тральщики
и крейсера,
вот это правильная
красота.
Как я любил тебя,
о флот, о флот!
И гюйсы легкие
вразлет, вразлет.
И от дредноута
до катерка
моя бредовая
с тобой тоска.
Возьмите, братики,
меня с собой.
На этой Балтике
я свой, я свой.
Сейчас голландочку
приобрету,
и буду ленточку
держатъ во рту.
Захватим Данию
и Скагеррак.
Есть в Копенгагене
один кабак.
Я был там, братики,
там все о'кей.
Мы встретим в Арктике
грозу морей.
Вода холодная,
торпедный ад,
они из Лондона,
и — победят.
Гляди в историю,
кто прав, кто нет,
у Ахиллеса был
венюк побед.
Но помнит Гектора
подлунный мир,
и Гектор брат ему,
его кумир.
Победа — проигрыш!
Вот в чем вопрос.
И это сказано
почти всерьез...

Забавно, что наша свадьба
на том «поплавке» состоялась,
где свадьба была Стального,
где рядом сидел Линьков.
Но только гостей немного,
родственников штук двенадцать
да Асины три подруги,
пятерка моих друзей.
Все было в большом порядке:
икорка и осетрина,
и киевские котлеты,
и сам салат «оливье».
А пили «Посольскую» водку,
Шампанское полусухое,
а девочки — «Ркацители»,
под кофе — коньяк «Ереван».
Но было все это недолго,
в двенадцать домой вернулись,
и я подарил невесте
супружеское кольцо.
Она не взяла колечка,
размяла свою сигаретку,
она мне сказала тихо:
«Так вышло, я ухожу».
Я вовсе не удивился,
мне что-то уже показалось,
последние дни невеста
была возбужденно-грустна.
Я что-то предчувствовал вроде
подвоха и катастрофы,
и все же я грубо крикнул:
«Ты что, с ума сошла, почему?»
Она собирала вещи,
укладывала чемоданы,
ведь она уже натащила
косметику и гардероб.
«Такси мне вызови, милый,
а это возьми на память».
И тут она протянула
бумажник сафьяновый мне.
Весьма дорогую вещицу
с серебряными уголками,
с особым секретным замочком
и надписью «Мистер Картье».
И он у меня сохранился,

конечно, чуть-чуть поистерся,
но, думаю, этот бумажник
переживет и меня.
— Скажи мне что-нибудь, Ася...
— Ты знаешь, сейчас невозможно,
а завтра утром тебе я
подробно все напишу.
И тут загремела трубка,
подъехал таксомоторчик,
и я чемоданы покорно
с шестого спустил этажа.
И только под свежим небом
питерского июня
так долго и одиноко стоял у наших ворот.
Потом я вспомнил — за шкапом
стоит бутылка «Посольской»,
тогда я поднялся обратно
и шторы плотно закрыл...

* * *

«Что за шум, что за гам-тарарам?
Кто там ходит по рукам, по ногам?
Машинистке нашей Ниночке Каплан
Коллективом подарили барабан».
Я услышал этой песенки куплет
на углу в «Национале» двадцать лет,
что там двадцать — тридцать лет тому назад,
и вернулся он опять ко мне назад.
Мы сидели впятером за столом.
Были Старостин, Горохов и Роом,
выпив двести или триста коньяка,
сам Олеша пел, валял дурака.
И припомнил я дурацкие слова,
когда к Асе на прощанье заглянул,
мы не виделись три года или два,
а письмо ее, как видно, черт слизнул.
Боже мой, какой восторг, какой кагал,
в тесной комнате персон пятьдесят,
и любой из них котомки собирал
в край, где флаг так звездно-синь-полосат.
Но уж я им никакой не судья,
просто было странновато чуть-чуть,
и хотелось мне, потемки засветя,
лет хоть на десять вперед заглянуть.
Впрочем, что об этом я могу сказать?
Не затем я затесался в тот кружок.

— Ты письмо мне собиралась написать.
— Разве ты не получил его, дружок?
— Ври, да меру знай — прощаемся навек.
— В этом деле меры нету, ты не знал?
— Что Линьков? Вот это да, человек,
я всегда к нему симпатию питал.
— Он в Дубне, уже он член-корреспондент,
наша жизнь не состоялась — я виной.
Обожди-ка на один всего момент,
или лучше — рано утром в выходной,
приходи перед отлетом, и письмо
ты получишь. Я храню его, храню.
— Ах, какое же ты все-таки дерьмо!
Я подумаю, быть может, позвоню.
— Позвони. Теперь, пожалуй, мне пора...
До свиданья, эмигранты, бон вояж!
Постоял я, покурил среди двора,
где шумел, гремел светящийся этаж.

* * *

«Нет в мире разных душ,
И времени в нем нет...»
Пожалуй, ты не прав,
классический поэт.
Все-все судьба хранит,
а что — не разгадать.
И все же нас манит
тех строчек благодать.
А время — вот оно, погасшие огни,
густая седина и долгая печаль,
ушедшие на дно десятилетия, дни
и вечная небес рассветная эмаль.
А время — вот оно, беспутный сын-студент,
любовница твоя — ей восемнадцать лет.
А время вот оно —
всего один момент,
но все уже прошло,
вот времени секрет.
И все еще стоят вокруг твои дворцы,
Фонтанка и Нева, Бульварное кольцо.
У времени всегда короткие концы,
у времени всегда высокое крыльцо.
Не надо спорить с ним — какая ерунда!
Быть может, Бунин прав —
но смысл совсем в ином.
Я понимаю так, что время — не беда.
И будет время: все о времени пойдем.

Всю жизнь я пробродил по этим вот следам,
и наконец-то я уехал в Амстердам,
всего на десять дней, командировка, чушь!
Но и она успех для наших бедных душ.
И всякий день бывал на Ватерлоо¹ я,
поскольку этот торг и есть душа моя.
Я — барахольщик, я — любитель вторсырья,
что мне куда милей людишек и зверья.
О, Ватерлоо, о, души моей кумир!
Ты — Илиада, ты — и Гектор, и Омир!
Тебя нельзя пройти, ты долог, что Китай,
послушай, погоди, мне что-нибудь продай.
Жидо-масонский знак, башмак и граммофон,
то чучело продай, оно — почти грифон,
продай подшивку мне журнала «На посту»,
о, вознеси меня в такую высоту!
Продай цилиндр и фрак, манишку и трико,
и станет мне опять свободно и легко,
как было там тогда, на Лиговке моей,
вы просто берега двух слившихся морей.
На Лиговке стоит пятидесятый год,
и там моя душа по-прежнему живет,
там нету ничего, на Ватерлоо — есть,
поэтому привет Голландии и честь.
Гуляет Амстердам, и красные огни
мерцают по ночам. Забуди и помяни,
ты лучший городок, в котором я бывал,
там я пропасть бы мог, но видишь — не пропал.
И вот в последний раз зашел я в Рейксмузей,
и стал бродить-гулять по залам, ротозей,
и вдруг — остолбенел, какая ерунда!
Здесь Ася на холсте, вот это да — так да!
Здесь у окна ее Вермеер написал,
но диво — кто ему детали подсказал?
Такой воротничок, надбровную дугу?
Но дальше я — молчок, ни слова, ни гугу.
Что Вена, что Париж, Венеция и Рим?
Езжай-ка в Амстердам, потом поговорим.

¹ Одна из самых больших барахолок Европы, находится в центре Амстердама.

Покуда «BMW» накатывает мили,
скажи, моя судьба, тебя не подменили?
Лети, моя судьба, туда, на Купертино¹.
Какая у друзей хороша машина!
Какой стоит денек, какая жизнь в запасе!
Выходит на порог не кто-нибудь, но Ася.
Вот скромненький ее домик в полмиллиона,
и легкий ветерок породы Аквилона.
Скользит рассветный час по нашим старым лицам...
Что Купертино нам, туда, скорей к столицам,
Лос-Анжелес дымит, сверкает Сан-Франциско,
простанство — динамит, а время — это риска,
которой поделен бикфордов шнур судьбины.
Какие у друзей хорошие машины!
Неужто подойду я к Золотым воротам,
неужто Фриско там, за этим поворотом?
Неужто ты ведешь свой «кадиллак» вишневым,
неужто Данте я, а ты Вергилий новый?
А впрочем, это так, а впрочем, так и надо,
Виват, мой кавардак, победа и блокада!
Но как тебя сумел так написать Вермеер?
Изобразить судьбу, лицо, письмо и веер?
Загадочный чертеж на этой старой стенке,
и разгадать твои загадки и расценки?
Что ты читаешь там, свое письмо, чужое?
На белом свете нас осталось только двое.
— Отдай мое письмо. — Оно в твоём портфеле.
Настал тот самый час, и то, что в самом деле
случилось, расскажи. Мне надо знать сегодня,
какая нас свела и разлучила сводня.
Да, я нашел письмо, меня навел Вермеер,
верни мне жизнь мою, ведь я тебе поверил.
Так почему его не бросила ты в ящик?
Предательский твой дух и был всегда образчик
фатальной ерунды, пророческой промашки —
за все мои труды — две узкие бумажки!
Теперь оно со мной. Я пьян, пойду до спальни.
О, Боже, Боже мой, все небеса печальны.
Над Римом, над Москвой, над Фриско, Амстердамом,
над худшею пивной, над лучшим рестораном.
Теперь прощай навек, пора в Нью-Йорк, Чикаго,
вези меня скорей, удача и отвага.
В бумажнике моем лежит твоя разгадка,
как страшен оком, в Детройте пересадка.

¹ Городок в Калифорнии, недалеко от Сан-Франциско.

«Боинг» на «боинг», кирпич на кирпич.
 О, поднебесье, эйнштейнова дичь.
 Девять часов от Москвы и — Нью-Йорк.
 Вулворт на Вулворт, Мосторг на Мосторг.
 Джину и тонику низкий поклон,
 вот подо мною летит Парфенон.
 Но говорит стюардесса: «Друзья,
 Больше лететь нам на полюс нельзя.
 Нет керосина, посадка сейчас.
 Будьте спокойны, команда при вас».
 Где мы садимся? Ньюфаундленд тут,
 сорок, быть может, посадка минут.
 Бог его знает, Ньюфаундленд — что,
 остров, пролив или вовсе ничто?
 То ли колония, то ли страна,
 впрочем, уже под ногами она.
 Мы вылетали — кипел Реомюр,
 вышли на холод — какой-то сумбур.
 Это Ньюфаундленд, впрочем, пойдем,
 веет в лицо ленинградским дождем.
 Градусов восемь, а может быть — пять,
 как бы до бара скорей доскакать.
 В барах повсюду один образец,
 бар нам и мать, но бар и отец.
 Строго и чинно, светло и умно,
 виски и вина, а нам все равно.
 Пиво бельгийское,
 даже сакэ,
 знать, не расстанемся мы налегке.
 Вспомни, что было, подумай, что есть.
 «Сущее — в разуме». Слава и честь
 этому Гегелю, вот человек
 Фридрих был Гегель. Должно быть, абрек
 или, быть может, батыр и джигит,
 кто его знает, он так знаменит.
 Если бы Гегель явился сейчас,
 я бы в минуту бумажник растряс,
 дай-ка, товарищ, тебя угощу,
 дай-ка тебе мою жизнь освещу.
 Что это было, туман и обман?
 Что мне ответишь, ума великан?
 Слушай-ка, Гегель, скажи мне, дружок,
 этот бумажник мне душу прожег.
 Вот эти два заповедных листа,
 а в остальном моя совесть чиста.
 Гегель глядит на мое портмоне,

серый туман в трехэтажном окне.
Вынул письмо я и Гегелю дал,
Гегель читал его, долго читал.
Взял он потом зажигалку «Крокет»,
нежно мерцал переливчатый свет,
эти листы он угрюмо поджег,
пепел кружился, ложился у ног.
Что же ты, Гегель, да ты хулиган!..
Впрочем, наполним последний стакан,
нас вызывают уже в самолет,
Гегель выходит в мужской туалет,
в баре совсем затемняется свет.
Что же ты, Гегель, Владимир Ильич,
камень на камень, кирпич на кирпич.

* * *

И бледнеет Отчизна,
точно штемпель письма.
Предпоследние числа —
вот уж голубизна.

Что нам пишут — туманно,
и ответ — невесом,
и помечен он странно
небывалым числом.

Глянть-ка в ящик почтовый,
узкий вызов на дне.
Синий и кумачовый
флаг кипит в стороне.

Налетай же, воздушный
многоярусный флот.
Ты, пилот простодушный,
бедной жизни оплот.

Пусть читают до света,
забывают, клянут.
Жизни хватит, а нету
двух, пожалуй, минут.

* * *

Северный полюс, проталины, лед,
что же так низко идет самолет,
может, авария? — нет, пронесло.
Вот и в Москве наступает число

нового времени, новых разлух.
Переведи-как свой «Роллекс» и дух.
Вот Шереметьевский ржавый утиль.
Здесь моя сказка и здесь моя быль.
Тридцать ушло в нее ровно годков,
что же сказать мне, порядок таков.
Жизнь — это жизнь, а любовь есть любовь.
Кровь — это кровь. А морковь есть морковь.
Есть еще новь и свекровь — но таков
вечный порядок, к нему я готов.
Ежели надо тут что объяснять,
значит, не надо совсем объяснять.
В будущей жизни увидимся, друг,
может быть, будет нам там недосуг
снова вернуться к старинным делам,
будем гулять там, курить фимиам.
Вот вылезают из брюха шасси,
Боже, помилуй нас всех и спаси.
Темные тени над бедной Москвой,
что за печальный пейзаж городской!
Кончено, кончено, финиш, финал,
все, что имел я, уже потерял.
Дождик осенний затылок сечет,
что миновало — уже не в зачет.
Что наше прошлое — свет и туман,
истое, ложное — это генплан.
Что по генплану построим, друзья?
Знать это нам невозможно, нельзя.
Истина — вот — и ясна и проста.
Возле такси подставляет уста
то, что случилось — всегда навсегда,
наша победа и наша беда.
Наше единое счастье впотьмах,
наши ботинки в наших домах,
наши котлеты на нашей плите...
Гегель лежит в ледяной темноте.
Мы пребываем в низине земли,
слушай, товарищ, гляди и внемли,
ты обручен с этой жизнью одной,
с ней ты повязан, чужой и родной,
крепкие цепи на наших руках,
в этом вертепе — все счастье, все прах.
Так позабудь тот заветный листок,
Гегель его, как ты видел, поджег.
Утро в Нью-Йорке, а вечер в Москве,

все мы подвешены на волоске,
днем в Амстердаме — покой, благодать,
я вам советую там побывать.
Я вам советую как-то домой
взять и вернуться под ваш выходной,
скинуть ботинки и лечь на диван,
все остальное — мираж и обман.
Книгу открыть, поглядеть на жену,
штору задернуть, остаться в плену.
Это мне Гегель в том баре сказал,
то же он в старых трудах написал.
Камень на камень, кирпич на кирпич,
Гегель ты, Гегель, Владимир Ильич.



Андрей Колесников

БОЛЕЗНЬ

Рассказ

То, что приходит в голову ночью, как правило, осмеивается утренним рассудком. Сегодня я проснулся в четыре и сочинил несколько десятков строк. Я еще долго шлифовал их, мысленно вычеркивал и вставлял фразы и слова. Потом заснул и забыл о литых формулах. Наутро после некоторых раздумий вспомнил-таки по крайней мере смысл столь безупречно составленных сложноподчиненных предложений. Но был осмеян самим собой, заброшен тухлыми помидорами и освистан.

И всё же, как говаривал Миша, утром всё гораздо неправильнее, чем ночью. Или наоборот: ночью (вечером) всё гораздо правильнее, чем утром.

Вот, собственно, что я придумал:

«Сегодня я проснулся в четыре утра. Ребенок кашлял и просил воды. Последний раз он кашлял ночью полтора месяца назад, а до того — без перерыва три недели. В то время отец мой еще был дома — между первым и вторым инсультом. Впрочем, я был рад тому, что проснулся. Сон снился жуткий. Отец лежит в больнице (он и наяву лежит в больнице) на своей коротковатой кровати, не дающей возможности вытянуть ноги («Я готов написать воспоминания, — говорил он, почти плача, — «Письма скрюченного человека, или Записки из-под капельницы»: человека в 188 сантиметров ростом держат на кровати длиной в 170»). Он лежит под одним одеялом с какой-то девицей, возможно, даже и симпатичной в миру, но сейчас распухшей, одутловатой, явно заразной и — главное — целиком измазанной кровью: и свежей, и запекшейся. Одеяло, под которым они лежат вдвоем, тоже окро-

**Андрей
КОЛЕСНИКОВ**

— родился в 1965 году в Москве. Окончил юридический факультет МГУ. Выступал в печати с очерками, репортажами, публицистикой. Прозу публикует впервые.

вавлено. (Во время первого инсульта, когда отец был еще не в состоянии регулировать мочеиспускание и иной раз, к неудовольствию и мату медсестер, называвших в таких случаях его на «ты», как будто он был ребенком, «обдувался», ему приснилось, что к нему в больничную койку залезло сразу несколько дам (именно дам!), которые дружно описали кровать, а потом, напроказничав, убежали. Его же обвинили в этом самом преступлении, которого он не совершал. Удивительно, что сон повторился в точности во время второго инсульта).

Я побегал по кухне, побегал весьма бессистемно, достал наконец «Пектусин», но не смог отвинтить прилипшую крышку, а за плоскогубцами лезть было лень. Я лег спать и сочинил некоторое количество строк, подумав о том, что с утра я о них забуду или же они покажутся мне насквозь фальшивыми»...

Удивительно, что к больным любого ранга и сорта почему-то по преимуществу обращаются на «ты». Отец, еще в полубессознательном состоянии, был способен к полноценному сопротивлению, потребовав малого — чтобы его, реанимационного «тяжбольного», называли на «вы». Несмотря на то, что, приблизившись к смерти, отец приблизился к младенчеству. Должно быть, именно поэтому он и провоцировал фамильярное обращение. Когда больного переводят из реанимации, к нему все чаще обращаются на «вы»...

Какое значение перед смертью имеет вся предыдущая жизнь, за исключением младенчества, слепого выхода из небытия?! Жизнь человеческая есть круг, и смертельно больной ближе стоит к младенцу, чем четырехлетний ребенок. Круг замыкается в единой точке — небытии. Что знал о жизни, точнее о смерти, Данте, оказавшись в сумрачном лесу, земную жизнь пройдя до половины? Всего лишь до половины...

Я помню, как стремительно умирал один мой родственник, в течение нескольких часов наслушавшись от самых разных людей обращений на «ты». Одна лишь практикантка из медучилища называла его на «вы». Странное соседство. Восемь человек в вонючей палате урологического отделения — дядя, привезенный с операции; счастливый и довольный жизнью, равно как и своей редисочного цвета мочой, сравнительно молодой человек с урологическими недостатками, невидимыми невооруженным взглядом, бодрый и одновременно блудливый, рассматривавший каждую входящую в палату сестричку, как Адам, впервые увидевший Еву после вкушения яблока; тощий, как корабельный бушприт, мужчина с безумными выцветшими глазами; утепляющая окна практикантка, чьи вознесенные на подоконник ноги с плохо скрываемым любопытством разглядывает молодой человек,

безвременно пострадавший по урологической части... И, наконец, среди этого пиршества обыденной, хоть и больничной жизни — умирающий человек. В мои функции входит удержание его в горизонтальном положении, потому что у него разорвана аорта, кровь заполняет организм и он инстинктивно пытается сесть на кровати и избавиться от капельницы. Ничего сделать уже нельзя. Нужна кровь, но крови нет, потому что в этот день произошло землетрясение в Армении. Приезжает с некоторым опозданием извлеченное Бог знает какими способами врачебное светило, предлагающее больному операцию. Больной отказывается от операции и даже пытается острить по какому-то поводу, хотя уже не в состоянии открыть глаза и внятно говорить. Еще несколько попыток сесть в течение двух часов — и больной затихает, его дыхание становится прерывистым, а лицо обретает нежные очертания и младенческое выражение. Он всё ближе к небытию. Учащается дыхание — согласно Листу: «быстро, еще быстрее, быстро, насколько возможно». Надобность в моем присутствии по истечении секунд отпадает. Медсестра — очевидно, старшая медсестра — вежливо предлагает мне выйти из палаты. «Всё», — говорит она. В дверях я оборачиваюсь — он уже накрыт простыней...

Бесконечная мгла. Серое небо, серые деревья, серый снег. Серый морг, несмотря на то, что он из красного кирпича. Серый интеллигентный служащий больничного морга, измотанный и вежливый, берущий за услуги изрядную сумму. Загадочные коридоры этого заведения, выкрашенные зеленой краской, причем такой, какой в природе не бывает.

Погрузившись в автобусы, мы обнаруживаем себя захваченными почти веселой беседой почему-то об армии. Нет-нет, да кто-нибудь приглушенно рассмеется в разговоре, обрывая смех и воровски озираясь вокруг — вдруг кто-нибудь заметит: смех перед похоронами и после похорон — это неприлично.

Сельское кладбище, музей под открытым небом, гениальные фамилии (например, Ноль), тоскливые, нулевые судьбы: из поколения в поколение одно и то же: хозяйство, курочки, какающие на каждом шагу и подставляющие с перерывом в семь минут задницу петуху, вишенки-яблоньки, картошечка-огурчики, заборы-постройки, вино-водка, «неподмытый блуд», всё те же пьяницы, что в 37-м, что сейчас — только головы их седеют и рубашки меняются раз в двенадцать лет, видать, для перестирки, те же бабки, выполняющие одновременно роль дозорных, впередсмотрящих и нравственного критерия, те же детишки, те же перезревшие подростки, ходячие сперматозоиды и аналоги городских плейбоев, то же кладбище с одинаковыми веночками и растиражированной миллионами экземпляров скорбью...

Мы несем гроб, неожиданно оказавшийся тяжелым, по узким тропкам кладбища, увязая по колено в снегу, обдирая пальто и куртки об ограды могил, едва не роняем на поворотах гроб, ставим его на стулья, что ли, для последнего прощанья. Плоскость чрезвычайно неудобная, угол не то чтобы горнолыжный, но гроб приходится придерживать, иначе он скатится вниз по холму, к речке.

Омерзительное прощание. Я занят гробом, очень занят гробом, я не целую покойного в лоб, я малодушно избегаю этого: в конце концов, говорит alter ego, ты две ночи не спал, ты бегал по Москве и рыскал по Подмоскovie, выполняя невыполнимое желание жены умершего — похоронить его именно на этом кладбище, ты ломал из себя ответственного работника, чтобы позволили похоронить тело именно здесь, ты платил шиши из своего кармана, на тебя наорали в конторе, где эту самую смерть зарегистрировали — ведь что такое смерть без удостоверения, нет ее — косая без паспорта; наконец, он умер у тебя на руках.

Всё. Опустили. Земля неправдоподобно медленно летит к гробу. Крики, вопли, причитания. Падения и придерживания. Снова вопли и уговоры. Кто-то посылается еще за водкой. Замерзший оркестр, который здесь абсолютно ни к селу ни к городу.

Чувство освобождения. Наконец-то в автобусе. Компания молодежи рассредоточивается на задних сиденьях, разбавленная двумя уже немолодыми родственниками, которые молниеносно разливают возникшие будто из воздуха бутылки белой. Родственнички хмелеют, да так забавно, что все начинают дико, неудержимо ржать. Господи, думают ржущие, да что же это, ведь умер же, умер, горе великое, рыдали сейчас, господа, неприлично ведь, удержи меня, господа! Думают и ржут — не с горя, не плачуще ржут, а радостно. Смех освобождает людей. День Победы! Еще один добежал до финиша...

Приезжаем. Расставляем столы для поминок. Там нас поджидает племянничек покойного, сталевар из далекого города, громадного роста и почтенного возраста — 43 года, но с лицом и повадками подростка...

КИНО: ЧЕРЕЗ ГОД

Пригородная станция. Натура

Зима. К заснеженному перрону, который, как летом, уже изрядно изгажен плевками туземцев, подходит электричка. Поезд почти пуст. Это утро буднего дня.

Из вагона выходят он и она. Ежятся от холода, притом, что и он, и она одеты как бы не по сезону. Он — в осеннем пальто, она — в черной каракулевой шубе, естественно, без шапки.

Идут по асфальтовой дороге вдоль железнодорожного полотна, месят ногами грязный снег. Она останавливается, шарит по карманам, он отчужденно продолжает идти дальше.

Обиженно:

— Ты можешь подождать?..

Он пожимает плечами, останавливается, старается не смотреть на нее. Она закуривает, дрожащими руками терзая зажигалку. Догоняет его, берет под руку.

— Тяжело идти, я замерзла.

Он по-прежнему молчит, съезжившись под пальто и чуть ли не лязгая от холода зубами. Она роняет сигарету.

Тихо:

— Блядь.

Мимо время от времени проезжают машины, но по дороге они не встречают ни одного человека. Дорога петляет мимо поселковых домов постройки годов тридцатых. Иные уже покосились, почернели, другие достроены после войны или — в кирпиче — уже совсем недавно. Везде наляпаны бледные надписи — «улица Кирова». Дорога идет под небольшим углом. За поворотом открывается сельское кладбище. У нее на лице появляется выражение испуга. Мимо проносится на чудовищной скорости гигантский — особенно на фоне этого старого кладбища — самосвал.

Сельское кладбище. Натура

Просторная центральная аллея ведет в недра кладбища. Пару дней назад она была частично очищена от снега. Но уже день тому назад снова выпал снег. Они идут, читая надписи на надгробиях и крестах. Лица на кладбищенских фото удивительно похожи друг на друга. Кажется, что это один и тот же человек умер несколько раз подряд — и за себя, и за отца, и за сына, и за того парня, и за святого духа. Аминь.

Аллея раздваивается. Узкие тропы, по колено засыпанные снегом, уводят в самые сокровенные кладбищенские места. Они идут друг за другом, поминутно цепляясь за ограды.

Он:

— На хрен вообще эти ограды нужны, хоронили бы, как в Прибалтике.

Она:

— Это символ дома. Дома с оградой.

— Не надо говорить всякую дичь. Это сумасшедший русский народ, который огораживает всё на свете. Они боятся даже мертвецов-соседей...

Тропа снова раздваивается. Первый признак верного пути — могила родственницы покойного.

Она:

— Положи цветок.

Он, утопая по колено в снегу, подходит к могиле и бросает уже наполовину скурвившуюся гвоздику.

Тропа настолько узкая, что приходится поднимать руки над оградой. Дорожка заводит их в противоположную от могилы, которую они ищут, сторону.

Он:

— Что за черт, надо вернуться назад.

Возвращаются по своим следам назад. Идут по ним же — вперед. Если не свернуть налево, как это они уже делали до того, можно упереться в тупик.

Он:

— Стой здесь...

Протискивается между могилами, теряя пуговицу. Лицо красное, челюсти сведены от холода. Он смотрит, протискиваясь дальше, на нее: она закуривает, ее надменное и холодное лицо, которое она вынесла из электрички, становится удивительно некрасивым. Плаксивая гримаска. Он прыгает через ограды могил.

— Идиоты!

Останавливается в ярости и отчаянии. Озирается кругом. Ограды, ограды, ограды, кресты... Возвращается назад, падает, теряет шапку. Добирается, наконец, до нее: мумия в сигаретном вялом дыму. Она начинает истерически рыдать.

Он морщится:

— Перестань, господи ты боже мой!.. Пошли назад!

— Я не пойду.

Он идет назад, и снова заколдованная дорога приводит его к ней, что вызывает новый приступ рыданий.

— Ничего не понимаю.

Он, иступленно глядя перед собой и спотыкаясь, снова, в который раз возвращается к могиле родственницы, оделенной гвоздичкой. Он останавливается, вдумчиво, словно решая задачу по шахматной композиции, оглядывает проклятое кладбище. Оно издевается над ними. Головоломка, состоящая из оград.

Он снова добирается до нее, тащит за собой вперед. Она валится с ног, тихо подвывая. Они долго стоят — она, рыдая, отряхиваясь и подбирая сопли, он, с физиономией идиота, разглядывая окрестности. Он срывается с места, бежит к обрыву, смотрит направо.

Бормочет:

— Это где-то там...

Она:

— Пойдем назад. Домой.

— Нет уж...

Возвращаются назад. Он тщится вспомнить, где же они поворачивали год назад, в день похорон, с гробом, как находили могилу летом. Впрочем, летом они шли со стороны реки, зачем-то потащили за собой ребенка, совершенно обалдевшего на кладбище и разрыдавшегося. Тогда это вызвало у него приступ бессильной злобы, он орал на всё кладбище. Посетители с недоумением и неодобрением оглядывались на него.

Она:

— Хватит, пойдем домой...

— Не ной, дура!

Его лицо искажается гримасой отвращения. (Похоронить нормально не могли).

Внезапно он уверенным шагом устремляется к едва заметному проходу между двумя могилами. Проскальзывает между оградами. Она смотрит на него с тихой надеждой, утирая нос.

Он (раздраженно):

— Что ты там встала?! Иди же, наконец!

Совершенно очевидно, что он нашел дорогу. Вот и искомый спуск в сторону реки. Он снова проскакивает нужный поворот, поскальзывается и валится на спину.

— Куда же ты, это же здесь!

Они подходят к ограде. Открыть калитку с первого раза не удастся — ее завалило снегом. Он перескакивает через ограду, расчищает руками и ногами снег и с усилием, почти опрокидывая эту самую ограду, открывает калитку.

Могила. Замерзшие и лежащие здесь, наверное, с сентября гвоздики, какая-то банка с неведомыми засохшими цветами. Снег. Она отдает ему цветы, он кладет их на могилу.

— Не так, а вот так...

— Сделай сама...

Они долго стоят над могилой. Она скорбит. Он с сомнением смотрит на нее.

— Вспомни, как вы при жизни относились к нему. Как вы грубо с ним разговаривали. И главное, тогда, когда в этом не было необходимости. За что?! А теперь убиваетесь, гос-с-поди!

Отворачивается. Его внимание рассеивается.

Она (в ответ на его реплику):

— Я не могу себе этого простить!..

— Поздно... (под нос, едва слышно, с плохо скрываемым отвращением).

Они бредут назад по своим следам. Он думает о том, что на лицах людей, на лбах их, во всем их облике иногда проступает смерть. Есть люди, обреченные на смерть. Это написано у них на лбу. Удивительно, как фотографии на надгробиях и в колумбариях подходят именно для могил. Впрочем, эти несфотографированные люди — особого сорта. Обычно это мужчины. Они как будто специально выбриты так, как выбриты мертвецы, они не то чтобы безукоризненно белы, но как-то нехорошо бледноваты — будто пудрой присыпаны для прощания. Они обречены на смерть. И ведь это должно быть ужасно: как это они просыпаются утром, лежа на спине? Глаза подергиваются, кустистые брови подпрыгивают, подвязанная челюсть, тяжеленная и недвижимая, внезапно раскрывается одновременно с глазами.

...Так вот, этот самый родственничек, здоровенный литейщик с жесточайшей и тоскливейшей периферии, приехавший сюда в сопровождении всевидящей, всезнающей и подозрительной, как домашняя хозяйка с зелеными погонями, мамыши в платочке («baboushka» — всё, что в платочке, это «baboushka»), это самое непорочное дитя с унылым, более чем сорокалетним жизненным стажем подмигивает мне, отводит в соседнюю комнату и наливает. То, что он наливает, трудно описать. Оно фиолетового цвета, произведено в Азербайджане (или, как это принято сейчас говорить в парламентах, — Азейберджане) и плещется в обыкновенных бутылках из-под пива или минеральной воды. Начинается длинная русская исповедальная беседа, в которой я играю роль мычащего и поддакивающего. Сократовский (платоновский) диалог. Сократ говорит, собеседник мычит. Знал бы Сократ русский мат, ему не нужно было бы изъясняться столь пространно, сложно, да еще и по-гречески. Жаль только, что на письме нельзя толком выразить интонацию. Что такое Эдичка Лимонов без интонации? Сухая литература. Литературный язык. Мат — это интонация! В одном слове «б..» — вся жизнь русского литейщика. Добро и зло, радости и огорчения, веселие и скорбь, жизненный опыт и легкомыслие, сострадание и ненависть, возвышенные чувства и инстинкты. Мало ли чего еще в этом слове. Только нужно верно его интонировать, окружить орнаментом из вздохов, междометий, мычания, борющегося с немотой, рыгания, напоминающего о фатальности и внезапности нашего бытия.

Далее идет «Пшеничная». У кого бывает желание уйти в картинку? Поднимите руки! Да вы даже не помните этой картинки, вы не художники! Через это зеленое поле, мимо этой дивной избы, в синие дали (цвета что-то в последнее время на водочной наклейке изменились). Далее следует

«Сибирская». Вспоминается несибирский Гоголь. Какой русский («Вы еврей?» — «Нет, я русский». — «А я американский...») не любит быстрой езды? С колокольчиками. По снегу, промежду изб. Или вот наливает мне литейщик «Столичную». Буква «ч» — наша буква! «Горбатшов!» «Столитшнайя!» Изображен завод. Гудок! Идет пролетарий на родную фабрику. Солнце раскаляется (как и голова с утра) в лужах. Хочется жрать этот утренний воздух, наслаждаться красками этого бензина на асфальте, улыбаться сморчку в синей фуражке с зеленым околышем. Красный вась с лица, сука, а околыш зеленый. Зеленый змий.

Была бы еще «Кубанская», «Стрелецкая», я и не такого бы порассказал. Но вышло-то хуже. За стол надо садиться, а пространство к тому времени обрело пятое измерение. Знакомые пришли, родственницы толстожопые и слюнявые, каждый поцелуй, как стакан сильного раствора марганцовки. Опять водка пошла. Все скорбят. Тосты строгие, геометрические, графические, чертежные. Знакомый редактор отдела одного популярного издания произносит тост. Как они с покойным, да где-то там, за проливом, да чего-то делали, да какой хороший... Соседка слева, корреспондент того же издания, начинает беззвучно трястись. Не рыдает, но ржет. Сейчас водкой стол пойдет поливать. Я пихаю ее локтем в бок. «Он уже этот тост произносил», — натужно говорит она, выдавливая глаза на лоб от смеха. «Когда?» — «На вашей свадьбе». Сидит и прыскает. Плачет со смеху.

Поскорбели малек. И вот, глядишь, уже забыли, по поводу чего собрались. Толстая тетя, продавив диван до паркета, почему-то взялась развивать еврейскую тему в терминах дел Бейлиса и Дрейфуса. Еврейские журналисты, в небольших количествах растворяющие пирующую толпу, скорешились и уже попивают водочку, обнаруживая общих знакомых в разных редакциях. Мы по-прежнему киряем со сталеваром (литейщиком, забойщиком), который молодеет на глазах. Мой бородатый друг время от времени с веселым изумлением взрывается одним и тем же гамлетовским вопросом, обращенным к пролетарию: «Так сколько, говоришь, тебе лет?» И, в очередной раз получив ответ, смеется и с недоверием мотает патлатой башкой.

О, боже мой, жизнь есть сплошные похороны. Вчерашнее солнце на черных носилках несут. Ну и рожа у меня — смотрю на свою морду лица, кривовато, по случаю смешения напитков, отражаемую в замазанном брызгами от зубной пасты зеркале. Бессмертная грязноватая раковина, заблеванная пару лет назад моим незабвенным приятелем-поэтом. Он страдал от алкогольного отравления напитком под названием «Огненный танец» (указание — прямой намек — на результат

распития), изящно и изысканно-артистично изливал всё лишнее в раковину, будучи облаченным в абсолютно белую рубашку и черный галстук. Не мог дойти до туалета, идиот.

Что видел покойный в этой жизни? Не в меру пил, в меру блудил, выбился из Чухломы в люди, повидал разные страны, поработал в номенклатурном учреждении, плевать хотел на детей и внуков. Допился. В морге зеленый служитель с жесткой зеленой же холодной бородкой мне сказал: «Когда я его вскрывал, у него сосуды ЗВЕНЕЛИ...» Стопроцентный склероз, никакой жизни, постепенное стекленение длиною в жизнь.

А «Огненный танец» я уже где-то пивал и до того. Ага. То была станция «Заветы Ильича» по Ярославской дороге. В сизом осеннем тумане застоя мы выгружались из вагона электрички, толпились в пристанционном книжном магазине, потом купили этот «Огненный танец» с изображением, кажется, цыганки, чуть поуродливей тех страшилищ, которые топчут босыми ногами плевки на вокзалах. Мы шли, звеня бутылками, по хорошей, ухоженной дачной дорожке, между гигантскими заборами, обрамляющими широченные участки, которые выхватывали целые куски леса. Из тумана и лесной влаги выплывали целые корабли — довоенные дачи, сама архитектура которых призывала к пристальному разглядыванию. Вот крыльцо, вот окошко, должно быть, кухни, вот эти доски, этот запах старого дерева и осени, вот это окно-иллюминатор, освещающее в дневное время лестницу на второй этаж. Дачу приятеля (господи, что же это был за приятель?) построил его дед в годы культа личности, перед войной. Она надвигается неумолимо, но вовремя останавливается перед нами. Выбегает мелкотравчатая собачка, голодная и исхудавшая, эдакая тень отца собачки-Гамлета, скелетик дворняги. Она лает радостно и с упреком, встречая хозяина. Вода в рукомойнике замерзла, на кухне бардак, в комнатке — уют, чистый стол с недособраным хозяином радиоприемником на нем, чердак с пружинистыми кроватями, на которых наша романтически настроенная подруга тотчас начинает прыгать. Так прыгал бы на батуте бегемот. Ее гигантская тень беснуется между полом и потолком, как скачущее пламя свечи. На полу валяются старые журналы, покрытые толстым слоем пыли. Начинаем пить. Когда дело доходит до «Огненного танца», мы с моим закадычным другом, не сговариваясь, отправляемся со своими кружками в сторону крыльца. Хозяин чувствует недоброе. «Эй, куда вы?» — «Выливать дерьмо». — «Не смейте! Придут люди, которые это выпьют». В его руках невеста откуда появляется пластмассовая воронка. Мы сливаем содержимое кружек обратно в бутылку.

Ах вы, мальчишки-девочки осьмнадцатилетние. Ждут вас, девочки, ожирение и старческие усы. Ждут вас, мальчишки, неслыханные хвори и импотенция. Инсульты, инфаркты, камни во всех органах. Да будете вы стеклом и камнем, камнями со стеклянными прожилками — артериями. Девочки будут за вами ухаживать в больницах (отступят в прошлое ваши ссоры, споры и измены) и переживут вас.

Это ведь удивительное дело, какие все хорошие жены у смертельно больных. Кто-то из них действительно вел себя так в их другой жизни. Но чтобы все... Они торчат в больницах сутками, различают невнятную и сумбурную речь больных, как когда-то разбирали не ясный стороннему наблюдателю лепет своих маленьких детей, ворочают грузные и неподвижные тела мужей, выкладывая их на утки и судна, меняют белье, дышат этим кало-мочевым больничным воздухом, почти лишенным кислорода. Подлинна только смерть, когда она надвигается. Она сжирает всё время и все силы. Она напоминает о себе и обращает жизнь в отсрочку похорон.

Иногда мне становится страшно. Вот я моюсь в ванной комнате. Течет вода. Я не слышу, что делается в квартире. И вдруг мне чудится чей-то плач, крики. Я выключаю воду и высовываю мокрую голову из ванной — тишина. Отец жив, мирно спит, его не беспокоит третий инсульт. У матери нет сердечного приступа, у жены — нервного срыва. Ребенок, как ни странно, здоров. У него нет ни температуры, ни соплей, ни кашля. Надолго ли всё это? Всё кажется, что в будущем станет полегче. Уже не станет. Родители состарятся еще больше. Ребенок подрастет, и по-прежнему будут с эпидемической силой продолжаться тихие, но полные нечеловеческого напряжения конфликты с его матерью, моей первой женой. И всегда будут эти ненавистные дни, расписанные по часам. И всегда будут эти проблемы — купить то, купить это, разменять квартиру, поменять права, купить велосипед «Дружок», съездить на участок перекопать суглинок, переданный в собственность. Как я мечтаю о днях, которые не расписаны на неделю вперед! О непереносимой легкости бытия, где все здоровы, где воспоминания гармонизируют день нынешний, а не приводят к невротическим кошмарам.

...И это вечное беспокойство за чью-либо жизнь в ванной комнате. Когда ребенок был маленький и что-либо вякал по ночам, я всегда, вырываясь из сна, подскакивал на любой, даже самый тихий его плач и с закрытыми глазами несся к кровати. Иногда я с удивлением обнаруживал, что ребенок спит безмятежным сном и никаких звуков не издавал. Эти звуки — в моем воспаленном мозгу. То было сверхобладание своим сыном. Сверхобладание сие у меня теперь еженедельно, а летом — по месяцам, умерщвляют. Я — пустое беспо-

коящееся место. Легкий бриз среди общего тотального штиля. Помню о смерти. Бриз. Момент — и в море (Моментально в море. Мemento мори).

Вот еще: лето. Друзья, отправившие своих жен и детей за город, приводят ко мне чужих жен. У них лето в городе. Они не торопятся перейти улицу в неположенном месте. А у меня нетерпение. Побыстрее родиться, быть самым юным в любой компании, побыстрее закончить институт, побыстрее жениться, родить ребенка — что, отстрелялся? — и побыстрее покончить со всем этим, пораньше сдохнуть с чувством исполненного долга. Момент — и в море...

...Мы иногда посещаем эту могилу за городом. Выходим из электрички. На пригородной платформе помещается плакат многоцветного использования. На нем изображена мрачная женщина с гипертрофированно развитыми от таскания неподъемных сумок с продуктами плечами и бедрами, торопливо идущая по рельсам. Плакат называется: «Ходить по путям опасно». Неизвестный художник процарапал у крепко стиснутых губ нарушительницы железнодорожных правил изящный абрис мужского полового члена. Строго на причинном месте дамы нацарапана надпись «ДМБ-90». Лицо нарушительницы удивительно сурово. В ней можно узнать хорошо знакомые черты женщины с плаката «Родина-мать зовет». Существо, по странному замыслу двух разных художников одновременно бредущее по путям и совершающее орально-генитальный половой акт, явно приходится дочерью «Родине-матери», только изрядно деградировавшей от житейских неурядиц и алкоголя. «Родина-мать» никогда бы не пошла без разрешения МПС по путям...

Анатолий Арсеньев

ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС СОВРЕМЕННОСТИ И РОССИЯ

(Заметки философа)

С первых шагов нашей «перестройки» меня преследуют два вопроса, которые, на мой взгляд, необходимо было поставить нашим реформаторам в самом начале, чтобы затем соотносить с ними все дальнейшие цели, программы и действия. Однако и до сих пор выработка позиций многочисленных партий, фракций, групп и т. д., принятие решений законодательными органами, действия правительства каким-то образом обходятся без обсуждения этих вопросов.

Первый из них: «Кто мы такие — русские; что можно и нужно делать в этой стране, а что нельзя?»

Второй: «Где истоки разворачивающихся на наших глазах глобальных кризисов (от экологического и демографического до «дегуманизации» человека) и какова роль России в этом общемировом процессе?»

Без постановки и обсуждения этих вопросов планировать будущее страны, а тем более предпринимать какие-то практические шаги — это не просто действовать по методу «тришкина кафтана», известному своей бессмысленностью, но, что еще хуже и опаснее, — это просто безумие. Потому-то, видимо, заседания нашего парламента и напоминают зачастую сумасшедший дом.

**Анатолий
АРСЕНЬЕВ**

— родился в 1923 году в Москве. Участник Великой Отечественной войны, на которую ушел с выпускного школьного вечера в 1941 г. Был ранен. В 1948 г. закончил Институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова в Москве, в 1953 — философскую аспирантуру. Кандидат философских наук. Автор ряда курсов и работ по философии, печатавшихся в «Вопросах философии», «Вопросах психологии» и научных сборниках.

Конечно, наибольший интерес и остроту имеет для нас первый из вопросов, но начинать обсуждение его следует со второго, как более общего, в контексте которого может быть более глубоко понят первый. Для этого разумнее всего занять позицию так называемой «вненаходимости» (термин М. М. Бахтина) — вненаходимости не только по отношению к России, но и по отношению к наличному бытию Человечества в целом. А это — дело религии и философии, и потому я должен начать с некоторых предварительных философских замечаний, являющихся предпосылками того взгляда на Россию и ее будущее, который будет изложен в статье. При этом я должен заранее оговорить, что рамки статьи так узки, что я заранее прошу извинения за краткость, схематизм и отрывочность представляемых соображений, за сокращение до возможного минимума обсуждения альтернативных позиций, ссылок, приведения цитат и т. д., то есть всего, что именуется научным аппаратом. Это, скорее, схематическая экспозиция некоторых общих идей без изложения путей, к ним ведущих, представляющих несомненно наибольший философский интерес, но, к сожалению, не могущих войти в содержание статьи. Приводимые схему, сравнения и аналогии прошу принять лишь как приемы, позволяющие что-то пояснить или на что-то намекнуть, не придавая им значения сколько-нибудь «доказанных» теорий или моделей описываемых процессов.

1. Некоторые философские предпосылки

Сегодняшнее положение философии мне представляется парадоксальным. С одной стороны, кризисы, которыми больно современное человечество, носят глобальный характер, созданы самим Человеком, и для того, чтобы понять их внутренние причины и смысл, он, как никогда ранее, остро нуждается в осознании своего места и назначения в Миров, в своем самоопределении, что и является задачей философии. С другой стороны, никогда еще философия не находилась в таком небрежении: распространено даже мнение, что философия сыграла свою историческую роль и ничего нового дать уже не может, что философией ныне можно заниматься только в плане ее истории.

Есть основания думать, однако, что философия вовсе не отжила свой век, а только находится в хотя и очень глубоком, но преодолимом кризисе. Жизнь настолько изменилась, что все прежние формы философии, созидающей системы категорий, выясняющей отношения понятий, конструирующей мировоззрения, оказались не способными ориентировать Человека перед лицом этих перемен.

Из причин этой неспособности укажу здесь лишь на три. Первая — потеря непосредственной связи философии с религиозным источником, основанием. Здесь, правда, я должен заметить, что имею в виду прежде всего западноевропейскую философию. Связано это с общим обмирщением, секуляризацией жизни и мышления Запада, в том числе и религии. Философия постепенно теряла метафизическую

глубину, приобщенность к Тайне Человека и Мира, интуитивность, уходя в гносеологию, логику и остроумные упражнения ума.

Вторая причина — способность философских категорий к самопорождению. Она создает своего рода «соблазн» плести красивые диалектические кружева, погружаясь в увлекательные споры, в тонкую разработку деталей и нюансов, превращая философию из любви к мудрости в сложную замкнутую профессиональную область знания, доступную лишь специалистам, овладевшим соответствующей технологией.

Третья — лежит вне сферы самой философии и связана с особенностями сознания современного человека, прикованного к миру вещей, с отсутствием у него «метафизического голода», интереса к «последним вопросам» (вопросам героев Ф. Достоевского о смысле жизни, о добре и зле, о человеке, Мира и Боге и т. п.).

В результате в нынешней кризисной ситуации, когда Человек стоит перед катастрофой, вызванной неорганическим, технологическим характером его сознания и отношения к Миру, когда он находится в состоянии тотального отчуждения от Мира и от самого себя, традиционная философия не в силах предложить ему путь возвращения к самому себе и к Миру, так как сама оказалась отчужденной от своего Начала и выродившейся в технологию.

Между тем, за тысячелетия своего существования она накопила громадное количество знаний о Человеке и Мира. В каждой серьезной философии кроме содержания, принадлежащего исторически определенным формам мышления и культуры (преходящего и отмирающего вместе с этими формами), есть также нечто, что остается непреходящим и может послужить опорой для попыток понимания не только настоящего, но и будущего.

Выделить это непреходящее содержание как раз и можно, если исходить из той очевидности, что так или иначе все мифологии, религии и философии (каждая в материале своей культуры и соответствующей форме сознания) всегда и говорят, в сущности, именно об отношении «Человек — Мир». И потому, рассматривая их через призму этого отношения, можно увидеть то содержание, по которому они сближаются, конвергируют. Можно мысленно представить себе проблему «Человек — Мир» как некий конус с уходящей в бесконечность вершиной, а различные мифологии, религии и философии — как многочисленные ворота, ведущие внутрь этого конуса и расположенные вокруг его основания. Если войти внутрь конуса и двигаться к его вершине, то начинается сближение путей, проходящих через все ворота.

Опуская описание различных уровней подъема (спора, диалога, индивидуальности истины и т. д.), остановлюсь лишь на том уровне «вненаходимости», что открывает перспективу сознания, которое я бы назвал «диффузным сознанием». С этого уровня можно непосредственно, как бы «сверху» видеть пути, идущие через различные ворота, не самоотождествляясь ни с одним из них и вместе с тем вбирая их в свое сознание.

Тогда религия предстает перед нами как *самообнаружение* и *самовосприятие* Человека в Мире, обеспечивающее его связь с Миром как целым и с разумным Центром Мира (связь, без которой Человек оказывается отчужденным от Мира и от самого себя, что теперь называется «дегуманизацией человека»). Философия же может быть понята как *рациональная* сторона религии, как *самопонимание* и *самоопределение* Человека в Мире.

Существенно отметить при этом, что при таком взгляде на философию и религию отношение «Человек — Мир» выступает в обеих этих формах как отношение двух *бесконечных* целых. И это отношение возможно именно потому, что Человек, будучи конечным существом в плане своего физического земного бытия, одновременно бесконечен в *своих духовных потенциях*, в способности (и необходимости) выходить в своем сознании *за границы* всего конечно определенного (трансцендировать). Это трансцендирование (лежащее, в частности, в основе всякого исторического творчества) — форма, в которой как раз и преодолевается его конечность в плане наличного бытия и он оказывается приобщенным к сфере *потенциальной бесконечности* (ПБ), то есть бесконечности как *процессу развития во времени*, полагания и «снятия» (превосхождения) *всех* конечных определенностей в ходе истории. Но, повторяю, «пространство» и «направленность» этого трансцендирования связаны и вытекают из существования другой формы (точнее, стороны или ипостаси) бесконечности — вневременной, означающей, что все, что может быть достигнуто в развитии (в сфере ПБ), уже так или иначе существует в сфере духа. Это — сфера *актуальной бесконечности* (АБ), с которой, в частности, связана детерминация настоящего будущим, целью. (Вопрос этот связан с проблемой свободы — одной из сложнейших в философии. Он здесь не обсуждается).

Оговорю сразу же и то, что представление о существовании АБ связано у меня и с представлением о существовании *метаэволюции* и *метаистории*, из которого я и буду в дальнейшем исходить. Это сфера невоплощенных прообразов, форм, идей, смыслов, целей, символов разных уровней и степеней общности и т. д. (о чем свидетельствует масса фактов из области биологии, палеонтологии, истории, мистики, экстрасенсорного опыта и т. п.) и их непрерывного (на разных этапах развития — различного) взаимодействия с миром воплощения. В свете этого представления всякая воплощенная в области ПБ (в реальном процессе истории) форма проходит цикл развития во времени, будучи связанной как со своим собственным *прошлым* (причинная детерминация), так и со своим прообразом-целью в сфере АБ (целевая детерминация). Причем когда энергия прообраза истощается, то одни причинные связи уже не могут обеспечить устойчивость воплощенной формы, и начинается «энтропия информации», потеря определенности, разложение, наступает состояние «безмерности». Это — момент пластичности, бесформенности, хаотичности воплощенного бытия, его готовности принять новую форму. Есть основания думать, что в это время и в сфере АБ

появляется более энергичный новый, готовый воплотиться прообраз, который вытесняет истощенный старый.

В момент такой «безмерности» разрушающийся мир старых, эмпирически воплощенных форм встречается в неустойчивом, восприимчивом диффузном «поле безмерности» с формообразующими импульсами, идущими из «сверхэмпирической» области метазволюции (метаистории). «Подэмпирическое» («инфрафизическое») прошлое встречается со «сверхэмпирическим» («сверхфизическим») будущим.

Таким образом, «безмерность» — это некое диффузное состояние, хаос — однако не абсолютный хаос, а такой, который пронизан прошлым и будущим, тьмой и светом, неспециализированностью, готовностью изменяться, свободой стать чем-то. Состояние «безмерности» заканчивается образованием новой формы, вступлением системы в качественно новую фазу развития, как правило — противоположную предшествовавшей. (Гегелевские «скачки», сопровождающие смену качества, и есть такие состояния безмерности).

Можно было бы мысленно схематически представить себе ПБ как «горизонталь», протянувшуюся из прошлого и будущее, а АБ как «вертикаль» между полюсами духовности и телесности. (Этот образ часто используется в литературе. См., например, В. Непомнящий. «Пророк». «Новый мир», № 1, 1987 г. О своеобразной «распятиости» Человека на кресте АБ и ПБ писали в той или другой форме многие русские мыслители. Она создает основное противоречие психики, внутреннюю трагедию и импульс личностного развития и находится целиком за границами мышления научной психологии).

Любая саморазвивающаяся (органическая) система всегда включает в себя такое перекрестие «горизонталей» и «вертикалей», а Человек — еще и бесконечные их полюса. Рассматриваемый только как *индивид*, он — ничтожная пылинка, точка в мироздании, как *личность* он — растущая из этой точки бесконечная «вертикаль», соизмеримая с Миром как Целым, входящая в отношение «неслиянности-нераздельности» с Богом. Человек только потому существо трансцендирующее (творящее) в ПБ, что он реально уже трансцендентен в духе (принадлежит АБ).

Итак, примем за исходную точку наших рассуждений то положение, что всякая органическая система проходит обычно качественно различные (как правило противоположные) фазы развития, отделяющиеся одна от другой состояниями «безмерности». И будем иметь в виду, что в отличие от механических систем для органической системы детерминация будущим (связанная с АБ) имеет преимущество перед детерминацией прошлым (ПБ), особенно в состояниях «безмерности». Так же, как и в спокойных «фазовых» состояниях обычно именно функция детерминирует структуру, а не наоборот.

2. Общий кризис современности как кризис Неолита

Если исходить из предложенного выше представления об органической системе и путях ее развития, то есть все основания

рассматривать те многочисленные кризисы, с которыми встретилось современное человечество, как проявления некоего *единого общего кризиса*, знаменующего собой разложение целой фазы исторического развития — всех форм жизни, связанных с определенной стадией антропогенеза, начало которой было положено, в сущности, еще неолитической революцией. Разные исследователи датируют ее по-разному (в среднем от 10 до 30 тысяч лет назад), а также по-разному определяют ее сущность. Например, одни главным в неолите считают переход от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству, то есть к производству; другие — зарождение поверх кровно-родственных связей социальных отношений, то есть общества; третьи — оседлый образ жизни и связь с землей (зарождение деревни и соответствующих форм землевладения и землепользования) и т. д. Безусловно, все это — существенные характеристики. Но взгляд с уровня диффузного сознания и представление об органической системе позволяют с более широкой точки зрения увидеть ход антропогенеза и место в нем неолитической революции. При этом существенным образом изменяется и ставшая привычной в науке картина эволюции Человека. Приходится предположить, что не человеческий мозг создал человеческую мысль, а наоборот, человеческая мысль — как появившаяся новая функция — создала человеческий мозг и всю морфологию Человека. Это значит, что вспышка рефлексии-трансцендирования, приводящая к образованию самосознания (о чем говорилось выше), должна была произойти еще даже не в собственно человеческом мозге, чтобы началась уже не биологическая, а собственно человеческая эволюция. Пожалуй, ее можно назвать «сверхбиологической», поскольку началом, ведущим весь процесс (в том числе изменения морфологии, включая мозг), стало именно *самосознание*, а биологические факторы заняли подчиненное положение. Этот момент, очевидно, и есть начало человека разумного. Можно предположить, что через земную жизнь прошла «волна эволюции», несущая возможность самосознания и духовного развития. В существах, «дозревших» до реализации этого ее импульса, она вызвала к жизни самосознание различной степени глубины и устойчивости, поставившее их в начало возможной человеческой эволюции.

Необходимо отметить, что в эволюции всякой органической системы переход на новую качественную ступень всегда связан с появлением новых степеней свободы и возможностей развития и потому обычно знаменует появлением целого «букета» новых форм, из которых только немногие обретают возможность перейти на следующую ступень. Остальные уходят в сторону, тормозятся, регрессируют. Это также связано с энергетическими и формообразующими процессами в области метаэволюции.

По-видимому, и в момент перехода от биологической к человеческой эволюции возникло большое разнообразие «кандидатов в человеки», но не все выдержали «кандидатский экзамен». Многие «ушли в сторону», затормозились во внутреннем психическом развитии, деградировали, растворились снова в животном мире. Поэтому среди похожих по внешнему облику существ могли встречаться

и животные, и люди, и «полулюди», и развивающиеся, и деградирующие. (Возможно, «снежный человек», «лесные люди» и им подобные вне современного человечества живущие существа — следы «взрыва», некогда вызванного этой прошедшей «волной»).

Из этого представления об антропогенезе следует и принципиальная невозможность определить возникновение Человека по костным останкам. По-видимому, в течение большей части периода Палеолита (возможно, до появления кроманьонца) существовала достаточно серьезная опасность деградации вновь в животное состояние. Так, некоторые, дожившие до нашего времени обычаи, обряды, формы табуации и сложные правила брачных отношений в «отсталых» обществах и племенах могли быть в свое время связаны именно с задачей создания своего человеческого мира, отличающегося от мира животного, и вполне возможно, что некоторые из этих народов идут ныне именно по пути деградации. Существуют различные аргументы, позволяющие выдвинуть такую гипотезу. Приведу один из них. Аборигены Австралии, *морфологически* не отличающиеся от *современного* цивилизованного человека, в *культурном* отношении стоят ниже уровня, достигнутого *неандертальцами*, сохранившими в своем облике обезьяноподобные черты, что, при учете ведущей роли изменения сознания, позволяет предположить регрессивный ход этих изменений.

По-видимому, решающее значение для собственно человеческого развития имело в Палеолите удержание и постоянное воспроизведение указанного выше первичного религиозного отношения «Человек — Мир», — своего родства, причастности Миру как целому. Только такая настроенность психики позволяла удерживать прочную связь с областью АБ и, следовательно, с собственным будущим, принимая соответствующие энергии и «волны эволюции», развивающие «приемную станцию» — мозг — с громадным запасом мощности.

Одним из средств воспроизведения и закрепления всеобщего отношения «Человек — Мир» явилось палеолитическое искусство. Как известно, долгое время наука не признавала его, считая просто фальсификацией. Затем пыталась свести его содержание к производственной магии. Когда же пришлось признать *космологический* характер его сюжетов, это вызвало крайнее удивление, так как противоречило научным взглядам на антропогенез. Вот как выразил это отношение антрополог В. Е. Ларичев, исследовавший стоянку палеолитического человека в Хакасии около деревни Малая Сыя: «... «магические камни» Малой Сыи иллюстрируют первозданные мифы людей древнекаменного века об эволюции мироздания и образно воссоздают его структуру. Появление столь сложных понятий у человека, жившего около 34-х тысяч лет назад, поражает и на первый взгляд кажется просто невероятным. Но слишком очевидны совпадения образов искусства Малой Сыи с космогоническими сюжетами индоевропейского, например, эпоса, нашедшими отражение на страницах священных книг типа «Махабхараты», «Ригведы» и «Авесты», чтобы с уверенностью утверждать подобное» («Атеистические чтения», № 10, 1979, М., стр. 23). «Такое прочтение искусства

Малой Сын не может не поразить в свете традиционных представлений об интеллекте первобытного охотника, будто бы увлеченного лишь одним — добыть себе пропитание. Теперь можно осмелиться предположить, что это было не так... Все это настолько неожиданно, что столь резкая качественная переоценка уровня достижений наших далеких предков в познании природы кажется поначалу просто невероятной» (Там же, стр. 24).

С предложенной же точки зрения на антропогенез именно так и должно быть. Эта логика приводит также к представлению о фазах антропогенеза, сменяющих друг друга. Тогда неолитическую революцию можно рассмотреть как смену крупнейшей фазы антропогенеза на противоположную ей при переходе от Палеолита.

Палеолит — фаза внутреннего органического саморазвития Человека, его самосознания и морфологии (от обезьяноподобной до современной) *при почти неизменном орудии труда* (каменное рубило, каменный топор). Неолит — фаза развития внешних орудий (от каменного топора до современного научного производства) при *практической неизменности* самого Человека.

(Подготовка неолитической революции — так же, как и начало антропогенеза, — должна была происходить в сфере сознания и была, по-видимому, связана с влиянием метазволюционных программ, возможно приведших к появлению краманьонца и началу угасания ветви неандертальцев).

В Палеолите господствовало *непосредственное* религиозное отношение к Миру как целому, но постепенно Человек начинал утрачивать, видимо, первенство этих интимных внутренних связей с Космосом, Теосом, Миром как целым, меньше ощущал свою причастность к Вселенной, что означало утрату целостности и начало его отчуждения от Мира как целого («отпадение от Бога» — в христианстве). Вместе с тем утрачивались и соответствующие знания. Неолитическая революция привела к вытеснению этого целостного непосредственного отношения рационально опосредованным орудийно-технологическим отношением к объекту деятельности. Это постепенно изменило весь психический строй Человека. Стала нужна особая «служба связи» Человека с Разумным Началом Мира — религия как особый вид специальной общественно-профессиональной деятельности. Возникли ее исторические формы, взявшие на себя основную функцию палеолитического искусства, которое постепенно исчезает.

Утеря сознания своей бесконечности и единства с Миром привела к утере непосредственной связи Человека со сверхфизическими планами и к развитию специальной технологии этой связи (магии, колдовства, алхимии и т. д.), а также к поклонению хтоническим (связанным с землей) богам и т. п. Целостность отношения Человека к Миру — Монотеизм — сохранился лишь в отдельных эзотерических учениях.

Появившиеся в Неолите социальные отношения не устраняют кровно-родственных, а как бы накладываются на них, очень медлен-

но оттесняя их на «задний план», погружая их исторические истоки в подсознательную область (область «архетипов» по К. Г. Юнгу).

Следует отметить, что приведенное представление о Неолите относится в основном к западной ветви истории. По-видимому, сначала долгое время идет единый медленный процесс развития, низкая скорость которого определяется цикличностью и монотонностью деревенской жизни и производства. Затем происходит дивергенция (связанная, мне кажется, с метаисторическим разведением АБ и ПБ), выделяются две основные ветви истории — Восток и Запад. Восток замедляет развитие, как бы воплощая в эмпирической истории черты АБ, и отгораживается в пространстве от иностранных влияний; Запад начинает движение в области ПБ, проходя различные качественные ступени (например, период европейского средневековья — своеобразное отклонение в АБ и в отношении «Человек — Мир»), ускоряясь, приобретая в наше время почти взрывоподобный характер, осуществляя экспансию своих форм жизни практически на весь мир, за исключением (обратим на это внимание) России. Именно это экспансивное развитие западной цивилизации — основная причина современного глобального кризиса.

Колоссальная роль христианства для всей западной ветви истории состоит в том, что его возникновение есть «начало конца» Неолита. Его задача — вырвать Человека из порабощения кровнородственными, природно-стихийными и возникшими в Неолите социальными связями, вернуть его в сферу отношения «Человек — Мир», понятого прежде всего как духовно-личностное, как отношение Я — Ты, что позволяет Человеку стать целостной личностью, могущей войти с Богом в отношение «неслиянности-раздельности». Как и в начале антропогенеза, преобразование должно начаться в сфере Духа, самосознания. Христианство его начинает. Апокалипсис — предчувствие и образно-символическое представление завершения этого конца, вступления в область «безмерности».

Тем временем, в эмпирической истории Запада продолжалось развитие орудий и технологического отношения к Миру, создавших постепенно *самовоспроизводящуюся* систему, в наше время фактически вышедшую из-под контроля человека и поработившую его, превратившую его в компонент самой себя. Интересно, что в русской философии прошлого века была отмечена и эта особенность развития.

Отношение «Человек — Мир» вырождается в отношение «субъект — объект», являющееся характерным для новоевропейского рационализма в целом, включая новоевропейский здравый смысл, философию и науку. В своей основе оно не является *органическим* (не может включать «вертикаль»), но технологическим, «вещным». Вещное отношение — отношение «неживых» вещей, неорганическое, подчиняющееся «слепой» необходимости, исключающее рефлексию и свободу, а следовательно, исключающее личность.

Наука есть знание о мире вещей и вещных отношений, а «научная картина мира» есть картина не Мира как целого, но лишь его вещной проекции. Поэтому в этой картине Человек не предусмотрен, по меткому замечанию С. Л. Рубинштейна, ему в ней «негде находится».

Также современное машинное производство, являясь неорганическим, с неотвратимой неизбежностью приближает Землю к экологической катастрофе.

Запад развил это производство, опираясь на провозглашенный христианством принцип личности как ценности (хотя и в значительной степени исторически искаженный). В дальнейшем само это производство вошло в противоречие с личностным развитием, требуя в качестве рабочей силы не личность, а частичного человека.

На Востоке личность в социальном плане никогда не была достаточно проявлена, и вообще социальный план жизни так не эволюционировал, как на Западе (социальное развитие — область ПБ). Сохранялись в значительной степени родовые, патриархальные и общинные отношения, а государство старалось обеспечить их неизменность. В социальном плане человек оставался частичным, связанным групповыми патриархальными и общинными отношениями и соответствующими формами сознания. Эти формы активно антиличностны, но зато делают человека прекрасно приспособленной рабочей силой, в том числе и для современного производства. Этим объясняется сравнительная легкость проникновения в восточные страны современной технической цивилизации, несущей высокий уровень жизни, а за ним и массовую культуру Запада.

Этой «вторичной колонизацией» Востока Западом, а также мышлением в рамках новоевропейского рационализма и науки, видимо, и следует объяснить появление в 1989 г. нашумевшей статьи Ф. Фукуямы «Конец истории?» (см. «Вопросы философии», № 3, 1990 г.), где автор полагает, что западный образ жизни станет господствующим в мире и «история прекратит течение свое», а человечество, научно и технологически разрешив все проблемы, будет пребывать в вечном, скучном и печальном, по мнению автора, процветании.

Между тем, именно новоевропейский рационализм и соответствующие формы жизни ответственны не только за нынешний экологический кризис (Восток и «третий мир» вносят свою лепту безудержным увеличением населения, что Н. Бердяев назвал бы победой родового начала над личностным, количества над качеством), но и за то, что, отчуждая Человека от его Всеобщего Истока и Начала, ведут его к духовной, личностной, нравственной деградации.

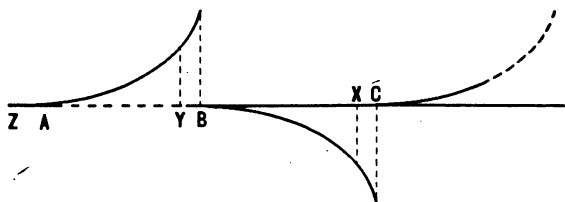
Диалектическая связь будущего с прошлым такова, что будущее, отрицая настоящее, в более конкретной форме, на новой ступени развития «возвращается» к общим фундаментальным основам предыдущей фазы.

Прообразом будущего, отрицающего новоевропейское господство вещности и утверждающего приоритет духовных основ жизни, Н. Бердяев считал европейское средневековье. Он даже называл это будущее «новым средневековьем». Это было около 70 лет назад. Мне кажется, однако, что за последние десятилетия проявилась такая глубина кризиса, ставшего глобальным, и он захватывает такие глубокие и древние слои психики, что приходится предположить завершение фазы гораздо большего масштаба, имеющей основания, в сущности, в самой неолитической революции.

Итак, современные глобальные кризисы, включая нравственный, демографический, экологический, национальный, геополитический, общесоциальный (под которым я понимаю кризис социальной жизни как таковой, в какую бы конкретную форму она ни была облечена, в том числе в форму западной демократии) связаны с фазой развития человечества, которая ведет свое начало от неолитической революции. Это фаза, приведшая к вытеснению органического целостного отношения Человека к Миру его вырожденной формой — абстрактно односторонним отношением Субъекта к Объекту, нашедшим свое завершение в господстве технологически-вещного отношения. В результате — тотальное отчуждение Человека от Мира и его разумного Начала, а тем самым и от своей собственной человеческой сущности.

Всеобщий характер кризиса прожитой и доживаемой ныне человечеством неолитической эпохи приводит к тому, что из него нельзя уже выйти посредством тех или других частичных мер. Никакими технологическими средствами преодолеть его невозможно, поскольку это кризис самого технологического отношения к Миру, включая соответствующее сознание. Любые меры могут, в лучшем случае, лишь отсрочить на некоторое время надвигающиеся катастрофические события, связанные с состоянием безмерности и переходом в новую фазу. Однако все эти меры (охрана окружающей среды, разработка малоэнерго- и материалоемких технологий, пропаганда разумного аскетизма, включая снижение рождаемости и т. д.) необходимо, конечно, предпринимать, дабы получить эту отсрочку, нужную для формирования нового сознания и отношения к Миру.

Предлагаемая ниже схема представляет собой попытку изобразить описываемые фазы антропогенеза. Пусть читатель примет ее лишь как наглядный образ, выражающий общие тенденции антропогенеза и позволяющий указать место в нем современной эпохи.



На этой схеме выше горизонтальной линии (она же ось времени) лежит область-самоизменения Человека, под ней — область развития внешних орудий, орудийной деятельности, которую К. Маркс удачно назвал «неорганическим телом человека». По вертикали отмечаются скорость соответствующих изменений.

Точка «А» — насчитывающее несколько миллионов лет начало превращения нашего обезьяноподобного предка в человека современ-

менного физического облика. Для нас важнее точка «Z» — вспышка рефлексии-трансцендирования, предшествовавшая морфологическим изменениям и повлекшая их за собой. Установить ее место по костным останкам невозможно, но именно она и есть момент возникновения «Человека Разумного», так как вся дальнейшая его эволюция определяется уже не биологическими законами, а возникшим самосознанием — еще примитивным, но именно в своей примитивности всеобще-целостным.

Точка «В» — отстоящая от нас на несколько десятков тысяч лет неолитическая революция, переход через состояние безмерности, начало новой фазы антропогенеза — неолитической. Ей предшествовала точка «У» — внешне еще не выраженная эпоха изменения сознания, психики, возможно связанная с появлением кроманьонца.

Точка «С» — внешне выраженный кризис неолитической эпохи, состояние безмерности, переход к будущей постнеолитической эпохе. Точка «Х» — возникновение и распространение христианства, знаменующего конец Неолита в сознании, ориентирующего снова на саморазвитие Человека, теперь уже прежде всего как духовного существа. Современный мир находится вблизи точки «С».

3. Глобальная ситуация сегодня и Россия

Пытаясь дать какую-то общую схематическую картину современного состояния человечества, я бы, пожалуй, рискнул составить ее из трех основных компонентов: Восток, постепенно западньюющийся; Запад, с его быстро и экспансивно развивающимся рационально-технологическим отношением к Миру, и Россия.

Так называемый «третий мир» постепенно размывается, страны, которые традиционно принято в него включать, либо пытаются освоить западные формы жизни, либо стагнируют, либо регрессируют, причем столкновение с западной цивилизацией ускоряет эту регрессию. Вместе с тем, нельзя не учитывать возможную большую роль третьего мира и мира ислама в будущем как силы дестабилизирующей, ускоряющей процессы распада современной цивилизации. Быстрый рост народонаселения, возрастание агрессивности и экспансионистских тенденций, консолидация значительной части населения вокруг соответствующих идей панисламизма делают этот мир очень опасным. Вместе со вспышкой национализма в наше время в самых различных регионах Земли это — показатель «сопротивления» Неолита, на самом деле ведущий к ускорению его распада.

Россия остается единственной страной, в определенном — и достаточно существенном — смысле «чуждой» как Востоку, так и Западу. Не относится она и к «третьему миру». Она не приняла, несмотря на татаро-монгольские нашествия, восточных форм жизни, хотя они и наложили на нее печать «азиатчины». Не принимает она, в общем, и формы, являющиеся основой новоевропейской жизни, несмотря на многочисленные в ее истории попытки внедрения их в русскую жизнь. Последняя из них (если исключить нынеш-

ную «перестройку») была в феврале 1917-го. Она также оказалась неудачной, так как почти немедленно за нею последовал Октябрь, обернувшийся невиданным террором, который поставил страну в антагонистическое отношение к Западу и на новой основе фактически возродил крепостное право. (Помню, как еще в довоенные времена аббревиатура ВКП(б) расшифровывалась: «второе крепостное право большевиков»).

Что же из себя представляет современный «благополучный», «цивилизованный» Запад с точки зрения возможностей развития личности, то есть индивида, обладающего бесконечной внутренней свободой и столь же бесконечной нравственной ответственностью?

Русская литература и русская философия достаточно убедительно показали противодействие современных западных форм жизни внутреннему духовному развитию личности, ведущее постепенно к ее деградации. (Я не останавливаюсь в данном случае на самокритике Запада, также широко представленной от Руссо до Шпенглера и Тойнби. Мне кажется, что русские мыслители, благодаря тому, что, осваивая западную культуру, внутренне не самоотжествлялись с ней, оставаясь в позиции вненаходимости, сумели в критике западных форм жизни проникнуть более глубоко. Этому способствовало и понимание ими религиозных основ жизни, где также большинство из них выходило за пределы официальной церковной религиозности).

Материал, касающийся отношения русских мыслителей к христианскому Западу, столь, однако, велик, что даже простое перечисление работ потребовало бы места, превышающего объем настоящей статьи. Остановлюсь поэтому кратко лишь на том, как выглядит западная демократия (ныне — образец для многих наших реформаторов) с точки зрения изложенного выше представления об органических системах.

Включая рассмотренную выше «вертикаль» АБ (духовное измерение Мира), органическая система всегда имеет иерархическую структуру, которая «растет» своей вершиной, определяющей подъем всех ниже лежащих «этажей». Именно поэтому элитарна культура. Поэтому же нормальным, органическим, следует считать в обществе лидерство харизматическое (от «харизма» — благодать) — то есть такое, которое получает (благодаря своей причастности к «вертикали») право и мудрость руководить «свыше» и перед этим «свыше» чувствует и несет ответственность за свои действия. Авторитет харизматического лидера не определяется его социальным положением. Наоборот, его социальная значимость определяется его духовным авторитетом, верой населения в его особую, дарованную свыше миссию, объединяющую народ в единое органическое целое.

В истории можно проследить, однако, как общества, первоначально харизматически объединенные в органическое целое, постепенно теряли эту органичность, вырождались. В ходе этого процесса социальные структуры из средства, обслуживающего харизматическое лидерство, постепенно превращаются в самодовлеющие механизмы, становятся самоцелью. Общественное устройство, сохраняя

внешнюю видимость органической иерархии, на самом деле превращается в пустую оболочку, уже не несущую в себе духовное содержание и связь с областью АБ.

На заре Неолита, когда социум начал образовываться поверх кровно-родственных отношений, сила, объединявшая данное сообщество в единое целое, долгое время приписывалась мифическому родовому началу — тотему, и харизмой наделялись люди, связанные с этим началом и через него со сверхчувственной сферой богов и духов. С моей точки зрения, это было уже деградацией лежавшего в истоках антропогенеза первичного непосредственно-монотеистического религиозного отношения к Миру.

Точно так же и все великие дохристианские цивилизации покоились на вере в причастность правителей к божественной сфере (или в непосредственно божественное их происхождение). О том, что эта вера постепенно ослабевала уже издавна и в обществе шло расслоение сознания, свидетельствуют, в частности, знаменитые ограбления захоронений фараонов, начавшиеся еще в древности.

На Востоке вера в харизматичность власти начала разрушаться лишь в последнее столетие — и не по внутренним причинам, а в связи с экспансией западных форм жизни.

В христианской России царь, будучи помазан на царство патриархом, воспринимал свою миссию как идущую непосредственно от Бога, перед Которым он несет ответственность за судьбу вверенного ему народа. Но постепенно привязанность к собственно социальной сфере — текущим политическим, экономическим и иным заботам превращалась и здесь в самодовлеющую цель. Петром Первым и сама православная историческая церковь была превращена в придаток государства. Между тем, значительная часть населения продолжала верить в харизматичность царской власти, хотя, в силу свойств русской души, о которых будет кратко сказано ниже, эта вера не была глубока. Это скорее была потребность и неоправдавшаяся надежда, разочарование в которой подготовило почву для атеизма — веры с обратным знаком, чем и воспользовалась большевистская идеология, определив на роль харизматических лидеров большевистских вождей, утверждая их харизматичность всеми средствами: от пропаганды до массовых репрессий, применяемым к неверующим. (Характерно, например, что Сталина называли «отцом» и даже «отцом народов». О. Лепешинская в одной из своих брошюр восклицала: «Какое счастье сознавать, что живешь в эпоху, когда есть на Земле человек, для которого все проблемы науки, как открытая книга!»).

И только после второй мировой войны эта вера в харизму вождей у значительной части населения страны стала ослабевать, что однако, вовсе не обязательно было связано с отмиранием внутренней потребности души в харизматическом лидере как таковом.

Что же касается христианского Запада, то времена «хождения в Каноссу», когда признание народом власти монарха было связано с соответствующей санкцией папы Римского, также отошли в прошлое. Здесь обмирщение социальной жизни пошло наиболее глубоко.

ко и последовательно и было связано с изменением сознания: господством в нем отношения «Субъект — Объект», его «овеществлением». В результате стали возникать и такие — как правило, предельно секуляризованные — социальные системы, где связь общественного устройства с духовной вертикалью (и харизматическим лидерством) с самого начала, в сущности, устранялась. Она, эта связь, начинала выноситься во *внесоциальную* сферу и называться тогда «свободой совести». Это — псевдоорганические системы, где «вертикаль» не связана с АБ, а построена из элементов «горизонтالي» (ПБ). Такая система не может расти в духовной области, она отчуждена от АБ и лишь экспансивно «распластывается» по «горизонтали». Это и есть система демократии, где псевдовертикаль «конструируется» с помощью механизма всеобщей избирательной системы, могущей в какой-то степени обеспечить формально-юридическое равенство, но не духовную иерархию. Высшей ценностью, обеспечивающей власть, становятся деньги — концентрированная форма вещности. Демократия приводит к господству бездуховной посредственности во всех сферах жизни, к снижению уровня духовного творчества, культуры, отмиранию целого глубокого пласта душевно-духовной жизни личности, т. к. «распластывание» по горизонтали — это всегда господство вещности над личностью.

В любой социальной системе *индивид* является *функционирующей частью* этой системы. Однако *личность* не может быть частью чего бы то ни было, но лишь *самостоятельным целым*. Поэтому, утвердив личность как высшую ценность, христианство положило начало развитию антагонизма: личность — социальность. В системе западной демократии этот антагонизм достигает максимума и ведет к упомянутому общему кризису социальности, как к одному из проявлений кризиса Неолита. В этих условиях личностное развитие выпадает на долю лишь небольшого числа людей, будучи связано с более или менее случайными обстоятельствами их индивидуальной судьбы. Кроме того, система демократии создает условия, способствующие развитию явления, которое Ортега-и-Гассет назвал «восстание масс» — прямое отрицание всякой элитарности, а следовательно — и органического развития. (Кстати, некоторые из указанных пороков демократии были отмечены уже античными авторами).

Возможен и второй тип псевдоорганической социальной системы, в некотором отношении противоположной демократии. Это — система, где не вещное богатство есть источник власти, но, наоборот, опирающаяся на прямое насилие власть обеспечивает вещное богатство в форме различного рода привилегий, соответствующих положению данного лица в аппарате власти. Таковы некоторые восточные деспотии и система, созданная большевиками по «заветам В. И. Ленина» в нашей стране.

Глубокая, духовно богатая христианская культура Запада деградировала по мере секуляризации жизни, и некоторые ее представители в поисках выхода совершали духовное паломничество на Восток. Оно особенно усилилось в 30-е годы нашего века, захватив

многих гуманитариев (в качестве примера можно было бы назвать Р. Роллана, Г. Сэллинджера, Г. Гессе и многих других).

В наше время в тот же путь двинулись представители точного естествознания (и прежде всего физики), пытаясь провести параллели между своими теоретическими построениями и учениями буддизма, даосизма, дзена и т. п. Характерно, что при этом гораздо меньший интерес они проявляют к основанию собственной западной культуры — христианству. И я думаю, что происходит это потому, что господствующей форме современного западного мышления, особенно научного, гораздо ближе формализм и непротиворечивость восточных учений (включая сюда даже дзен — отрицание этих учений, но отрицание восточное, остающееся внеличным), чем глубоко парадоксальное, связанное со сверхрациональностью христианское утверждение личности как высшей ценности. Поэтому же, например, такой ряд понятий современной западной культуры, как справедливость, правосознание, законность, социальность, мораль и т. п., легко согласуется с восточным представлением о карме, но не может вместить такой ряд, как любовь, покаяние, прощение, милость, благодать, соборность (последнее — типично православное), нравственность. Здесь возможна лишь обратная иерархия: первичность второго из указанных рядов понятий и вторичность первого, играющего обслуживающую роль. Для такого переворота сознания надо выйти за пределы новоевропейского рационализма. Поэтому-то первичность второго ряда, часто допускаемая и даже утверждаемая на словах, терпит поражение в реальной практике социальной жизни и мышления.

Пожалуй, можно было бы, используя христианское представление о «составе человека», провести грубую и отдаленную, но тем не менее несущую какой-то содержательный смысл, параллель:

Восток	—	Россия	—	Запад
дух	—	душа	—	тело

Только нужно учесть, что Восток, в данном случае, — не христианский личностный Дух, который «веет, где хочет», а абстрактно-безличностный, неподвижно-равнодушный, безразличный к судьбе Человека Абсолют. Современный Запад — не тело, которое является храмом Духа, а отчужденная от духовного измерения Мира, кипящая в вешной, разрушающей себя и Мир деятельности самодовлеющая телесность. Россия же — не душа, их объединяющая плеромически («плерома» — божественная полнота, гармонически включающая противоположные полюса), но пока что только неопределившаяся середина (по выражению Н. Бердяева — «смесь»), а вероятнее всего — нечто новое, качественно отличное и от «плеромы» и от «смеси». Мне кажется, что только в еще почти непроявленной (или только интуитивно чувствуемой и проявляющейся частично и спорадически) глубине эта душа несет в себе возможность универсальной плеромичности.

Но — несет. И недаром это чувство особой предназначенности русской души как неустранимая боль мучило русскую мысль, литературу, философию последние полтора столетия, достигнув небыва-

лой остроты и глубины к концу прошлого века и в начале нынешнего, когда уцелевшие в эмиграции, преследуемые и уничтожаемые в России представители ее культуры продолжали все ту же неотвязную духовную работу.

Представители западной культуры, попадая в Россию, воспринимали эту страну по-разному, выносили из знакомства с ней зачастую прямо противоположные впечатления. Но те из них, у которых еще не атрофировалось интуитивно-личностное «измерение» души, побывав в России, ощущали, чего они лишены у себя на Западе. Свидетельства, оставленные ими, многочисленны, и есть в них общая черта: прикосновение к рационально невыразимой, ни с чем не сравнимой и неодолимо притягивающей Тайне. Позволю себе привести здесь только два примера.

Р. М. Рильке: «Россия... мне открыла ни с чем не сравнимый мир, мир неслыханных измерений; благодаря свойству русских людей я почувствовал себя допущенным в человеческое братство... Россия стала, в известном смысле, основой моего жизненного восприятия и опыта» (из предисловия Н. Литвинца к кн.: Райнер Мария Рильке. «Записки Мальте Лауридса Бригге». М., 1988, стр. 5).

И еще — из письма американского студента Эндрю Кауфмана: «Мне чудится в России какая-то своеобразная чудесная «отрава», которая овладевает мной, как завораживающая пара изумительных женских глаз. Она иногда страшна, иногда красива, иногда сладка, иногда горька, но всегда мощна и пронзает мои мысли почти в каждый момент моего существования и на каждом шагу. Эта отравка имеет намек божественности, какой-то прекрасной, мистической силы. Словами и умственным анализом она не объясняется» («Юность», № 3, 1991 г., стр. 73).

Возвращаясь к общей ситуации современности, можно сказать, что перед нами специализировавшийся в своей застойности Восток, подрываемый экспансией Запада, и Запад, специализировавшийся в ускоренной неорганической вещной деятельности, съедающей весь Мир и себя. На Востоке личность не развилась, в христианской культуре Запада она, не успев пройти далеко по пути своего развития, вырождается под влиянием господствующего технологически-вещного отношения к Миру.

И странная, не поддающаяся рациональному анализу, аморфная и одновременно амбивалентная Россия, то пугающая мир тупой жестокостью, то удивляющая его необыкновенными взлетами культурного творчества, по своему содержанию выходящего далеко за национальные пределы, приобретающего глобальный масштаб и смысл.

Если считать, что исторический путь России тот же, что и Западной Европы, то следует иметь в виду, что в большинстве западных стран крепостное право, например, было отменено на несколько столетий раньше, также несколько столетий насчитывают гражданское общество, рыночные отношения и соответствующее производство. А если исторический путь России и ее метаисторическое «предназначение» качественно иные? Я беру слово «предназна-

чение» в кавычки, имея в виду, что здесь нет жесткой детерминированности, а есть нечто вроде «проекта» предстоящего будущего, конкретное воплощение которого определяется взаимодействием с воплощенным историческим прошлым, его формами и тенденциями. В кризисных состояниях эти формы теряют жесткость и преимущество получает влияние метаистории, то есть проект будущего.

Интересно отметить, что Россия не отгораживалась от Запада, как Восток. Заимствованные на Западе преобразования вводились непосредственно русским правительством и, однако, во многих случаях давали не тот результат, на который были рассчитаны, иногда просто «глохли» и «рассасывались». А часто этот результат был просто отрицательным, разлагающим этические и культурные устои народной жизни. (Это несколько похоже на попытки «научного преобразования» природы в наше время, то есть *неорганического вмешательства в органические процессы*).

После отмены крепостного права Россия как будто бы начала осваивать западные формы социальной жизни. А быстрые темпы развития промышленности с конца прошлого века, либеральное судопроизводство, трудовое законодательство, столыпинская реформа, казалось бы, подготовили Россию к более решительному озападниванию. Но характерно, что многие русские мыслители отмечали именно в это же время падение нравов, рост воровства и т. д. Л. Толстой обращал внимание на то, что в 80-е годы прошлого века трудно было найти палача даже за большие деньги, а в начале нынешнего появилась масса желавших исполнять эту должность. Всякий так называемый прогресс, приводивший на Западе к росту свободы, в России, как отмечал Н. Бердяев, означал увеличение несвободы. И происходило это потому, что новообразования социальной жизни, выраставшие на западной почве как естественные, будучи перенесенными на почву России, оказывались нововведениями, чуждыми строю русской жизни, и должны были вводиться путем насилия.

Таким образом, попытки определенных социальных преобразований наталкивались на внутреннее, большей частью рационально не объяснимое сопротивление души, находящейся как бы в ожидании чего-то ей самой не известного и неопределенного.

Об этой загадочной русской душе и особой в связи с этим исторической роли России существует громадная литература. Сама для себя эта душа оставалась загадкой. В ней находили противоположные, максимально располосованные свойства, остававшиеся в этой располосованности почти неизменными на протяжении веков: рабское сознание и любовь к свободе, жестокость и милосердие, подлость и честность, эгоизм и готовность к самопожертвованию, тупость и глубокую метафизическую настроенность ума, святость и демонизм и т. д. И, пожалуй, именно этот *максимализм* русской души, ее располосованность и являются самой сутью дела и свидетельством потаённых, большей частью нераскрытых глубин — той самой безмерности, которая не может быть до конца выражена рационально и даже вербально (остается «несказанной»). Она же

является и бедой, так как почти исключает положительную конечную определенность — например, способность к устойчивому социальному бытию. Эта душа не может внутренне принять какие-либо конечные нормы закона и морали, даже справедливость. Нелюбовь к «законничеству» была характерной чертой и у большинства представителей русской культурной элиты, в том числе получавшей образование в западных университетах. Можно привести полусуточные строчки Б. Н. Алмазова:

«Широки натуры русские:
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал».

И происходило это потому, что в иерархии христианских ценностей любовь, нравственность, совесть занимают более высокое (по существу — высшее, бесконечное) положение по сравнению с правом и моралью. Максимализм же требует осуществления высшего, а если это осуществление невозможно, нельзя ожидать, что он может принять «среднее». Его принцип — «все или ничего». И потому русская история так хаотична, неразумна, неспособна ценить собственные достижения и склонна к саморазрушению («ломать не делать — сердце не болит»).

С этим же связаны катастрофическое, апокалиптическое восприятие Мира и эсхатологическая настроенность русской литературы и философии, убеждение в невозможности достижения гармонии и личностной свободы в пределах налично существующего павшего Мира. Да и сами понятия личности, свободы и их истоков в русской культуре резко отличаются от типично западных — уже хотя бы тем, что полагаются за пределами любой социальности и культуры, в области плеромической.

Поэтому же и проблемы, вырастающие в России, на русской почве, приобретали всегда у русских мыслителей универсальный вселенский размах и даже связывались порою с надеждами на мессианскую роль России в будущем преображении Человека и Мира. В наличном же русском бытии констатировались обычно аморфность середины и «беспредел» крайностей.

Застойность русской жизни, которую столь беспощадно критиковал в «Философических письмах» П. Чаадаев — это не стагнация исторического Востока. История Востока — это определенность и неизменность социальных и культурных структур, которая специально поддерживалась, в том числе специфическими реформами, направленными, как правило, на восстановление утративших с течением времени силу старых порядков. Восток, таким образом, — сфера, специализированная на неизменности определенных структур, ориентированная на прошлое. Например, в традиционном Китае, как свидетельствуют об этом современные историки, «независимо от субъективных намерений реформатора любая реформа, неизбежно облекавшаяся в традиционную оболочку, как правило была

направлена на сохранение статус-кво в изменившихся условиях» («Роль традиций в истории и культуре Китая». М., 1972, стр. 46). Для любого государственного чиновника «цель была одна — мобилизовать все возможности для того, чтобы сохранить традиционные нормы и формы жизни в неизменности» (там же, стр. 49). Был и своеобразный запрет на творчество. В списке преступлений, наказуемых смертью, значились, например, такие, как «создание и использование безнравственной музыки, странной одежды, удивительных приспособлений и необычайных орудий... страсть спорить при помощи лицемерных речей; изучение ошибочного...» (там же, стр. 181).

Застой русский — это внутренняя аморфность, неопределенность, амбивалентность духовно-душевной жизни, мало зависящая от внешних социально-государственных форм, неукорененность этой жизни в социальности, социальная пассивность, принимавшая всякого рода социальные реформы почти как стихийные бедствия. Хотя, безусловно, крепостничество, деспотизм не могли не калечить массу душ, превращая людей всех сословий в раблепных холуев. Но и это превращение для большинства носило какой-то не сущностный, неустойчивый характер, прикрывая собою то ли внутреннюю неизмеримую и неосознанную глубину, то ли какое-то сонное непроявленное состояние. Внутренняя душевная жизнь оказывалась мало затронутой социальными переменами, а когда затрагивалась всерьез, то отвечала вспышками бунтов, большей частью неосмысленных, стихийных. Создается впечатление, что русская душа в наличном бытии недостаточно воплотилась. Значительная ее часть остается в области метаистории. Она-то и воспринимается как Тайна и создает универсальную возможность воплотить любую определенность. «Французы говорят: «поскребите русского и вы найдете татарина»; Леруа-Болье высказывает обратное положение: «снимите налет татарского ига и вы найдете в русском европейца» (Н. О. Лосский. «Характер русского народа. Книга первая». «Посев», 1957, стр. 44). Более того, «Достоевский говорит от имени Версилова в романе «Подросток», что когда русский увлекается положительными принципами, выработанными Западной Европой, он становится более европейцем, чем сами европейцы, французы, англичане, немцы, потому что он свободен от их национальной ограниченности» (там же).

Остается выяснить, что надо делать с русским, чтобы он стал наконец самим собой.

4. Предстоящее будущее и возможная роль России

Если человечеству удастся пережить предстоящее состояние безмерности, то следующая фаза будет, видимо, представлять собой снова фазу саморазвития Человека. Но теперь на первый план должно выйти уже не морфологическое его совершенствование, а душевно-духовное. Эта фаза будет связана, по-видимому, с развитием личности, внутренне бесконечно свободной и нравственно бесконечно ответственной.

Такое преобразование должно начаться опять с изменения сознания. И можно предположить направление этого изменения, если учесть, что понять качественно новое будущее органической системы невозможно, опираясь лишь на ступень, достигнутую к моменту настоящего. Необходимо вернуться в прошлое и переосмыслить основания возникновения системы. В данном случае нужно выйти в прошлое за пределы Неолита, чтобы от отношения «Субъект — Объект» вернуться к лежащему в основе антропогенеза первичному религиозному отношению «Я — Ты», но включив в него весь тридцатитысячелетний или более опыт.

Христианство как религия личности делает в этом смысле первый шаг. Освобожденное от догматизма и односторонности, связанной с историческими условиями своего возникновения (что также было предметом полемики в русской философии), оно для вступающего в состояние безмерности человечества может послужить ориентиром, предохраняющим от полного растворения в хаосе (упомянутая выше детерминация будущим). Основной его принцип — *принцип любви* — может стать *всеобщей основой* собственно личностных человеческих отношений.

Если, учитывая характер предстоящих человечеству изменений, взглянуть с этой позиции на Россию, то большинство обычно отрицательно оцениваемых свойств русского человека, его души оборачиваются качествами, как бы приготовленными для вступления в будущее. О некоторых из них говорилось выше. Они служили предметом особо, если не сказать — болезненно, пристального внимания русской литературы и философии.

Слабая способность к собственному социальному обустройству (все ищем, кто бы навел «порядок на Руси»), отсутствие правосознания (желание решать «по совести», а не по закону), разболтанность, максимализм и неспособность принять «золотую середину» (либо святость, либо свинство) и т. д. обратной своей стороной имеют неукорененность в наличном бытии, потребность в харизматическом лидерстве (вместо бездушного механизма демократии), глубокую неудовлетворенную религи. зность, готовность к полной самоотдаче, внутреннее неприятие конечных форм и догм, даже религиозных (богоискательство), «метафизический голод», то есть потребность размышления над «последними вопросами».

Известно, что эта потребность выражалась не только у представителей «образованных классов». Существовали определенные места, например, некоторые трактиры, куда приходили потолковать и поспорить о подобных вопросах люди из самых разных слоев общества. И разговор шел «на равных», невзирая на профессии, чины и звания. Уважались лишь глубина мысли и способность ее выразить.

И семьдесят лет выкорчевывания этой потребности не смогли до конца ее уничтожить. Эти темы зачастую возникают у нас в дружеском общении, случайном разговоре, на вечеринках и застольях. Ничего подобного на современном Западе нет. Отмечая это, упоминавшийся выше Э. Кауфман пишет в своем письме: «То, что для нас

философия (на современном Западе, особенно в США — узко профессиональная область занятий. — А. А.), для вас жизнь».

В русском характере усматривали также уступчивость и недостаток волевого начала, «женский тип» русской души, противопоставляя ему «мужской тип» души западноевропейской. С недостатком волевого начала связывали неспособность довести до конца начатое дело, лень. Поразительная широта и глубина замыслов русского человека сочеталась со слабым стремлением к их воплощению, реализации. Классическим примером, предметом анализа и споров служили гончаровские образы Обломова и Штольца. Однако эта уступчивость и недостаток воли сказывались в основном во внешнем предметно-вещном плане, плане реализации, воплощения конечно-определенных форм. Во внутреннем духовном плане обнаруживалась колоссальная воля и способность идти до конца, что проявлялось в судьбе многих духовных течений. В качестве примера можно вспомнить сомосожжение старообрядцев.

Касаясь этой же особенности русской души, Н. О. Лосский в работе «Характер русского народа» приводит размышление В. Шубарта:

«Шубарт противопоставляет друг другу главным образом два типа человека: прометеевский, героический человек и иоанновский, мессианский человек, т. е. человек, следующий идеалу, данному в Евангелии от Иоанна. Представителями иоанновского типа он считает славян, особенно русских. Прометеевский, «героический человек видит в мире хаос, который он должен оформить своей организующей силой; он полон жажды власти; он удаляется все дальше и дальше от Бога и все глубже уходит в мир вещей...» (Н. О. Лосский. «Характер русского народа». «Посев», 1957, стр. 9). Иоанновский «мессианский человек чувствует себя призванным создать на земле высший божественный порядок, чей образ он в себе роковым образом носит». «Мессианского человека одухотворяет не жажда власти, но настроение примирения и любви». «Борьба за вселенность станет основной чертой иоаннического человека». В иоанновскую эпоху центр тяжести перейдет в руки тех, кто стремится «к сверхземному в качестве постоянной черты национального характера (подчеркнуто мной. — А. А.), а таковыми являются славяне, в особенности русские. Огромное событие, которое сейчас готовится, — есть восхождение славянства, как ведущей культурной силы» (там же).

Состояние «полувоплощения» рационального сознания (похожее на то, что в психологии называется «просоночным») прекрасно выражают персонажи А. Платонова. Это сознание не способно к самостоятельной рационально-критической работе по трезвому осмыслению реальности и скорее готово верить не столько рациональному содержанию предлагаемых идей, сколько лицу, от которого они исходят.

Сознание некоторых народов «третьего мира» внешне — по сравнению с сознанием европейца — тоже, зачастую, напоминает «просоночное», но оно вполне определившееся в отношении к реальности в рамках своей культуры и в этом смысле вполне «про-

снувшееся», иногда довольно жесткое в своей ограниченности, мало способное к изменениям, закрытое. В нем практически нет почвы для возникновения «метафизического голода» или богоискательства, нет необходимости открытия в бесконечность.

У героев же А. Платонова сознание скорее «плавающее», готовое меняться, принимая различные формы. Эти герои часто действуют как в полусне, в призрачном мире, слабо связанном с неотчетливо проступающей, схематически упрощенной реальностью. Не задевая глубоких слоев психики, это сознание неустойчиво и легко поддается «массовому гипнозу» самых примитивных идей и посулов. Недаром так сокрушительно был поражен, например, В. В. Розанов, наблюдая необыкновенно быстрый переход значительной части населения от христианской веры в Царя и Отечество к атеизму и вере в примитивные обещания и идеи большевиков. Впрочем, и это новое массовое сознание удерживалось благодаря вере в харизматичность большевистских лидеров у одних и индифферентному отношению к реалиям социальной жизни — у других.

Таким же, в значительной степени, осталось это сознание и сейчас. Достаточно послушать выступления на наших митингах, собраниях и заседаниях и посмотреть на лица людей, чтобы вспомнить платоновских персонажей.

Что касается веры в харизматичность лидеров, то она естественно вытекает из иерархичности органической системы и не является специфически русской чертой, а с древности и до наших дней в разной степени проявляется у народов всего мира. Опасность этой веры состоит в том, что сознание наделяет харизмой, то есть связью с бесконечным провиденциальным началом, лидеров, в действительности этой связью не обладающих, ведет массы — именно массы, массовое сознание, «человека массы» (выражение Ортега-и-Гассета) — ложным путем «подмен». С ним, с этим сознанием, в той или другой степени связано существование тоталитарных режимов, в наше время в наибольшей степени проявившихся в большевизме и фашизме.

Опасность «подмен» связана также с расплодившимися в последнее время доморощенными «гуру» и «учителями», предлагающими обывателю различные пути и способы «саморазвития» и «духовного совершенствования».

Единственной панацеей от «подмен» является развитие личности, нравственно и разумно противостоящей «человеку массы».

Мне кажется, повторяю, что Россия, русский народ, гораздо большей частью своей жизни находятся в области метаистории, чем в ее эмпирически воплощенной части. Русская душа еще не воплотилась как христианская, как личность, и ее «ядро» существует скорее как глубокая подсознательная потребность, проявляющаяся на сознательном уровне часто в самых «непотребных» формах. Сам «беспредел» этого «непотребства» — свидетельство безмерности потребности.

Эта «недовоплощенность» русского человека, с моей точки зрения, позволяет объяснить многие явления русской истории, культуры и философии.

Например, неудачи специализировать его по восточному или западному образцу, то есть принять конечно определенную форму в мире воплощения.

Можно по-новому понять антиномичность русского характера и амбивалентность отношения к русской жизни представителей русской культуры, от А. С. Пушкина, выражавшего сожаление по поводу своего рождения в России и одновременно не представлявшего и не хотевшего себе иной судьбы, до Н. Г. Чернышевского, с горечью восклицавшего: «Нация рабов!», — и всю жизнь посвятившего судьбе этой нации.

Двойственно влияние на Россию Запада. С одной стороны, это влияние разрушало собственную культуру «Святой Руси», с другой — «прививки» Запада не давали России «окуклиться» в традиционное общество восточного типа. (Не забудем, что Россия приняла восточный вариант христианства от Византии — страны традиционной культуры).

Всемирность элитарной русской культуры XIX в., мне кажется, также связана с двойственностью ее основ. Несомненно, западная культура разбудила Россию от «сонной одури», явилась источником образования и культуры дворянской элиты, стала образцом для подражания, формирования «светского общества», внутренне независимого от социальных структур власти и от церковных догм. (Это — не только западничество, но и славянофильство 30 — 40-х годов прошлого века).

И сразу же — необыкновенный взлет самостоятельной, исключаящей эпигонство мысли, характерной чертой которой было видение любой проблемы в ее общечеловеческих бесконечных параметрах. Воздействие западноевропейской культуры можно сравнить, пожалуй, с выпуском джинна из бутылки или с так называемым «спусковым эффектом», когда незначительное внешнее воздействие ведет к освобождению громадной внутренней энергии.

Поэтому вторым источником русской культуры — помимо культуры западноевропейской — я считаю именно эту недовоплощенность, скрытый, не связанный конечными формами духовно-душевный резерв. Она, эта русская культура, так и осталась в этой недовоплощенной открытости — как вопрос, обращенный к миру.

По-видимому, именно эта ощущаемая и осознаваемая в себе открытость и недовоплощенность позволяла русской духовной элите интуитивно чувствовать такую же внутреннюю непроявленную духовность в большей части русского народа, одновременно ужасаясь наличному его состоянию — распространению воровства, пьянства, хамства, холопства и т. п. («нужно иметь собственный ум, чтобы почувствовать и оценить ум другого» — заметил как-то Д. Дидро). Несмотря на закрытость и традиционность русской земельной общины с господством антиличностного принципа «будь как все, не высывайся» (использованного большевиками при раскулачива-

нии), многие (в том числе А. И. Герцен) видели в ней прообраз и зачаток будущего. И это — несмотря на отвержение и предательство общинниками готовых к самопожертвованию ради них народников.

Картину взаимоотношений с Западом, характерную для русской культуры в целом, можно наблюдать и в истории русской философской мысли, которая пыталась осмыслить сама себя под различными углами зрения. (См. например, книгу: Прот. В. Зеньковский. «Русские мыслители и Европа. Критика европейской культуры у русских мыслителей». 1955, Париж). Оригинальная русская философия — позднее по сравнению с западной философией приобретение (вторая половина или даже последняя треть XIX века). До тех пор глубокие размышления русских мыслителей были более или менее спорадическими, не выделяясь из контекста литературного, мемуарного, эпистолярного и других жанров в самостоятельный жанр философского произведения. В первой половине века в возникавших философских спорах использовали философские аргументы, заимствованные, как правило, в немецкой философии, большей частью, у Ф. Шеллинга и Г. Гегеля. Но едва только появляется русская философия в собственном смысле слова и начинает приближаться к формам построения философского знания, принятым в западноевропейской философии, она тут же их размывает, вырывается из их оков. Русская философия как бы только прикасается к западным формам философствования. Совершенно иное содержание, иная интенция «взрывает» эти формы.

Что же это за содержание и какова эта интенция?

Содержанием, как правило, является *непосредственное* отношение «Человек — Мир», смысл жизни, «последние вопросы». И здесь русская философия чувствует свою глубокую связь с христианством как религией личности и свободы, как со своей собственной основой. Отсюда критика исторического христианства — от патристической литературы до современной социальной роли православной русской церкви. А логические, категориальные, гносеологические и прочие «изыски» западной философии, в большинстве случаев остающиеся в границах отношения «Субъект — Объект», «снимаются», переходя на роль *средств*, инструментов исследования.

Что же касается интенции, то (это особенно важно!) *русская философия обращена к будущему*, открыта этому будущему, им мучается, его с нетерпением ждет, связывая его с судьбой России в Мире.

И здесь — та же открытость, незаконченность, недовоплощенность, слабая тенденция к построению разного рода логик и рациональных систем (в чем часто видели отсталость русской философии) а я вижу неоспоримое преимущество, связанное с «диффузностью мышления», и прорыв вперед, шаг в будущее).

Поразительно, что все кризисы нашего времени, о которых говорилось в этой статье, рассматривались в русской философии уже в конце прошлого, начале нынешнего века, включая, например проблему перенаселения Земли, в связи с чем обсуждались на глубоком метафизическом уровне взаимоотношения полов и формы любви: эротической, каритативной, агапической.

Центром внимания оставался кризис душевно-духовный, связанный с историческим христианством и кризисом исторической церкви.

Главным образом с этой стороны («оскудения души») подвергался критике и новоевропейский образ жизни. Причем в отличие от самокритики Запада, русская философия рассматривала прежде всего его духовный мир с позиции будущего духовного преображения человечества, с сожалением и болью констатируя в душевном строе европейца отмирание тех корней, которые могли бы служить истоком этого преображения.

Предчувствие будущего кризиса как всеобщечеловеческого, осознание, что выходом из него может быть только радикальное душевно-духовное преображение, понимание невообразимой сложности и катастрофичности этого предстоящего изменения — все это придавало эсхатологически-пророческую направленность размышлениям русских философов. В XIX веке на фоне благополучного и в целом благополучно-рефлектирующего Запада это предчувствие выглядело странно и могло связываться с неразработанностью, примитивностью русской философии. Показателем той же примитивности считали ее интуитивность, эмоциональную напряженность, субъективную страстность при сравнительно малом месте, уделяемом строго рациональным логическим построениям. На самом же деле она — сверхрациональная философия, далеко шагнувшая в будущее, оставившая позади рациональные конструкции прошлого. И в то время как Г. Гегель, например, сам признавал, что его философия закончена и есть тем самым философия прошлого, Н. Бердяев настаивал, что философия в наше время должна иметь именно профетический (пророческий) характер, быть обращенной в будущее.

Интересно сравнить впечатления от чтения Гегеля и Бердяева. Читая Гегеля, поражаешься глубине мысли, грандиозности системы, строгому единообразию строения ее во всех ее частях, поразительной эвристической способности и т. д. Но вместе с тем чувствуешь себя ее пленником, связанным, закованным в строй ее категорий. При чтении Бердяева возникает чувство необыкновенной свободы, выхода на простор, взлета. Нет ничего ни в тебе, ни в Мире окончательно завершенного, все возможно. И начинаешь ощущать, что весь Гегель присутствует в Бердяеве, но не в явной форме движения категорий и понятий, а в «снятом виде» — как одна из внутренних пульсаций мысли Бердяева, посвященной не описанию связи категорий, а движению самой жизни. Также присутствуют в нем и рационалист (в плане АБ) Р. Декарт, и мистик Я. Бёме, и многие другие. Ибо не саму философию как таковую исследует Бердяев, а жизнь в ее живом творческом движении к будущему исследуется им с помощью философии.

К сожалению, в данной статье невозможно привести обширный, необыкновенно многообразный, захватывающе глубокий материал русской мысли, относящийся к рассматриваемой теме. Тема эта была центральной для русской литературы и философии. Погружение в мир русской философии вызывает ощущение соприкосновения с мудростью, трансцендентной всем рационально-логическим постро-

ениям. И я думаю, что все это также связано с нашей «недовоploщенностью» в наличном бытии, неукорененностью в нем в конечно определенных формах.

Наконец, мне кажется, что именно эта характерная для русского народа недовоploщенность, нефиксированность в конечных формах сознания, культуры и жизни позволяет говорить и о возможном его будущем. Неудачи попыток специализировать его по восточному или западному образцу, с одной стороны, анализ его душевно-духовной жизни, столь глубоко и разносторонне представленный в русской литературе и философии, с другой, приводят к выводу о его метаисторической «предназначенности» именно к будущему, к предстоящему состоянию безмерности и преображению. В этом, видимо, и может состоять его всемирно-историческая роль.

Представления об этой «предназначенности» жили в России, начиная от идеи Москвы как третьего Рима, и принимали различные, в том числе и мессианские формы мирового водительства — от имперско-завоевательных до жертвенно-покаянных.

Общая тенденция предстоящего духовного преображения человека, новые энергии и формы метаисторической «волны» в разных народах Мира и даже в разных индивидах, в зависимости от личностной готовности, должны вызвать в мире различные изменения. И мне кажется, что на этом трудном катастрофическом пути человечеству предстоит пережить еще одно «расщепление»: на часть (вероятно, меньшую), которая сможет самоизмениться настолько, чтобы принять грядущую эпоху, и часть, которая будет ускоренно деградировать. Состояние безмерности — разрушение всех привычных форм жизни и опасность срыва в хаос — может сыграть роль «чистилища».

Я также думаю, что начаться это «расщепление» должно в России. И более того, оно уже началось. Первым ее этапом было возникновение в России в XIX веке культурной элиты, и, в частности, философии, где осознание предстоящей эпохи уже возникло и потому могло бы стать духовной точкой роста, тянущей за собой всех, кто способен и хочет меняться. Это было харизматическим лидерством, но связанным не с **социально-политической сферой**, а с **духовным** преображением. Можно сожалеть, что это движение было остановлено. Но созданное духовное богатство оставило след как в исторической, так в метаисторической области. Поэтому сейчас можно начинать не на пустом месте, не с нуля.

Существенная часть этого богатства представлена русской философией. Говоря о ее обращенности к будущему, профетичности, следует отметить, что различные концепции и проекты будущего философия строила, начиная от Платона и кончая Марксом. Однако эти проекты всегда касались будущего *общественного* устройства, форм *социальности*. В русской же философии мы впервые встречаемся со светской философией, для которой будущее — это **духовно-личностное преображение самого Человека**, вырвавшегося из плена внешних, давящих на него, идущих из прошлого форм (включая социальные, культурные и даже исторически-церковные), «развоплощающего» эти формы. И сама философия живет в мире этого

будущего, оно для нее основа видения настоящего и размышления о нем. Эта открытость в еще не воплотившееся в конечно определенные формы будущее, эта свобода удерживает от конструирования жестких логических, категориальных, понятийных систем.

Сегодня, мне кажется, об исторической роли России можно сказать, что она — не Мессия, явившийся откуда-то для спасения остального человечества. Она — тот реальный «фокус» истории, откуда могут начаться радикальные изменения, разрушающие старое и создающие новое, наиболее страдающая, болевая, рискующая точка, своего рода Голгофа, соединяющая для мыслящих людей всего мира амбивалентные начала: страх и надежду, отрицание и непреодолимое влечение.

И меньше всего это — торжество великодержавности или национализма. Наоборот, для духовного преображения нужен уход из сферы политического и социального соревнования.

Я думаю, что мир постнеолитического будущего будет миром свободного многообразия форм жизни, при главенстве духовно-личностного творческого начала и в соответствии в нем формирующихся также многообразных форм общественной жизни. Эти формы, а может быть и всевозможные их сочетания, могут быть различными у разных народов, будучи вторичными по отношению к духовно-личностной сфере жизни.

Основой же этого нового Мира должно стать «возвращение» к первичному религиозному отношению «Я — Ты» (в объективированной форме — «Человек — Мир»), обогащенному и наполненному теперь содержанием многотысячелетней истории. В христианстве задано это направление как общемировое. Русский народ, по причине «недовоплощенности», наиболее открыт к принятию этого будущего. (Эта «недовоплощенность» позволяет так много осмыслить в русской истории, что, может быть, есть смысл — если это, в принципе, возможно — писать эзотерическую историю России. Описанная чисто эмпирически, она, как уже отмечалось выше, выглядит хаотично и малопонятно). Только в этом смысле, мне кажется, можно понимать содержание того нового, что Россия может внести в мировое развитие.

Сейчас, когда Россию можно рассматривать как самую неблагополучную в социально-экономическом плане среди больших стран мира, с новой силой неизбежно возникает старый, мучивший русскую мысль вопрос: «является ли русский человек полностью «человеком массы», безвозвратно утратившим духовную глубину и «духовно навеки почившим»? Существовало мнение, что этой духовной глубины и не было, что русский народ принял внешнюю обрядовую сторону христианства, а душа осталась варварски-языческой.

Из текста статьи читателю ясно, что я придерживаюсь противоположного мнения. Предположение о «недовоплощенности» русской души в эмпирическом бытии связано, конечно, с моими субъективными желаниями и надеждами, поскольку открывает некоторую возможность будущего, без чего я не могу себе эмпирическое бытие представить. Но мне кажется, что существуют и объективные осно-

вания для такого предположения, с некоторыми из которых я попытался познакомить читателя.

Философия, как я себе ее представляю, может лишь пытаться усматривать и исследовать тенденции, ведущие к будущему, и чем более общим и отдаленным является это будущее, тем применимее оказывается философский подход. В целевой детерминации самое далекое будущее определяет более близкое, это близкое, в свою очередь — ближайшее. Поэтому без вопросов, поставленных в начале статьи, наше «реформаторство» обречено на действия вслепую в погоне за ближайшими результатами, не учитывая результаты более отдаленные и общие, могущие оказаться решающими.

Например, в свете вышеизложенного ясно, что рыночная экономика, западная демократия, и все, что с ними связано, не могут стать основой русской жизни. Может быть, конечно, России предстоит пережить искус рыночной экономики, как она пережила искус большевизма. Чем это кончилось, мы знаем. Я надеюсь и даже уверен, что «интегрировать Россию в цивилизованный мир» (имеется в виду западноевропейский), сделать основы жизни этого мира своими не удастся — как по причинам, связанным с характером русского человека, так и ввиду разворачивающегося глобального кризиса.

Западный мир, несмотря на еще продолжающееся внешнее экономическое процветание, во внутреннем психическом плане, плане культуры и в отношении к описанным глобальным кризисам уже «дышит на ладан». Это мир прошлого, «мир уходящий» вместе с господствующей научной формой мышления. И никакая смена научных парадигм здесь помочь не может, так как речь должна идти о совершенно новом сознании, в котором научное сознание вместе с отношением «Субъект — Объект» может существовать лишь «в снятом виде», играть подчиненную роль. В этом смысле можно сказать, что даже научные открытия, которые будут сделаны в будущем, уже принадлежат прошлому.

Ориентировать реформаторскую деятельность в России на западную цивилизацию — значит ориентироваться на уходящее прошлое. При любых формах нужно сообразоваться с будущим, начиная с наиболее отдаленного, и учитывать прошлое, из которого мы пришли именно такими, а не другими. А будущее в значительной степени задается глобальным кризисом нашей эпохи.

Важнейшей предпосылкой движения России в будущее я считаю религиозное воспитание — в том смысле, в каком говорилось об этом в статье. Что касается общественных и экономических форм, то они могут быть различными, может быть и многоукладность при обязательном условии их вторичности, служебной роли по отношению к духовным формам жизни и общения.

Я думаю, что может настать время, когда так же, как раньше ездили из России «за порядком» в Амстердам, будут ездить из Амстердама в Россию «за беспорядком», то есть за свободой. Да и сейчас, если иметь в виду свободу не в смысле возможности реализации желаний и целей индивида во внешнем плане, а как несвя-

занность духа определившимися конечными формами, можно, пожалуй, признать Россию самой свободной страной в мире.

Говоря о современных попытках «реформаторства» в России, мне хотелось бы провести аналогию. В психотерапевтической практике часты случаи, когда родители, имея модель будущего для своего ребенка, ломают его собственную индивидуальность, вместо того, чтобы попытаться открыть ее и помочь ей в саморазвитии. Если бы наши политики наконец поняли это, то их целью стало бы **возрождение России в ее уникальном своеобразии**. Разумной политикой России сегодня была бы политика сохранения ее личности и непохожести ни на Запад, ни на Восток, предоставления ей возможности вместо решения чужих задач сосредоточиться на своих собственных, поскольку именно они в наше время и есть наиболее острое выражение задач глобальных. Неплохо было бы задуматься об этом и политикам и бизнесменам Западного мира, действия которых пока что направлены на экономическое использование России и попытки увлечения ее вместе с собой на гибельный путь к недостижимому фукуямовскому будущему.

ПОЧЕМ В ПАРИЖЕ КАРТОШКА?

Читателя, может быть, удивит, что предлагаемое ниже его вниманию эссе Сергея Юрского мы решили поместить в рубрике «Россия», хотя, казалось бы, и по жанру, и по самой фактуре этих страниц самое им место — в разделе художественном. Там, где проза и стихи. Тем более, что и стихи тут тоже есть: не желая разрушать то очевидное целое, которое составляет текст эссе и небольшой стихотворный цикл, написанный Сергеем Юрским в тот же период и не случайно предложенный им нам вместе с эссе, мы решили так все это и напечатать — вместе. То есть, стало быть, и стихи тоже поместить именно здесь, в «России», а не там, где им полагается по штату.

Но читатель, надеемся, за это нарушение традиционного штатного расписания на нас все же не посетует. Потому что то единство чувства, мысли, настроения, художественной интонации, которое скрепляет все эти тексты в некое несомненное и живое целое, — это единство чувств, мыслей и настроений, рожденных одной темой, одной любовью, одним страданием — Россией. Нашей сегодняшней Россией, ее настоящим и ее грядущим. И потому, вопреки всем формальным традициям, нам эта тематическая обращенность стихов и лирической прозы Сергея Юрского, столь к тому же энергично, концентрированно и впрямую выраженная, кажется в данном случае важнее привычного жанрового педантизма. И потому мы и впредь отнюдь не всегда будем считаться с формальными жанровыми границами рубрик — так же, как не считается с такими рамками в своем живом к нам обращении живая жизнь, где сплошь и рядом из одного и того же корня растут и мысль, и быт, и искусство, и работа, и проповедь.

**Сергей
ЮРСКИЙ**

— родился в 1935 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский театральный институт. Народный артист Российской Федерации. Работал в Большом Драматическом театре имени Горького (Ленинград), с 1978 г. — в Театре имени Моссовета (Москва). Много снимался в кино, неоднократно выступал в роли кинорежиссера. Как прозаик дебютировал в 1977 г. книгой «Кто держит паузу». В 1989 г. в издательстве «Советский писатель» вышла книга повестей и рассказов «В безвременье».

Нина Родионова, — вот как ее звали! Я и тогда с трудом запомнил фамилию именно из-за ее простоты.

В прозрачном пустом зале местной галереи картины казались необязательной добавкой к выставке огромных окон, хорошо надрабенного неисхоженного паркета, обвала — ровно до середины зала — солнечного света. Дальше солнце не доставало, слишком высоко поднялось. Там, у стены, в тени, была прохлада. Относительная, конечно, потому что на улице — за 30. Картин немного, и почему-то все одинакового размера: холст, масло, 128×84. Вера Ковалева /род. 1949 г./, и опять — Х. М. 128×84. Марина Павлова /род. 1954/ и вот Нина Родионова, Х. М. /род. 1952/.

В тот год позволили выставлять пейзажи с церковками на заднем плане. Но маленькими и не в центре. Вот их и писали. Осенний пейзаж. Зимний. Интерьер — мать и дочь поссорились, а бабушка вяжет и смотрит с укоризной на обеих, сзади в углу маленькая иконка с лампадой, а за окном — далеко — церковка. Павлова, Ковалева, Кугач... А Родионова писала город — тот самый, который был за окнами, большой сибирский город. Серый дом. Дымное небо. Ровный сквер.

Что же мне понравилось?... Наверное, печаль — без малейшей чувствительности. Не печаль переживания, а печаль самого предмета — города. Он уже начал догадываться, как он уродлив, как неисправим. Конечно, иногда он встает в позу, стряхивает пыль с лацканов и фотографируется для открытки в выгодном ракурсе. Но сам-то, внутри, дома, без свидетелей, он знает, что он — вот такой. Мы живем в этом некрасивом безнадежном городе — и Нина Родионова, и я. Я временно, она постоянно. Прославлять его не за что, осуждать — бессмысленно.

Она была польщена звонком.

— А вам кто дал этот телефон?

— В музее. Внизу.

— Кира?

— Брюнетка. Маленькая.

— Ну, Кира, Кира. Это я у матери — детей привезла. Это вы ей звоните, а у нас телефона нет. Я к четырем буду дома. Вы заходите, если можете. Я еще картинки покажу.

Квартира была обычная, двухкомнатная. Полированная мебель, хрустальные бокалы. Коврик на стене. Фотографии. Игрушечный грузовик под стулом. Ничего не было в этой квартире от мастерской, как в Родионовой ничего не было от художника. Крепкая, круглолицая. Длинные светлые волосы.

— Во-от что вам понравилось... А я ничего такого не думала. Я вообще не думаю, когда пишу. Мне только надо полюбить. — Она выдвинула несколько холстов из-за серванта и стала выставлять их на стульях. — У меня бывает — загрузую холст, он еще пустой, а я его уже люблю. А на другой смотрю, смотрю, — не мой! Я его

отставляю — все равно не пойдет... Ну вот — смотрите. Я чай поставлю пока. А водки не выпьете? Смотрите. Вы мне потом еще что-нибудь скажете. Вы так все разбираете.

Потом мелькнул муж — маленький, нечесаный. Когда он, быстро и угрюмо поулыбавшись, ушел, она объяснила, что он скульптор, и в прошлом году получил пополам с товарищем Госпремию за памятник, а Госпремия была одна за пять лет на всю Центральную Сибирь. Он очень талантливый, но памятник, конечно, сильно подпортили советами и указаниями, и он его разлюбил. Сейчас совсем работать не может.

Еще смотрели... дома... дымы... Выпили водки. И всплыло слово, которое, может быть, объяснило бы всю эту клонившуюся к нелепости историю, и фраза построилась: «В ваших картинах есть что-то метафизическое», — но она, эта фраза, настолько не подходила ни к Нине, ни к этой квартире, а теперь вроде уже и к картинам не клеилась, что я придержал язык. Честно говоря, меня насторожили ее разговоры про любовь к холстам, и можно было ожидать вопроса: «А что такое *метафизическое*?». Я не был уверен, что способен объяснить это слово, не применяя еще более сложных и непонятных.

Мы пили чай и помалкивали. Меня все больше привлекала эта женщина. Нет, совсем не в романном смысле. Просто что-то в ней меня задевало. Она была выпечена совсем из другого теста. Без малейших добавок хандры, неудовлетворенности, протеста. Мы прозябали в одной и той же жизни. Но мне эта жизнь всегда была чужой. А она... она и была самой этой жизнью. Мы были настолько разными, что иногда совсем замолкали и, выпучившись, смотрели друг на друга.

— А давайте устроим встречу, — сказала она вдруг и закинула свои светлые волосы за плечи. — У нас есть дача. Не у меня, конечно, а у нас — у художников. Это в Красных Горах. Вы бывали в Красных Горах? 200 километров отсюда. Там воздух. Я своих приглашу, а вы своих.

Все устроилось. Был назначен день и нанят автобус. Нас была дюжина — художников и актеров. Интеллигентнейшая Кира Мелентьевна из музея была с нами. И ее муж, киноман, который, к моему удивлению, оказался водителем автобуса. Запылили, запрыгали на старой развалюхе. Мотор ревел. Муж, вывернув голову назад и хохоча, выкрикивал:

— Как это в «Двенадцати стульях»?.. «Ударим автопробегом по бездорожью»!

А потом:

— Как это у Высоцкого, «Лучше гор могут быть только горы»!

Все было с собой. В ногах брякали друг о друга шампанские бутылки. Водка была отдельно. Везли кастрюлю с «табака», везли овощи, клубнику (местную, крупную, как слива), везли «все для пельменей». Пыль и тряска прекратились только минут на десять, когда проезжали немецкое село. Тут был автобан и запах яблонь. Потом началось опять.

Когда остановились в брошенной деревне у Красных Гор и веселый муж Киры, крикнув: «Как Крамаров говорил, «Сливай масло!»», — выключил мотор, — тишина оглушила. Солнце стояло высоко. Изумительно голубая речка бежала в камнях.

Пир намечался на широком дворе, под навесом — в доме было тесно и грязно. Нечесанный лауреат Гена — муж Родионовой, вышел на встречу с еще одним скульптором. Они заехали с вечера. Ожидался и другой лауреат — Слава.

Пошли хлопоты, разжигание печи, готовка. Разговор об искусстве на время отложили. А пока выпили по одной, без закуски — в виде аперитива. Первый сюрприз преподнесла одна из наших — из артисток. Разделась и совершенно голая улеглась посреди лужайки прелестями вверх — загорать. А прелести, признаться, были. Провинциальные художники насторожились. Я подошел и, глядя побокее, шепнул:

— Мила, вы бы как-нибудь... не таким крупным планом.

Она приоткрыла один глаз:

— Терпеть не могу, когда белые места из-за трусиков. Загар должен быть ровный.

Родионова улыбнулась и отвела белые волосы тыльной стороной руки:

— Правильно! Натура, натура!

Оба мужа — Нинин и Кирич — выпили по одной и еще по одной. Двое интеллигентов из актеров удалились от греха под предлогом холодать в речке шампанское. Лысый художник принес из дома стул и сел рисовать Милу. Мила открыла оба глаза и, не шевелясь, смотрела, как он работает.

— Как говорится у Моне, — «Завтрак на траве»! — крикнул Кирич муж.

— Не Моне, а Мане, — поправила Кира Мелентьевна. «Завтрак на траве» — это у Мане. Не позорься!

Был полдень.

А часам к двум началось самое. Пили, ели, тосты произносили. Ну, и разговаривали. Больше про кино, меньше про театр. И про их дела: посетителей в музее мало, интереса нет. Худфонд все в своих руках держит, материальная зависимость — полная. Захотят — купят, не захотят — не купят. А Глазунов сверху директиву спускает — купить две его картины по 5000 за штуку. Приказ есть приказ. И касса пуста, на нас ничего не осталось. И так бывает.

Я начинаю:

— Вот безобразия! Да как же так можно! Как же терпеть?

А Нина:

— Ну, если это безобразиями называть, то остальное чем же называть? Нету никакого безобразия. И не бывает. Все, что живет, как бы ни жило, — я все люблю!

— Ну, а вас любят? Зрители у вас есть?

— Вот вы оказались мой зритель. Я и рада. И еще находятся. ЦПТУ купило две картины. А вообще-то я для себя пишу. Я мои

дома люблю, и они меня любят. И хватит. Я удивляюсь даже, что мне за мою же радость иногда еще деньги платят.

— А венгр, а венгр! — напомнила Кира Мелентьевна.

— А! Вот был венгр. Искусствовед из Сехешвехервара. Ему понравилось. Но он не сердцем понял, он все от ума, от рассуждения. Он холодный венгр. Он знаете, что сказал про мои дома? — Нина откинула волосы и загадочно прикусила пухлую нижнюю губу. Глаза сверкали озорно. — Знаете что? Он сказал: «В ваших картинах заключена вся метафизика социализма»!

Я слегка подавился горячим пельменем, но успел засмеяться вместе со всеми. Муж Гена уехал на «Москвиче» встречать на каком-то перекрестке Славу — тот сильно запаздывал.

Пир раскатился вширь. Лысый художник сидел на ступенях крыльца и играл на гармонии. Милу повели блевать в кусты. У всех в руках, как флажки, были громадные красные клубничины. Один из актеров, не находя выхода охватившему его азарту, выкупался в речке, но вода была такая ледяная, что теперь его трясло даже на солнце. Все бродили по участку, что-то пели, что-то выкрикивали, по ходу опять выпивали и закусывали. Длинный стол под навесом превратился в свалку. Мутило.

Мы с Анатолием перешепнулись — водки взято с перебором. Не рассчитали! Опасно. Тайком унесли несколько бутылок и спрятали под сиденья в автобусе. И тут со скрипом была отведена половина ворот, и на цветущем зелено-сиреновом фоне появились едва держащиеся на ногах, но при этом держащие тяжелый ящик с водкой оба лауреата, заросшие, лохматые, а второй еще с нечесаной бородой.

— А вот и мы! — завопили они.

И пошла русская дичь. Сама собой билась посуда. Клубничный сок тек по подбородкам и от запястий к локтям. Клялись и целовались. Хотели все-все-все забыть, но что-то вспоминалось невнятное, и тогда подкатывала к самому горлу обида и злобным криком вырывалась наружу. Головы кружились, и всех кружило по двору. Быстрые руки все тягали и тягали водку из бездонного ящика. Мы с Анатолием, тоже косой походкой, попытались убрать ящик подальше, но беловолосая белозубая Нина вскинулась изумленно:

— Ку-у-да?

— Хватит, пожалуй. — Я мотнул головой в сторону Гены. Он стоял посреди двора, уже весь заросший, с мокрыми губами, и выл, глядя в небо. Звук был страшен.

— Ну, поет! — засмеялась Нина.

— Ему нехорошо, — бормотнул я.

— Да что вы! Он раскрылся! Он такой и есть. Вот он, вот!.. Настоящий!.. — ее глаза закатывались, а рот сверкал смехом. Было ясно — любит. Любит этого маленького зверя. Все принимает. Счастлива! И никаких противоречий. Жизнь!..

Обратно ехали ночью. Ехали мы — актеры. Почти все художники остались гулять — это было только начало. Ехали тяжело. Шофер был

абсолютно пьян, но уговорить его уступить руль было невозможно. Я прижимал к рулю его руки и кричал в ухо — будил. Трясло. Боялись ГАИ. Искали окольные дороги к городу. На краткие минуты был шелковый путь — немецкая деревня. Фонари горят. На каждом крыльце лампочка. Пусто. ...И опять заклацали зубами на ухабах.

Пост проскочили — не тайком, а за взятку, за ту же водку. Вот и город. Уже чуть светало. Разноцветные дымы в небе. Завод цветных металлов, алюминиевый, завод чистого свинца — самый страшный. Пошли окраинные районы. Дома. В окнах зажигаются первые огни — пора на работу. На алюминиевый, на свинцовый... Смена. Вон они, эти дома, которые любит Нина. Их бесконечно много. Сколько будет прекрасных картин.

С фамилией сомневаюсь. Может быть, и не Родионова, может быть, как раз Ковалева. Забываю. Годы прошли. Но звали Нина.

II

Пароходные трубы и трапы Бобура. Музей на месте бывшего центрального рынка — «чрева Парижа». Конструктивизм шестидесятых. Такой стиль называется другим словом, мне не известным. Народу полно. Стоят на каждой ступеньке движущихся лестниц под прозрачными крышами. Однако каждые пол-этажа людей сносит — вправо, влево, — быстро, по-деловому исчезают в туннелях вывернутого наизнанку здания. До самого музея, то есть экспозиции, доезжают лишь группы японцев и празднующиеся единицы, вроде меня.

Тепло. Даже душновато. В Париже в январе тепло.

Уважительная тишина. Поскрипывание ботинок. Имена... Имена!.. Пикассо, Миро, Клее... Сутин (род. в России, 18...), Шагал (род. в России, 18...), Гончарова, Кандинский, Малевич (род... в России). Классики XX. В воздухе легкая примесь дезодоранта. Чуть слышно шуршание мощных вентиляторов. По-птичьи перешелкиваются фотоаппараты — японцы снимают. Это мы на вершине, это мы на горе — яркие и непостижимые прозрения гениев... Все современнее и современнее. Все гуще концентрация... то пятно, то царапина, то вообще ничего... Пошло железо. Ржавое, корявое... Мастера Швейцарии, Японии... и вот наш. Наш пейзаж! Городской. Картина называется:

**«В БУДУЩЕМ КВАРТАЛЕ В НАШЕМ РАЙОНЕ БУДЕТ СДАНО
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

15,7 тыс. м. квадратных ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ

4 ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ

КИНОТЕАТР

2 ШКОЛЫ

БУДЕТ ОЗЕЛЕНЕНО 11,7 га УЧАСТКОВ»

К громадной картине прибиты две настоящие лопаты. Пейзаж знаком и ужасен. Автор знает это, но избегает сатиры или разоблачения. Он констатирует, он выше оценок. Просто — так есть. Так дано.

Об Испании ничего нельзя узнать из картин Миро. Наоборот, нужно знать Испанию, и особенно Каталонию, и еще Париж, и еще эти годы и других художников — и только тогда прозреешь и, кроме ошеломления, получишь право на удовольствие. А на нашей, на нашей-то картине так много рассказано про все наши города, про райсоветы, про язык райсоветских документов, про Нину Родионову, про ее картины, про меня, про того парня... Но только кому много рассказано?! Мне? Потому что я и сам это знаю... Видимо, тоже нужно пожить в России, родиться там. Нужно знать язык с детства, чтобы прочесть и почувствовать это бесконечное название:

«В БУДУЩЕМ КВАРТАЛЕ В НАШЕМ РАЙОНЕ...»

Сильно прижимаясь друг к другу, подошли парень и девушка — вытянутые, тонкие, джинсовые, похужеполые — англичане или американцы. Глянули, пожались, пошлепали дальше на четырех ногах в кроссовках — к прутикам, лежащим кучкой на полу, — работа бельгийского мастера.

Школьники-итальянцы прошли толпой. Один потрогал лопату.

Весьма некрасивая дама в очках размером с две Луны долго глядела на «В БУДУЩЕМ КВАРТАЛЕ...». Но потом также долго глядела в окно, а потом в пустую стену. Видимо, жизнь не сложилась.

Мы шли с Художником по парку Монсо. Солнце грело. Придется повториться — в Париже январь теплый. Художник говорил:

— Идеи здесь никому не нужны. Здесь все уже было, и всего много до бесконечности. Здесь ценятся только безумия. Если ты достаточно безумен и до конца смел в своем безумии, тебя примут и дадут все, чтобы ты творил свое безумие дальше.

— Тебе здесь хорошо?

— Мне дали все.

Он мало изменился с тех пор, как лет десять назад мы сидели в его мастерской на чердаке у Кировских ворот. Даже плашик, по-моему, тот же. Но теперь его ждут — Нью-Йорк, Дюссельдорф, Мюнхен... и Бобур! Его ждут — нет, не толпы зрителей, жаждущие насладиться, не общественность, не «руководящие работники» и не простые люди, желающие знать правду (потому что «простые люди» никогда не желали знать правду и никогда не были простыми людьми), и не интеллектуалы, которые все, что показывают сегодня, видели уже вчера.

— А кто? Кто реально приглашает тебя и ждет? — спрашиваю я. И солнце греет все сильнее, и не только плащ, но и пиджак уже расстегнут. — Кто встречает тебя на вокзале и провожает в аэропорту? Кто смотрит и кто понимает то, что ты делаешь? Кто потребитель?

— Это разные вещи. Платят в конечном счете те, кто имеет деньги: очень богатые люди, ...богатые государства. А понимают и принимают решения только... носы!

— ???

— Гоголь все угадал. Нос! Нос — самый главный. Их на весь мир человек тридцать, этих носов. Я имею в виду в нашем углу, в изобразительном, — тридцать, не больше. Но, наверное, свои носы

есть и в театре, и в кино. Вообще в любом деле появились НОСЫ. Они чуют ветер. Они смотрят все. Они просеивают тысячи явлений, чтобы выбрать... сорок. А из сорока предъявить, как заслуживающие абсолютного доверия, — скажем, восемь. И в ту же секунду начинают просеивать новые тысячи. Нос летит на один день в Мельбурн, чтобы увидеть то, что ему заранее неинтересно, но он обязан это видеть. Нос смотрит внимательно и без расспросов. Решение принимает мгновенно. И его решение приводит в действие сразу все специальные счета богачей, тысячи всевозможных фондов во всех богатых странах, фондов, которые для того только и существуют, и из которых другим способом копейки не вытянешь.

— А если ошибется?

— Кто? Нос? Невозможно. Тогда он не нос. Тогда он исчезает. Ошибок больше нет. Все правильно. Произошла великая перемена — искусство освободилось от зрителей.

— А зрители, стало быть, от искусства?

— Это как хотят. Полная свобода. Есть все и на все вкусы, смотри, что хочешь, или ничего не смотри. Но твой выбор ни на что не влияет, все расставлено. Каждый на своей ступеньке лестницы, и лестниц бесчисленное множество.

— Господи, жуть какая! А сидит где-нибудь в подвале Ван Гог, пишет, пишет.. и никто его не знает. И сидит он в каком-нибудь Якутске или Новокузнецке.

— Не бывает. Достанут. Найдут. Или его место на другой лестнице и ступенька номер 10 999.

Мы расстались, твердо пообещав еще встретиться. Но мне почему-то казалось, что не получится — мы стояли на разных лестницах. Я знал, что уже строится гигантская инсталляция — художественный объект для объединенной Германии — это будет наша коммуналка, на этот раз не на плоскости, а в реалиях. Передняя, комнаты, общий туалет, кухня на всех... Немцы и шведы, и другие, кто хочет, войдут в эту квартиру, пробудут в ней несколько минут и тогда они... что тогда? А это уже не имеет значения. Так будет. Это уже строится.

Дома были хороши. Дома Парижа. Сколько ни иди, удаляясь от центра, от Сены, от островов, — дома хороши. Сверху они плавно закругляются мансардами. Они одеты в камень единой бежево-серой гаммы, но ослепительно расцвечены пятнами сангины на жалюзи, на тентах. Ставни, трубы, балконы... реклама в простенках... синие, желтые, белые мазки... И красное, обязательно красное, не воспаленный кумач, а другой ровно-праздничный оттенок — сангина! Дома стоят плечом к плечу, без промежутков. Пуговцы нижних этажей растегнуты. Дома распахнуты снизу — для ресторанов, кафе, пивных. Одни всасывают в полутьму, в поблескивание зеркал, бутылок, тарелок. Другие, переполняясь, как пену из бокала, изливают на улицу желтые соломенные стулья и белые столики с красными салфетками, гарсонов в передниках, подносы, стаканы, чашки, разноцветные воды, бледно-зеленый свежавыдавленный

кислый до восторга лимонный сок, кофе, сливки, ирландский кофе с алкоголем, торты, печенье, сэндвичи, сыры, сыры, сыры и пиво, пиво, пиво, пиво, пиво!

Дома были хороши. Со старыми деревянными воротами и с современным электронным кодом рядом. И, набрав код, ты получаешь в награду интимный приветливый щелчок — заходи, узнал. И... не скрип, а... почти кошачье урчанье открываемой на хорошей пружине двери.

И... запахи...

Я был почти счастлив, позволив себе на сегодня ни о чем не думать, а просто идти и идти по этому, непонятно каким чудом сложившемуся городу. Единственное, что немного отравляло почти стыдную беззаботность существования, это подозрение: может быть, здесь же, в этой толпе, на этих перекрестках пробегают, едут в машинах, или в метро под землей, или пролетают сейчас надо мной в самолетах в этом облачном весеннем небе — носы!

Экая штука! В Гоголе черт сидит. Всегда это знал. Прикоснешься — и зацеплен, не отпустит. «Нос»-то я не только читал, но и исполнял, почти наизусть знал, и, признаться, в глубине души полагал его гениальной шуткой без особого содержания. Соус для блюда. Вкусно, но само по себе несущественно. И вдруг... батюшки мои! Да вот он — в серебристом «Мерседесе». Уперся взглядом в красный свет на перекрестке — торопится! Пойдите-ка, господин! Имею к вам вопросец. Я выяснить желаю...— Ку-у-уда! Умчался.

А вон другой — с зонтиком, в плаще до пят.— Вы, месье, по какой части разнюхиваете? — Скрылся в толпе.

Ходят, ходят. Расставляют всех по лестницам, эковские номера прищипливают. Среди них и Нос майора Ковалева — тот по нашим, по русским делам. Тела нет, адреса нет, подступа нет — сплошное движение — спешит и нюхает. Он же все за нас решает! Я вот думаю, что иду сейчас плавно вверх от Одеона к Сен Жермен де Пре, а на самом деле? Может, я кубарем вниз качусь по своей лестнице. Может, надо не по улицам шляться, а знакомства затевать, связи налаживать, а, главное, работать, вкалывать! Хоть к той ступеньке привязаться, на которой уже стоишь, какая ни на есть? Чего это я разгулялся? Искать! Искать свое безумие. Работать, работать! Работать? Да другие-то вон — гуляют! Где? Вглядись: никого нет. Толпа пуста! Это одни сумасшедшие туристы, или посыльные, или те, кто уже со всех лестниц слетели и идут сами не знают куда. Сколько знакомых у тебя в Париже? Что ж ты никого из них ни разу на улице не встретил? Зима прошла, весна наступила, друг — Художник, куда там! — исчез в европейских даях, мадам Шрапнель третий месяц говорит, что хорошо бы кофе вместе выпить, да часу не выберет, эмигрант — профессор Нескончаев мечтает познакомиться, но очень занят до осени, не этой осени, а до осени будущего года. Работают люди. Крепко держатся за свои лестницы. Нагрузка не беспредельна — может и подломиться лестница-то. Значит, надо как-то деликатно, но все-таки новых не пускать — хотя бы из гуманизма, чтоб всем вместе не рухнуть.

Домой, домой, на свою окраину, за работу! И солнце вдруг за тучу зашло. Холодным ветром крутануло зонты и подолы. Девушки, в шортиках на полметра выше колена, сменили шаг демонстрационный на ускоренный. Дождем ударило по красным тентам, опустели столики террас.

В метро, в метро! Нищие цыгане пошли толпой — просить и воровать. Слепой нищий играет на саксофоне. Арабы торгуют пыльными орехами, которых не покупает никто.

Померк день.

III

Нетвердой походкой, держась за стену, она спускалась по витой лестнице. Лицо было белое. Как стена. Она ушла с моего фильма и наткнулась на меня — я курил в крохотной прихожей института славянских языков.

— Извините, там душно.

— Вам нехорошо?

— Пройдет. Там душно.

Она присела на ступеньку. Я принес ей воды.

— Видимо, погода меняется, на меня это действует. И потом я посмотрела на нашу жизнь, так все вспомнилось... Вы не обижайтесь, что я ушла. Мне было интересно. Очень знакомо. Там, на экране, душно, и в зале было душно.

— Вы здесь давно?

— Уже давно. Двенадцать лет. Я освоилась... Сперва было трудно.

— А теперь?

Она засмеялась:

— И теперь трудно. — На ее лице стали появляться живые розовые пятна. — Но я стараюсь работать.

— А вы...

— Я художник... скульптор.

— По замужеству уехали?

— Да. Но потом развелась. Здесь много разводов.

— Ну, этого и у нас хватает.

— Да? Много?

— Много. И фильм ведь отчасти про это, про безотцовщину.

— Я поняла... Значит, везде.

За стеклянной дверью, почти вплотную, неправдоподобно медленно плыл автобус. За неимением другого объекта все туристы смотрели на нас. Это был тур для старичков, скорее всего американцы... Почти все лица без морщин, розовые. Седина серебристая, с отливом в синь. Но были и морщинистые лица — тогда морщин много, крупные, каждая отдельно ухоженная. Старики и старухи смотрели на нас внимательно и строго. Не переговариваясь. Все — свернув головы налево. Глухо доносилась микрофонная скороговорка гида — по-английски... Да, американцы.

Автобус попал в пробку и пробирался по сантиметру. Стекла были очень чистые, и стекла двери были чистые. Гигантский автобус закрыл собой все пространство, и было непонятно, кто мимо кого едет.

— Голова кружится, — сказала она.

Автобус наконец уплыл. Впритык шла машина. Но теперь открылась верхняя часть пространства, и стал виден дом напротив. Водитель в очках показывал чистый профиль — смотрел прямо перед собой. Из объекта наблюдения мы превратились в наблюдателей.

— Угу, глаза фокусируются. Полегчало, а то все двоилось.

— А как вы себя вообще здесь ощущаете — дома или на чужбине?

— Нет, уже дома. Я город очень люблю.

— Вы москвичка?

— Киевлянка. Я Киев тоже любила. Но Париж люблю больше. Это, знаете, город — спаситель. Только вот искусства мои никому не нужны, это жаль.

— Не покупают?

— Что вы! Тут ведь галерейная система — попасть в нее очень трудно. О скульптуре вообще говорить нечего. А вот пастель... Я пыталась... да и сейчас захоживаю к одной галерейнице... Знаете, сколько в Париже художников?

— Думаю, много.

— Полмиллиона или больше. Эта галерейная дама мне говорит: давайте животных, это может пойти. Только не агрессивных животных. Обезьян нельзя.

— Почему?

— Ну, не знаю, у них обезьяна — агрессивное животное.

— Вот вы говорите — «у них», значит, не у вас?

— Господи, это я про галерейщиков. Их и правда не понять. Да нет, грех жаловаться. Просто работаю мало — надо же еще и зарабатывать, времени не остается. Или переутомляешься так, что вот в глазах двоится.

— А там, в России, у вас были зрители?

— Тогда казалось, что вот-вот появятся. Мы ведь бунтовали, мы были не в русле. Я в Ленинграде участвовала в этой бульдозерной выставке. Было шумно. А в общем-то мы сами были зрителями друг друга, а народ рвался на запретное.

— Все переменялось, запреты сняли.

— Так теперь, говорят, и зрители отхлынули. Да и попросту — красок нет в Союзе, нечем работать. А здесь дорого, но зато изумительно. И потом — город! Просто — дома. Они живые. Я и свой дом люблю. Квартиру не люблю, у меня плохая квартира, которую я сейчас снимаю. А дом! Подходить к нему — наслаждение.

— А город вы не пробовали рисовать?

— Это не идет. Говорят, лет двадцать назад был спрос. Сейчас нет. О, зашумели — фильм кончился. Жалко, что я не досмотрела. Мне кажется, я бы все поняла. А французы вряд ли. Им это далеко и сложно. Всегда так — что любишь, никому не нужно, а что нужно — никак не полюбишь. Спасибо, что посидели со мной... Прояснилось.

Когда тускнеет день, начинает зажигаться Эйфелева башня. Это происходит медленно, незаметно. Сотни тысяч (а может, миллионы?) каких-то особых ламп... не вспыхивают..., а сперва только обозначаются по всем ребрам башни. И в тот же миг на другой стороне реки чуть подсвечиваются фонтаны и здания Трокадеро. Дневной свет уходит, а лампочки из бесцветных проявляются золотисто-желтыми. Минута за минутой... свет усиливается, а день гаснет. Быстрые сумерки, но еще не ночь. Спектакль продолжается. И тут вступает соло трубы. На набережной под мостом стоит одинокий трубач и выводит торжественную мелодию. Звук чист. Вот почему он стоит под мостом — там резонанс, мощностъ. Конечно, наверху подавали бы больше — вся толпа наверху, а у воды единицы. Каждую минуту он теряет деньги. Но, видимо, он художник, и звучание для него всего важнее.

Вечерняя заря Парижа.

Нищий музыкант аккомпанирует роскошному дорогому представлению. Фон стал черным, но нет конца усилению золотого сияния. Ярче, ярче! Фонтаны сверкают. Башня уже не только обрисована, она обретает светящуюся плоть. Еще, еще...

Есть книги не только об Эйфеле, есть книга об авторе этого света — о том, кто нарисовал четкий сверкающий знак великого города, хорошо видный с далеких мостов, по которым бегут поезда метро, с паровозиков, плывущих по Сене, с самолетов, улетающих в Африку и за океан, и в Москву... Я хотел хоть несколько строк посвятить третьему участнику этого магического действия — безымянному музыканту и артисту.

Трубач! Там, внизу, он уже не виден. Но в этот момент луч проходящего паровозика нащупывает его, стоящего на самой нижней ступеньке лестницы, и неожиданно труба в его руках становится золотой. И самый высокий, самый чистый звук летит над Сеной.

IV

— Я с ними не согласен! — сказал Другой Художник. — Они никуда не ходят, ничего не смотрят. Они говорят, что все блеф и подкуп. Так говорят неудачники, и это неправда. Я смотрю объективно, у меня тут нет корысти — Париж меня не покупает. Но у меня надежный рынок в Нью-Йорке. Париж я стараюсь понять. Тут ходит и прячется истина. Это не обман. И подкупить всех — никаких денег не хватит.

Тут высшие законы! Надо смотреть, просто много смотреть и не делать поспешных выводов. У каждого галерейщика-первача свой профиль и свои клиенты, и если он кого-то выставил, будь спокоен — это все заранее уже куплено и продано, и не за тысячи, а за миллионы, в какие-нибудь частные коллекции, тайные запасники, фонды. Все это может исчезнуть на время, но цены не потеряет. Тут варится будущее. Надо смотреть.

Возбужденный, однажды он сообщил мне по телефону:

— Есть две выставки, пиши адреса. Это ТОП! ВЕРХУШКА! Только не суди, не раздумывай, не сопоставляй! Смотри и знай — в этих галереях верхушка. На сегодняшний день. А там поглядим... И обстановку, обстановку смотри... и не вздумай про себя говорить: мне это нравится, или не нравится, просто знай — это ТОП.

Обе галереи были на рю Дезодриетт, в центре города. Улица маленькая. Табличка галереи тоже маленькая, почти незаметная — высший шик. И галерея спряталась во дворе. Дворик чистенький, с каретой (?). А дверь... стеклянная дверь... нет, она не грязная, помилуй Бог, она... как будто маленько чем-то тронутая. Как будто по ней аккуратно и совсем недавно прошлись салом... но не пачкается. Это какой-то фокус.

Хочу избежать двух оттенков — насмешливости и романтики, но неизбежно впадаю то в одно, то в другое. Потому что я варвар. Попав в мир цивилизации, я защищаю свою автономию варварским оружием — романтикой и насмешливостью. Сами названия — Рио-де-Жанейро, Барселона, Париж, Сена — для меня не просто имена, но романтика. Не могу привыкнуть к их ежедневности. Я вырос в закрытом мире вечной разрухи. И этот праздник нарядной, уравновешенной, устоявшейся жизни для меня чужой праздник.

Я варвар. Я не умею пользоваться телефоном. Оказывается, я просто не знаю назначения этого аппарата. Он существует вовсе не для того, чтобы после тридцати вызовов услышать далекий голос телефонистки и ждать ответа — на какой день и какой час можно заказать желанный город. Он для другого — чтобы из уличной будки, нажав на кнопки, сразу говорить с любой точкой мира, в том числе и с Москвой. В том числе и с Москвой!

Хочется крикнуть: — А у нас иначе, у нас просто по-другому. У нас много веселых и умных людей. У нас душевные застолья. И мы знаем Кола Брюньона, а вы не знаете — никто — своего собственного истинного француза Кола. Мы знаем Париж, даже если никогда не были в нем. У нас очень красивые женщины. У нас очень хорошие актеры и замечательные писатели...

— А вина у вас совсем нет? — спрашивает меня коллега, наливая мне Божоле.

— Сейчас трудности. Сейчас почти нет.

— У вас пьют только водку?

— Сейчас и с водкой плохо... СТОП! Вы меня не так поняли! Это СЕЙЧАС, а вообще у нас много вин! У нас чудесные вина. Одних грузинских больше ста марок. А молдавские, а узбекские, сладкие, а КРЫМСКИЕ! А шампанское... и коньяк, и херес, и мадера...

Не верит! Совсем не верит. Они думают, что у нас вообще ничего нет. Это мы сами наговорили, нажаловались. А у нас просто нет телефона, то есть ЕСТЬ, но он у нас для других целей. Но отношения людские и сами люди есть. И многие наши лучше многих ваших! — вот, что хочется крикнуть, но это уже невежливо... и недоказуемо.

Варвары! Со всеми нашими достоинствами. Цивилизация уехала от нас куда-то вбок, или мы скатились на обочину. И дело не только в их пресловутых набитых товарами магазинах — это только следствие. Дело в том, что, не ожидая Часа, мы сами позволили устроить у себя Страшный Суд, и Божье право решать — кто хорош, кто плох, кому жить, а кому гореть в адском пламени,— доверили людям.

Каждый должен стать ангелом! - таков наш моральный кодекс, превращающий в результате людей в дьяволов.

— Только лучшие получают квартиры!

— Только лучшие поедут в дома отдыха!

— Только лучшие, проверенные могут пересекать границу!

А мы будем проверять всех и решать — которые лучшие. И это уже в сознании и в подсознании, внутри нас.

Такси останавливается... и вторая машина, и третья. Очередь кидается толпой. Но двери не открываются, кричим сквозь стекла, сквозь щели, заполняем анкету:

— Куда ехать?.. Нет, не подходит.

— Сколько дашь?..

— Какими платишь?..

Все не подходит. Только лучшие поедут на такси!.. пойдут в театр... заправят машину бензином 95...

И из самых отверженных, самых обездоленных и угнетенных выработались такие страсотерпцы, такие таланты, такие святые, какие, может быть, Западу и не снились.

Но цена! Цена, которая заплачена и платится ежедневно. Эта всеобщая тягота жизни. Непрерывная проверка «на лучшест» неправым судом общества. Без понимания того, что человек грешен по природе, что предназначено ему самому — САМОМУ — идти дорогой непрерывного выбора между добром и злом. Отступитесь от человека! Всей толпой отступитесь от каждого. Установим законы, но остановим Страшный Суд — день еще не пришел, и нет замены Богу.

Я варвар. Я так трудно и медленно разбираюсь в чужом цивилизованном мире среди этих совсем неидеальных и избранных людей. Я не понимаю слова «кредит». Оно для меня туманно, теоретично. Потому что мне за всю мою жизнь не давали кредита: ведь получка-то после пятнадцати дней работы, и это называется аванс. А зарплата после месяца работы. А как жить первые пятнадцать дней, если я пришел голенький? А я и пришел голенький, как положено. Вот почему мне и не понять слово «кредит».

— Ну и квартира у тебя, ну и обстановка, ну и машина! Это ведь не по зарплате?! Ты еще молодой, не мне чета, ты только начинаешь. Скажи мне, Патрик, скажи, Иоганн, скажи, Марианна,— откуда?

— Кредит.

— Так ты весь в долгу? Вот оно что! Так ты в тисках? Ты, значит, должен непрерывно вкалывать?

— А ты не должен непрерывно вкалывать?

Вот так штука — и я должен! Только я каждое благо должен ЗАРАБОТАТЬ и пользоваться им (если заработаю), когда уже жизнь

к концу покати́лась. А он все блага должен **ОТРАБОТАТЬ**. Он их уже имеет.

Ох, что-то мы напутали. Не зря-торчат наглые и уродливые небоскребы банков и страховых компаний. Да, они не источают благость и любовь. Они выросли на расчете и всякой мерзости. Они впитали ростовщичество, рэкет, жестокость. Они разбухли, как пиявки, но много гнили отсосали из общества. На этом уродство кончается. Они сделали жизнь **ПОЛОГОЙ** — по ней можно идти, а не карабкаться — вверх труднее, вниз опаснее. Для решившихся выделиться — лестницы. Крутые, вертикальные — но **СО СТУПЕНЬКАМИ!**

А у нас другой, родной, способ бытия — яма. Карабкаемся, обламывая ногти и без всякой надежды, потому что стенки очень высокие. А наверху сидят члены Страшного человеческого суда с семьями и приближенными и объясняют, поглядывая вниз, — раз вы в яме сидите, значит, недостаточно хороши, пока еще не ангелы. Как станете ангелами, взмахнете крылами и взлетите. Улучшайтесь!

— Веревку спустите! — кричим. — Лестницу, доски.

— Дефицит, — отвечают.

«А сами-то вы как наверх попали? — задумываемся мы. — Какими подземными ходами? Почему вас там так много, земляки?»

«Варвары в собственном соку» в глухо запечатанных банках — вот какие консервы мы можем поставлять в мир. Если купят. Я варвар. Я из банки. И потому я то романтизирую, то насмешничаю. Насмешничаю над «ними». «Они» — это те, кто у нас наверху. Они всегда «они». И те, кто здесь, на Западе, и наверху, и внизу, и везде — тоже «они». А кто же «мы»? Может быть, «нас» нет, а есть только одинокое «я», которое все старается к кому-то присоединиться, в ком-то раствориться, но в глубине души жаждет отдельности и ни на что ее не променяет?

Нет, в это не верю. Потому что ощущаю иначе: Высший Смысл существует. Существует Высшая справедливость, и она всемирна. Крупинцы этой Справедливости рассеяны в душах. Они роднят. Они и образуют это особенное «мы», ничему больше не подчиненное. И как неправ у нас самостоятельный высший суд над жизнью, так не может быть прав у них высший суд «носов» над искусством.

Высшее — оно и есть Высшее, и не может оно реально воплотиться ни в человеке, ни в группе, ни в обществе.

V

Итак, я толкнул замутненно-стеклянную дверь галереи на улице Дезодриетт.

Бело и пусто. Так и задумано. Стены хороши. Нет, не хороши — выразительны: высокие, метров семь, слегка неровные, нарочито кривоватые. Под ярким мягким светом стена живет светотенями выпуклостей и легких вмятин.

Комната была бы мучительно симметричной, если бы... Ближе к левой стене в полу колодец. Из него растет трехметровый механизм

непонятного назначения. Трубы, цепи, колесики... медь, латунь... благородство обработки. Промышленный модернизм, дизайн столетней давности. Механизм загадочно неподвижен. К экспозиции отношения не имеет.

А экспозиция? Она слегка портит общее впечатление от белой залы, но не слишком. Работы, мягко говоря, не назойливы — небольшие и одинаковые.

Серый квадрат на белом листе.

Еще один — тоже серый, но чуть побольше.

И еще — на этот раз к квадрату прислонен треугольник. Справа прислонен. А вот здесь — слева.

А далее, как вы наверное догадались, квадрат с двумя треугольниками. Справа и слева.

Если любопытство не иссякло, можно осмотреть еще несколько квадратов и перейти к прямоугольникам.

Во втором зале продолжение. Здесь симметрия стен нарушена нишей. В ней — тоже белой и тоже ярко и мягко освещенной — большой стол. На нем компьютер, бумаги, шиватели, папки. И служащий возле стола. Не подымая головы, перебирает папки, проспекты.

Мы вдвоем. «Я» — это посетители. «Он» — это владельцы, организаторы, устроители. «Он» — это (как я знаю заранее) самое престижное искусство сегодняшнего дня. День пройдет, квадраты покинут эти стены, но не исчезнут. С этих стен они могут уйти только в историю, не иначе. Через скандалы, через каталоги на роскошной бумаге с неподдающимися пониманию вступительными статьями, через вернисажи с коктейлями, через дам в вечерних платьях среди бела дня и коротеньких мужчин в умопомрачительных рубашках с бриллиантовыми запонками, через музеи и выставки, но в историю!

«Он», человек истории, не заинтересовался посетителями, то есть мною. А «Я» знал, что спрашивать «зачем все это» — нельзя. Так дано, и этим все сказано. Я чувствовал, что тут какая-то лукавая игра, насмешка, ирония, куда посильнее моей. Квадрат Малевича, конечно, имеется в виду. Но не только он, еще многое, неведомое мне, пропущенное мною. Имеется в виду и этот зал, эти белые стены, и этот день, и эта улица, и я сам в этом зале с моим одиночеством имеюсь в виду.

И все-таки, все-таки... извините за глупость, за варварство, за примитивность... А что это значит? А чем это пахнет, кроме сыроватой штукатурки?

Я уставился на служащего, а он услышал, что шаги мои замолкли, и поднял глаза.

— Ну, что? — спросил я. — Что ты сам об этом думаешь?

— О чем именно?

— Да вот об этом?

— Вам что, собственно, месье, угодно? Каталог? 80 франков.

— Да на кой же черт мне эти квадраты еще с собой уносить!

— Дело ваше.

— Мое. А твое какое дело? Что ты там перебираешь и записываешь?

— Это моя работа. И не плохая, заметьте. Что уставился? Тут серьезные дела. В этих комнатах миллионы шуршат.

— Может статься. Только, сдается мне, не про твою честь.

— А я не о себе. Тут такие люди бывают, ой-ой-ой!

— Чего же сейчас-то пусто?

— Всему есть время. И те, кому надо, его знают. А сейчас так... промежуток... полость... И двери только по традиции открыты. И вот лезут типы невесть откуда, вроде тебя. Таращатся тут... хмыкают... ждут, чтоб я тоже хмыкнул — хреновину, дескать, развесили и радуемся. Не дожدهшься, не хмыкну.

— Конечно, хреновину!

— А вот и не хреновину.

— Полную хреновину.

— Вам, может быть, каталог за 80 франков?

— И каталог у вас хреновина, и работа твоя хреновина.

— Прямо интересно, что тебя сюда занесло и из каких же это глухих мест ты выскочил?

Не было, конечно, этого разговора. Мы просто поглядели друг на друга. Долго и непонятно. Я вышел, потянув за латунную ручку маслянистой двери.

Да, непонятно здесь, на ветру свободы. Сказал же мне Другой Художник, предупредил же — посмотри и уходи, не делай выводов. А я вот стою посреди улицы Дезодриетт и, вместо того, чтобы просто выпить пива, пытаюсь вникнуть — что это было и зачем? Привычка. Или... может быть, мы все, которые с Востока, все немножко правдоискатели? Так это же хорошо?! Хорошо-то хорошо, да только что же тогда никак не доищемся правды-то? Надо было его спросить, этого, в нише, надо было... но неловко как-то...

Здесь можно спросить дорогу, спросить, который час, а вот спросить, даже хорошо знакомого, зачем живем, зачем картина нарисована, для кого он книгу пишет, — нельзя, не стоит... нарушение конвенции. Или не поймет и на последний вопрос только удивится: «Как для кого пишу? Для издательства».

Скажешь в переполненном метро с максимальной по нашим понятиям вежливостью: «Вы, извините, на следующей выходите?», — ответит человек и посторонится, но глянет остро и тревожно. Это я конвенцию нарушил своим вопросом. Это я обмишулился, это я в душу ему полез. Маленько, но полез, а он маленько, но ошетинился. «А вам какое дело, выхожу я или нет?»

Тут нужно сказать: «Я выхожу». Или просто: «Извините». И начинать проталкиваться. Получится вежливо. А вот это вот все: «Кто последний, я за вами. Я отойду на минуточку, вы будете стоять? Запомните меня, скажите, что я занял, а перед вами много занимало? Стоите давно? Неужели так медленно движется? Вот работнички, а? Я пока в кассу займу и на вашу долю, а, если подойдете, вы мне

крикните», — вот этого всего не надо. Человек начинает тревожиться и нервничать.

Каждый свободен остаться один. Даже в толпе. Вообще говоря, это великое дело — никто ни за что не агитирует, никто советов не дает. Здесь ты индивидум. Живи, пользуйся тем, что тебе доступно...

Только вот... именно этой беззастенчивой назойливости начинает со временем не хватать. Кипит жизнь! — красивого много... и дурацкого немало... и смешное случается, и возмутительное — все нормально... но не с кем перемигнуться, головой мотнуть: «Видал, дескать, заметил?» — и получить от незнакомого в ответ кивок и ухмылку.

Самодостаточность! Все устоялось. Даже быстрые смены рекламы, квартир, блюд, товаров, моды, героев дня — это тоже уравнилось, устоялось. Все вместе движется с громадной скоростью, но все вместе (и потому и относительно друг к другу) неподвижно и неприкасаемо. А мимо чего мчимся и куда... на это тоже специалисты есть, они и займутся. Все, что ни есть вокруг (а есть много!), — и быть должно. Отныне и присно и во веки веков... Ну, и аминь.

У нас вечная недостаточность, у них самодостаточность. То недолет, то перелет, никак не в точку.

Догадываюсь — это мысли от тесноты жизни, от детства в коммунальной квартире, от десятилетий если не коммунистического, то коммунального быта.

Но что-то посверкивало такое порой в «коммунальных» людях... Что-то совсем высокое, несмотря на всеобщий атеизм. И не в одном, не в двух, а во многих. И не только в «центрах», а в самых забытых городках или в гигантски разросшихся деревнях, прилепившихся к остову почти рухнувшего оазиса былой цивилизации.

Дома было скудно, хлопотно и безнадежно. Улучшений не предвиделось. И от этой безнадежности шлифовалось (пусть даже вынужденно) удивительное качество — бескорыстие. А ведь в основе всего великого, в том числе искусства, бескорыстие — один из краеугольных камней. Материальная заинтересованность — вещь великая, нужная, чтобы пробудить движение, сойти с мертвой точки, чтоб из болота, из ужаса вылезти. Но она годится для нормализации, для усреднения жизни. А для великого другое нужно. Многое — и другое. В том числе (вот ведь как противоречиво!) — бескорыстие.

Так вот, от скудного дома и во имя чего-то неведомого рвались в бескорыстную деятельность. Сколько погибло! Скольких смяли, а то и затоптали. Но рождались дети, приходили ученики... не останавливалась жизнь этой особенной прослойки, которая читала, думала, тихо творила. Удивительная прослойка, которая способна рождать идеи, прямо противоположные собственным эгоистическим интересам. Потому что для нее собственное было всеобщим, а чужая забота становилась собственной болью.

Так уж давно в России. И, несмотря на сталинизм, традиция не прервалась, выжила — от Герцена, Лунина, Достоевского, Лопатина, Толстого, Чехова до Сахарова, Григоренко, Даниэля, Солженицына и тысяч, тысяч, имен которых не знаю, а лица видел, глаза видел — в зрительных залах на всех широтах и долготах нашей необъятной.

Если их раздавят или если их соблазнят материальной заинтересованностью... нет, этого не может быть, не может. Их слабость непобедима. Давителям, властолюбцам, новым богачам не понять их самоотреченности. Они защищены своей непонятностью. Ангелы? Пришельцы?

Чеховский герой говорит: «Вот таких, как вы, в городе теперь только три, но в следующих поколениях будет больше, все больше и больше, и придет время, когда все изменится по-вашему»...

Не изменилось, не стало... не изменится, не будет. Но и не исчезнут такие, как вы. И не все переместятся в чужие пространства. Будут вечно мучиться и вечно хранить НЕВЕДОМОЕ, НЕНАЗВАННОЕ, но ОЩУТИМОЕ, на всю ширь земли нисходящее.

VI

Вторая галерея тоже была во двореке, и тоже было пусто. Почти: у одной из работ стояли трое и вполголоса переговаривались. Скульптура была из железа. Вернее, железо и было скульптурой. Вертикально стоящий большой лист. Ржавый и неровный. Нижний край погружен в воду. На сухом островке лежит свечка и горит с двух концов. Другие скульптуры были родными братьями первой. Отличались мерой корявости и ржавости, но материал был найден мастером единый — ржавое железо, свечи, грязная вода.

Я снова шел по рю Дезодриетт и свернул к Сене. Город был невероятен. Такое не могли создать люди по своему плану. Такое не мог создать и случай. Это только... это Высший Замысел упал однажды на эту часть мира и осчастливил ее.

По-моему, «Бастий» — лучшая станция парижского метро. Мне нравятся и накладные цветные фигурки на стене — в костюмах времени Великой Революции, но больше всего нравится, что вторая платформа открыта дню, а сама станция на мосту. Виден канал — далеко, далеко, до шестого, седьмого моста. Видны дивные дома набережных, лодки, покачивающиеся на воде. Слева — кусок огромного уродливого здания Новой оперы, но он не мешает: этот город все переваривает и превращает в гармонию.

Я пропускал поезд за поездом. Я сидел на скамейке, курил и ругался вслух. Люди шли мимо — никто не мог понять меня, и здесь не принято делать замечаний. Я ругался, потому что так и не осмыслил этих выставок, которые есть верхушка сегодняшнего дня, а значит, — ТОП. Потому что они никак не совмещались в моей голове с этим городом, с этим временем. Я ругался, потому что в самом прекрасном городе мира я не могу раствориться, а думаю про то, что «все мы вышли из коммунальной квартиры» и наши дети несут в себе эти особенные варварские и непокорные гены.

Непонятно, непонятно, непонятно!.. И робкое предчувствие ни на чем не основанной надежды.

Я был свободен и проявлял себя как свободная личность — ругался, а люди шли мимо, не оборачиваясь, и поезда шли мимо.

Но вот на соседней скамейке шевельнулся заросший бродяга. Он прислушался к моим выкрикам и медленно, нетвердо пошел ко мне. Я немного сбавил тон и следил за его приближением. Он встал передо мной, покачиваясь, и закрыл собой и реку, и лодки, оставив только слева от себя Новую оперу.

— Да, хреновина, полная хреновина, старик! — сказал я.

Он ткнул в меня пальцем, а потом наклонился и приблизил ко мне свое лицо.

— Ты немец! — сказал он по-французски.

Потом выпрямился и крикнул отчаянно:

— И я немец!

Он сам удивился последнему заключению. Вдохнул и вдруг брякнул (по-французски, разумеется):

— Давай выпьем.

VII

В Новосибирске, в столовой одного из бесчисленных НИИ разговорились, стоя в очереди, две интеллигентные женщины. О погоде, о полевом недороде, о детях, о внуках. Когда подошли к раздаче, одна проявила странную неумелость. Не сразу понимала названия блюд, удивлялась слову «бифштекс», глядя на то, что подали, спрашивала какие-то неведомые соки. Вторая женщина помогла, и все уладилось.

Сидели за столиком, ели щавелевый суп. Вторая сказала:

— Да... у нас совсем трудно. А вы, наверное, из Красноярска?

Неумелая женщина потупилась в тарелку с зеленой жижей и сказала, как бы извиняясь:

— Я к родным приехала... Вообще-то я живу в Париже...

— В Париже?!..

Отодвинули щавель и принялись за бифштексы. Местная отломала вилкой кусочек серой массы, поднесла ко рту, но рука вдруг замерла в воздухе. И, глядя в пространство, она спросила:

— А почему сейчас в Париже картошка?

Париж — Москва. Апрель — июнь 1991

* * *

В октябре 1990 года великолепный Джорджо Стрелер пригласил Аллу Покровскую, Толю Смелянского и меня к себе в Милан на конференцию по театральному образованию.

В то же время великолепный врач Н. А. Стрельникова обнаружила у меня пародонтоз и предложила сделать операцию немедленно.

Операция требовала двух недель, в Милан звали всего на неделю.

пародонтоз — прогрессирующее рассасывание костной ткани зубных луночек, сопровождающееся расшатыванием и последующим выпадением зубов.

Милан — крупнейший промышленный и культурный центр северной Италии, столица Ломбардии. Связан прямым авиационным и железнодорожным сообщением со многими столицами мира.

Я выбрал Милан.

Растер немеющие длани,
Спиртного взял немало доз.
Печально осенью в Милане —
Пора дождей, пародонтоз.

Пора выблевыванья сгустков
Нутрянки, гнойной желтизны.
В головке пусто, в легких узко,
Смурные дни, дурные сны.

Все неприступнее и строже
Дома, обвитые плющом.
На завтра все дела отложим
И двинем, скрывшись под плащом

Не в направлении чего-то,
А удаляясь. От чего?
От дома, от Аэрофлота,
От этой жизни кочевой,

От «обещающих контактов»,
Тусовки пожилых людей,
Начал, концов, антрактов, актов,
Улыбок, адресов, идей,

От всей бесплодности искусства,
От всей бессмысленности слов,
От самого себя, от снов,
От тишины тысячеустой.

Бог подал бы, но мы не просим.
Молчу... Пусть будет, как в начале —
Милан, дожди, глухая осень,
Пародонтоз, пора печали.

* * *

«Пока ты пела, осень наступила,
Лучина печку растопила.
Пока ты пела и летала,
Похолодало.»

Иосиф Бродский. «Муха»

здесь, в Милане,
распутываю
гениально скомканный моток
золотой нити

маленькой поэмы Бродского
в этом плане
очень редко вприпрыжку в поток
(вы уж извините —
результат воспитания уродского:
как бы ни был к общению готов,
но обилие собственных мыслей,
а также корневое подробное незнание языков —
все говоришь — вот бы пожить за границей годок,
но проходят годы, и пожил повсюду, кроме Греции, —
кажется, о ней сейчас именно говорят,
об этой самой Греции,
впрочем, говорят обо всем подряд...)
итак, очень редко вприпрыжку в поток
нашей театрально-педагогической конференции

* * *

Миланский Собор потрясает,
а мысли упрямы.

Там, далеко, на Востоке,
в моей стране,
где в апреле восемьдесят пятого
отменили волонтаризм,
отменили волево, резко и даже, пожалуй,
немного волонтаристски,
а потом, уже без приказа,
как-то сам собой, и не без оснований
развился ВАЛЮТАризм —
искренняя и горячая любовь моих соотечественников
к портретам королей, президентов, поэтов, ученых,
изданным большими тиражами
на прямоугольных листках с водяными знаками,
короче,
моя страна
полюбила чужие деньги,
и, как всегда (любить, так любить!),
полюбила безоглядно, до конца,
позабыв прежние привязанности,
полюбила нерасчетливо, всей душой,
ничего не желая для себя,
а просто так — бескорыстно
сжигая себя в этой любви.

Сыновья моей страны
запели серенады под чужими окнами

на чужих языках
с акцентом и даже почти без —
это были странные негордые песни:
они пели о своем нищенстве,
о своей жестокости,
о безжалостности своей...
окна открылись, высунулись чужие лица,
с чужими носами,
с чужими блестящими волосами
и — чужими жестами — стали бросать валюту,
и вещи, и мебель,
и сложную счетную технику почти последнего
поколения,
и даже, временами, продукты,
но с продуктами хуже, потому что
помидор, например, очень трудно поймать,
не раздавив его,
а если раздавишь,
то брызгает, брызгает...
и пятна, пятна на одежде,
и тогда поем о своем неряшестве,
а из окон бросают моющие средства.

Дочери моей страны
стали печальны и раздражительны,
иногда, что для них совсем уж невероятно,
они перестают быть терпеливыми,
выходят на улицы
с многословными труднопонятными требованиями,
криво изложенными на скверной бумаге.

Литовцы моей страны
сильно хлопнули дверью, забыв,
что двери нет, что она не была даже
предусмотрена проектом,
стали быстро (и даже успешно!) строить дверь,
которой уже хлопнули,
и пристраивать к ней стены —
решили жить в отдельной квартире
со своим входом, а, главное, выходом, —
и это правильно! И это возможно! Но...
некоторые проблемы пока остаются,
потому что туалет пока общий.

Латыши моей страны
позвонили по телефону
эстонцам моей страны
и договорились выучить языки друг друга, а пока
говорить по-шведски,

но, так как было плохо слышно и приходилось кричать, то перешли на русский, почти привычный — и так расстроились, что побросали трубки.

Евреи моей страны
перестали притворяться, что они, как все,
перестали скрывать,
что они умнее любого и каждого,
даже Тамошнего, тем более Тутюшнего,
даже Аида, тем более Гоя,
и поехали, поехали
наконец-то без страха, уже с песнями,
уже не через щелочку микроскопического гетто Вены,
а по всем маршрутам
крупнейших аэропортов —
поехали, поехали,
с орехами, с прорехами,
а евреи моей страны, давно уже живущие Там,
совсем Там,
поехали назад, домой, в мою страну —
издавать книги, читать стихи — на родном,
на русском,
только на минутку —
издать, почитать —
и обратно,
и тоже с песнями.

Армяне моей страны...
но об этом лучше не.....
там у них, когда было землетрясе.....
а потом в Баку...
... я жил в этом городе и знал многих... ..
азербайджанцы моей... якуты... .. страны...
старушки
..... моей стра..шно ... подумать, что
... собачки и кошечки старушек моей... ..
цены, цены!... продукты, продукты...
конечно, можно.....
..... но ведь одиночество...
толпы на вокзалах огромной моей.....
... стра дающие беженцы, бегущие отовсюду...

Убийцы моей страны снизили цены на услуги,
потому что
единственное, что подешевело,— это
человеческая жизнь.

Когда-то, довольно давно, один поэт моей страны сочинил песенку: «Это всем моим друзьям строят

кабинеты» — он шутил, конечно,
этот печальный поэт,
а они, друзья, всерьез, и, когда моя страна
перевернулась
с грохотом, как железный ящик с ржавыми гвоздями,
застучали неумелые молотки, и один за другим вышли
друзья поэта в секретари, в депутаты, в учредители...
и еще многие закричали: «Мы тоже, мы тоже
его друзья...
и нам, и нам по кабинету!»

Прохожие моей страны
сступились и еще глубже втянули головы в плечи,
одни шаг ускорили,
другие замедлили,
но никто не поднял глаз и не улыбнулся.

Люди моей страны
заметили, что наступил вечер и наступила осень,
вошли под крыши, под кровли, под потолки, под арки
подворотен,
вошли в подъезды, в коридоры,
на лестничные площадки,
в залы, в квартиры, в комнаты...
торопливо налили, звякая горлышками бутылок
о разную посуду,
и выпили, выпили, выпили —
чтоб быть нам здоровыми...

Там, далеко, на Востоке,
в моей, моей, моей стране.

* * *

делать нечего — демократия,
нет вождей — дождались подарка,
на себя примеряем платье
государственного Гайд-парка.

Я прилетел в Париж 2 января 1991 г. в 8.30
по Москве — работать актером на сезон в
театре Бобиньи. Через три часа — в 11.30
началась первая репетиция. Предстояло про-
жить на Западе зиму, весну и вернуться в мае.
Никогда в жизни и никуда я не уезжал из
дома так надолго. Я был совершенно один,
без переводчика. Впереди была совершенно
новая волнующая жизнь.

«А далеко, на севере — в Париже —
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идет и ветер дует. —
А нам какое дело?»

Пушкин. «Каменный гость»

Возможное будущее воспоминание о Европе. Январь 91.

Январь. Достать чернил и плакать!
Писать о январе навзрыд,
Пока парижской жизни слякоть
Дерьмом летит из-под копыт.

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока, болтаясь здесь, как лапоть,
Вотще ищу, в чем смысл зарыт.

Уж март. Достать чернил и плакать!
Писать о чем-нибудь навзрыд,
Жизнь не разглядывать, а лапоть,
А то опять брожу, как лапоть,
Храня первоначальный вид.

Апрель. Достать чернил и плакать!
В слезах готовить свой отъезд...
Присядем и... чего балакать?! —
Париж вовек не надоест.

Проплакать май, уткнувшись в локоть,
О том, что пролетел апрель,
И выдыхать густую копоть
Ушедшего... Париж...(?!)... Брюссель...(?!)

Июнь. Достать чернил и вылить!
Не говорить и не писать!
Сидеть сычом, веревку мылить...
Все улетело в перемать...

Достать! Но не чернил, а мяса!
И раскалить сковороду!
Поесть, запить... и станет ясно:
Живу во сне, живу в бреду!

Три стихотворения Симону Маркишу,
жившему когда-то в Москве на 2-м Тружен-
никовом переулке у Плющихи, ныне живу-
щему в г. Женеве по случаю 37-летия нашего

знакомства и дружбы. Он встречал меня во
всех городах Запада, куда мне случалось вы-
езжать. Теперь я ехал навестить его в Женеве,
где он преподает в университете.

Поезд Париж — Женева

В этот поезд, где в вагоне
Не задерживался дым,
Где не слышен шум погони,
Я попал уже седым.

В эти страны Парадиза
С этим счастьем даровым,
Где весь мир открыт без визы,
Я попал еще живым.

В это утро, в этот запах,
В эти чистые леса
Я приехал не на Запад,
Я под небо поднялся.

Почему так долго длится
Этот праздничный почин?
Почему на этих лицах
не оставили морщин

Ни заботы, ни утраты,
Ни усталость, ни года —
Розовые, как ребята,
Эти дамы-господа.

Хоть и стар, а вроде молод —
Зубы блещут новизной.
Здесь и холод — как не холод,
Здесь и зной — как бы не зной.

Но сильней мой горький опыт —
Как чужой на все гляжу.
Ах, Россия — недотепа,
Я тебе принадлежу.

Это просто ветер шалый
В мир совсем чужих кровей
Перенес, как легкий шарик,
Всю печаль души моей.

В этот мир, где столько света,
Где, над правдой воспаря,
И зимою тоже лето,
Я попал, как видно, зря.

Как мастер сработал скрипку,
Где нет ни одной скрепки,
Где на благородном клее,
Который сродни елею,
Все части срощены крепко,

Так я бы хотел кратко
И по возможности кротко
Проститься с тобой, брат мой,—
Я уйду обратно.
На голове моей кепка,

Что ты подарил. Лодка
Скоро отчалит. Водки
Выпьем еще — как в песне,
Много прошли мы вместе,
Нынче же чувствую — баста!

В разных мирах жить нам.
Вот подошла жатва —
Наш урожай скудный
Жертвой на День Судный
Врозь понесем. Часто

Вспомню тебя, только
Я не нашел толка
В этом Раю — Штаты,
Франция, или что там?
Я уйду обратно.

Время бежит шибко.
Ты сохрани шапку,
Что я подарил,— шутка,
Конечно, была... Жутко
Мне без тебя — много
Вместе прошли. С Богом!

Давай поцелуемся трижды.
Слезой проблеснет надежда.
Сворачивает дорога.
Ты только держись, ради Бога!
Ну, вот и простились, брат мой.

А это послано уже по почте:

Я никого здесь не оставил,
И ничего здесь не забыл.
Я просто прибыл, убыл, был.
Запомню хлопающий ставень

Среди ночи, пустой мой дом.
Мы делали с успехом дело,
Был быт удобен. Надоело,
И вряд ли вспомнится потом.

Мне жаль вас. Холодность сердец,
Житъе без смеха и печали —
Так показалось мне вначале,
И подтвердилось под конец.
Неволю с волей перепутав,
Спеша в Москву, скажу всерьез:
Встречаю весело, без слез
Последнее в Париже утро.

Предлагая ниже вниманию читателей стенограмму экстренного заседания Правления Московской организации Союза Советских художников (МОССХ) от 23 января 1935 года, занимающую в оригинале 75 страниц (мы публикуем ее с некоторыми сокращениями, которые отмечены квадратными скобками) и хранящуюся в ЦГАЛИ (Ф. 2943, оп. 1, ед. хр. 46), мы хотим воздержаться пока от каких-либо пояснений и комментариев. Пусть читатель сам погрузится в атмосферу середины тридцатых годов и разберется в сути и хитросплетениях жуткого спектакля, разыгранного самой жизнью и не уступающего по своей бредовости самым мрачным фантазиям современного «театра абсурда». Необходимые справки даются в сносках — по ходу выступлений; краткий комментарий — в конце публикации.

СТЕНОГРАММА

ЭКСТРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ МОССХ

от 23/1—35 года

Председатель — тов. ВОЛЬТЕР А. А.

Тов. Вольтер¹. — Товарищи, сегодняшнее экстренное заседание Правления создано по одному весьма важному вопросу, который должен встряхнуть и мобилизовать решительно всех советских художников.

Я предлагаю обратить внимание на работу художника Михайлова². По этой работе мы можем уже совершенно определенно судить о том, что в рядах советских художников не все обстоит благополучно, что в наши ряды проникли явно контрреволюционные силы, которые делают свое подлое дело. Мы очень радовались тому отклику, тому энтузиазму, с которым члены МОССХ отвечали на огромное политической важности событие, на огромную скорбь всей страны, павшую на наши плечи в связи с убийством тов. Кирова. Негодяй Николаев пустил в тов. Кирова контрреволюционную пулю, это

¹ Вольтер Алексей Александрович (1889—1973) — первый председатель Московского Союза советских художников. Член РСДРП(б) с 1908 г. В своей личной анкете писал: «активный участник Октябрьской революции, пока был лишен возможности работать как художник». Один из основателей Ассоциации художников революционной России (АХРР).

² Михайлов Николай Иванович (родился около 1900 г.; год смерти нам неизвестен) — художник, с 1926 г. начал выставляться на 8-й выставке АХРР, последний раз его участие в выставке «15 лет РККА» зафиксировано в декабре 1934 г.

гнусное преступление всколыхнуло всю страну. Мы мобилизовались для того, чтобы запечатлеть великую скорбь пролетарских масс о лучшем борце за революцию. И несмотря на то, что не все товарищи могли попасть к гробу тов. Кирова, чтобы участвовать в зарисовке дорогого образа, все же они откликнулись на это и по своей инициативе создали эскизы, наброски, рисунки к будущей выставке, посвященной памяти тов. Кирова. Но, однако, мы все решительно оказались политически близоруки. Враг пробрался в нашу среду и использовал это очень умело, умно и тонко. Среди врагов контрреволюции оказался и наш член МОССХ — художник Михайлов.

Если взять его прошлое, то оно представляется в следующем виде: он окончил казанскую школу, затем была длительная поездка в Сибирь, на Дальний Восток, где, по его словам, его застало восстание чехо-словаков. Но нам хорошо известно, что в то время, когда готовилось чехословацкое восстание, уже была усиленная тяга интеллигентной молодежи именно в ту сторону — в Сибирь, к белым; оказался вместе с этой молодежью и Михайлов. Я не берусь судить, случайно или не случайно, но факт тот, что он пробыл долго в окружении чехо-словаков, наблюдая все террористические акты, которые совершались над нашими красноармейцами, и это произвело на него, по его выражению, неизгладимое впечатление. Однако и сейчас он изображает только расстрел, разгром революционного движения и никаких побед пролетариата. Давайте припомним все его картины, как это мне пришлось теперь сделать, выставив их в одну шеренгу. Они связаны с разгромом или предстоящим разгромом революционного движения. В картине «Стачка» на падающей тени переднего плана дуло полицейского направлено на вождя революционного движения. Возьмите «Расстрел коммунаров» — и здесь вы видите между головой старого коммунара и этой девушки или женщины оскаленный череп ликующей смерти, впечатление такое, что она радуется, что их сейчас расстреляют. Затем, в картине, что была на юбилейной выставке «Советский художник за 15 лет», «Безработные на Западе» — изображено все бессилие пролетариата в борьбе с обнаглевшим фашизмом.

Затем одна картина, кажется, новая (в его мастерской) — «Ведут на расстрел»: английские войска ведут на расстрел 2-х коммунистов. Как будто сначала кажется, что все симпатии зрителя должны быть на их стороне, но оказывается, наиболее симпатично изображены буржуазные фигуры обывателей, которые смотрят: «повели голубчиков».

Следующая картина — «Не поеду» — так тонко построена, что не придерешься, большевик-машинист стоит у паровоза и говорит: «Не поеду», — а на него белобандиты навели дуло нагана. Опять гибель большевика неизбежна. Везде решительно красной нитью проходит расстрел, поражение пролетариата и кровь, ни одной победы пролетариата, ни одного радостного момента революционного движения художник Михайлов не запечатлел и всюду только торжество угнетателя-белобандита. Болезненное это явление или нет? Человек мистически настроенный — это ясно. Мистика переходит в символизм, и символизм используется для контрреволюци-

онных целей. И вот сейчас мы стоим перед картиной, которая ясно, со всей очевидностью, доказывает свою контрреволюционную сущность.

Как это было вскрыто? Вскрыто это было тем, что с этой картины снята фотография с самыми благими намерениями — мы хотели в журнале «Искусство» поместить статью, мобилизующую нашу художественную общественность, чтоб выставку, посвященную памяти тов. Кирова мы подготовили с большим революционным энтузиазмом. Фактически фотография вскрыла образ смерти, увлекающий за собой вождей мирового пролетариата тов. Сталина и тов. Ворошилова. [...]

Вот, что получается по фотографии. А посмотрите, как скомпонована картина. Тов. Сталин, видимо, со всей скорбью прощается со своим другом. Стоит тов. Ворошилов — по намекам. Стоит тов. Каганович. Между ними четко обрисован скелет, череп. Здесь видите плечи, дальше рука. И эта костлявая рука захватывает тов. Сталина, затем этот блик — рука, которая захватывает за шею тов. Ворошилова. Дальше идет очень подозрительная линия складок, но если приглядеться внимательно к этим пятнам, то получается точно абрис ноги скелета. Вы видите в этом месте утолщение, здесь коленная чашечка, а дальше пяточная кость и нога. На фотографии вы ясно видите то, что было задумано автором. Тут может быть очень хитрая механика. Может быть, живопись в общем построена в расчете на то, что когда сфотографируется, то красный цвет перейдет в серый и тогда совершенно ясно видна пляска смерти, увлекающая двух наших любимейших вождей. Прямо исключительно благоприятная пища для зарубежной контрреволюции, и там это несомненно было бы использовано в своих интересах.

Поэтому я прошу сейчас к этому моменту разоблачения работы художника Михайлова и ко всей его творческой деятельности, которая протекала в течение многих лет и воспринималась нами как работа, направленная исключительно на советскую тематику, — внимательно пригляднуться, обсудить и вынести определенное организационное решение.

Худ. Михайлов. — Тут, товарищи, получилась такая штука, что просто трудно говорить. Он меня в таком виде обрисовал, что единственный выход остался — пулю в лоб пустить. Ужасное положение получилось у меня. Эту вещь я делал, у меня даже не было намека на те фразы, о которых говорил Вольтер. Если получилось мистически — согласен с этим, это просто объясняется тем, что я хотел как-то передать всю трагедию потери Кирова. Я хотел изобразить так, что Киров — это ближайший друг, соратник Сталина, который наиболее остро это чувствует. Я хотел сгустить краски и передать настроение драматизма. Если т. Вольтер нашел целый скелет — это абсурд. Если это получилось, я же сам себе не представляю.

(С места. — Между Сталиным и Ворошиловым, что это за скелет?)

Это намек на толпу. Если бы я знал, что так будут строго к этому эскизу относиться, я бы довел это до конца. Я делал эскиз ровно один день, даже не делал предварительных набросков.

(Тов. Перельман³. — Карандашного наброска не было?)

Нет, я углем намечал на холсте. Если на фото так получилось, то ведь может получиться композиция такая.

Тов. Вольтер. — У вас получилась эта самая нога (показывает образец скелета в книге).

Худ. Михайлов. — Я от всей души говорю. Как может человек объяснить такую штуку? Я старался дать складки, объем их. А почему дал прямые линии — я хотел, чтобы было острее, а не бесформенное. В смысле фона вдали. У меня получился из-за этого фона по колориту и по пустоте мистический эскиз, и это я сам вижу. [...]

Такая вещь получилась, что жуткая штука, из слов Вольтера. Он меня обвинял в том, что у меня нет радостных вещей. Согласен с Вольтером, но это не потому, что я не вижу в жизни радостного, а потому, что меня мучает все эти годы одна тематика — интервенция. Почему я все эти годы ее повторяю. [...]

Перельман. — А сейчас вы видите?

Михайлов. — Не вижу.

Перельман. — Что означало в замысле эскиза это движение руки?

Михайлов. — Это не рука, это головы, уходящие в перспективу. Сделано это намеками. Это для композиции.

Нюренберг⁴. — А то, что складки идут не в ту сторону, а в эту сторону — это тоже для композиции?

Михайлов. — Было бы скучно, если бы я так сделал.

Перельман. — Изломал складку, чтобы оживить композицию?

Михайлов. — Да, если бы я сделал складку так, было бы большое пустое место и нечем было бы его заполнить.

Тов. Ленгулов⁵. — Вопрос, который обсуждается, требует большого внимания и честности. Скажите, что за смысл этих теней в вашей картине, явно изображенных с символической тенденцией? Это повторяется у вас в каждой картине такого мистического содержания, болезненного умирания, пессимизма и пр. [...]

Тов. Кацман⁶. — Меня интересует, почему вы за все это время пребывания в наших рядах никогда не участвовали в общественной работе. Чем вы это объясните?

³ Перельман Виктор Николаевич (1892—1967) — художник, один из активных участников АХРР. Писал в основном портреты стахановцев.

⁴ Нюренберг Амией Маркович (1887—1979) — московский художник.

⁵ Ленгулов Аристарх Васильевич (1882—1943) — художник, один из активных основателей объединения «Бубновый валет» (1910 — 1917), которое в тридцатые годы было объявлено формалистическим. Автор картин «Звон», «У Иверской». После революции вступил в АХРР.

⁶ Кацман Евгений Александрович (1890—1976) — живописец и график. Народный художник РСФСР, член-корреспондент АХ СССР. Один из основателей АХРР, автор картин «Ходоки у Калинина», «Чтение сталинской конституции», «Калязинские кружевницы».

Худ. Михайлов. — Участвовал. Все эти годы я работал в стенгазете, и когда я бросил, у вас вот уже два года нет стенгазеты.

Теперь ответ Лентулову. Эти тени от кино. Это было увлечением кино. Я был под сильным влиянием кино. И когда они там пользовались такими трюками тени, мне это страшно понравилось. Сейчас я сам это жестоко осудил. [...]

Тов. Моор⁷. — Почему вы изобразили здесь затылок?

Худ. Михайлов. — Это лицо.

Тов. Моор. — Это лицо? Почему? Это кость, — почему блик, который лежит здесь, лежит в таком ощущении этого шара? Это может быть только на ясно отражающем предмете. Скажите, откуда появились эти блики и каким образом разбилось это место на такие составные части? Затем складки я бы не разбил на такие сложные составные части. Потом, почему здесь нет ни волос, ни мяса, ничего нет, а есть блик, который определяет совершенно ясно отражающий блестящий шар?

Худ. Михайлов. — Теперь я понимаю — делая эскиз на такие темы, нужно со всей ответственностью относиться и показывать общественности. Это колоссальный урок, и в будущем вещей недоделанных не буду выпускать. Я делал себе эскиз, и здесь был просмотр кулуарный, закрытый, я показывал художникам и не обязан рассказывать все, а мне важна была идея, настроение, момент передать, и когда я давал это пятно, я дал блик — уходящие люди. Если бы я не дал блика, у меня все провалилось бы и все было в одной полосе. Я этим самым отделил это от самой стены. А потом мне хотелось дать свет. Я увлекаюсь Рембрандтом, может быть, здесь я и напакостил. (Вольтер: — Рембрандт никогда не напакостит.) Не в портретах, а в композициях в смысле света дает какое-то состояние такое... Я этот блик дал для того, чтобы дать ощущение света именно с этой стороны (показывает).

Насчет складки — трудно объяснить. То, что я делаю скелет, так это просто у меня в мыслях не было этого, и я это говорю вам со всей искренностью. [...]

Тов. Юон⁸. — Будьте добры сказать, почему над головой тов. Сталина красной краской сделано сияние?

Михайлов. — Это колонна. Это пробел между колоннами. Почему я это сделал? Потому, что выгоднее дать на темном фоне, рельефнее выделяется. Почему красный цвет? Этот красный цвет остался случайно.

Тов. Юон. — Почему, где идет нога и пятка на красном фоне, сделаны черные линии, а на черном — красные?

⁷ *Моор (настоящая фамилия Орлов) Дмитрий Стахивич (1883—1946) — один из родоначальников советского политического плаката («Ты записался добровольцем?», 1920). В дальнейшем активно сотрудничал как карикатурист в журналах «Безбожник у станка», «Крокодил».*

⁸ *Юон Константин Федорович (1875—1958) — народный художник СССР, действительный член Академии художеств, лауреат Сталинской премии. Автор картин «Новая планета», «Штурм Кремля в 1917 г.» и др.*

Михайлов.— Это теперь я тоже вижу. Если это стереть маслом, этого не будет. Я работаю мастехином, и бывает масса случайных мазков.

Тов. Юон.— Вы говорите, что здесь показана не рука, не ключевой шарик у скелета, а головы людей. Значит это перспектива линии удаляющихся голов. Где же, вы считаете, в таком случае ваш горизонт?

Михайлов.— Вот.

Тов. Юон.— Почему же покойник в гробу ниже? Вы не видите противоречий?

Михайлов.— Он сначала был так, но тогда он не был бы виден.

Тов. Юон.— Значит, покойник выше перспективы удаляющихся голов? Ведь это неверно.

Михайлов.— У меня вообще в смысле перспективы по отношению к людям наврано здорово. Но я уже как-то на это внимания не обращал, мне важно было дать настроение. Мне важно было дать эскиз, соотношение цветовых пятен, чтобы самому была зарядка для будущей картины. Если сделаешь строгий эскиз — будет меньше импульса.

Тов. Юон.— У вас точно от черепа идет вниз опускающаяся полоска света на том месте, где надлежит быть спинному хребту.

Михайлов.— Вы все так уж настроены против этой вещи, что за каждой мелочью вам кажется: что-то есть. Это у меня просвечивает холст. Почему я это оставил? Я это имел в виду, чтобы выделить это отношение темного к светлому.

Тов. Кацман.— Вы ведь, тов. Михайлов, были у белых.

Михайлов.— То есть, как так у белых? Я там жил, попал туда.

Тов. Кацман.— Меня интересует — вы там рисовали?

Михайлов.— Нет, я работал по декоративному искусству во Владивостоке и Харбине.

Тов. Перельман.— Может быть вы расскажете подробно весь этот период, что вы делали, где и как?

Михайлов.— Когда я окончил школу в 1918 г., казанскую, то мы с тов. Поповым Вас. Никитичем поехали на Дальний Восток. Это была поездка чисто романтического порядка — мы влюбились оба в девушку и чтобы избавиться от такого чувства, решили хотя бы на край света уехать, и мы с ним поехали на Дальний Восток. По дороге нас застало Чешское восстание, и мы с товарищем решили всеми силами от этой штуки — от мобилизации колчаковщины — освободиться. Скрывались в бараках переселенческих, потом, когда достигли Владивостока, то как-то было трудно и, чтобы избавиться от этой мобилизации, я поступил учителем рисования. В школе я был полтора года. Там имеются все документы. В это время Владивосток был у белых. (Вольтер. — Значит вы служили у белых?) Там часто это менялось. Потом, когда стало труднее, стали мобилизовывать и преподавателей, тогда я решил бежать в Китай, и вот тут мне в этом отношении помог наш товарищ Шабль-Табулевич, который дал мне польский паспорт, и я по этому паспорту уехал. (С места. — Кто был Шабль-Табулевич?) Тоже работал. (С места. — Как же он дал

паспорт?) Я с этим паспортом жил и работал в театре в Харбине. (С места. — Паспорт был подложный?) Я не знаю, это был польский паспорт, и я с ним скрывался. По этим вопросам меня неоднократно в ГПУ вызывали, справки наводили, и все совпадает, как я говорил. Этот товарищ сейчас занимает одно из видных мест на Камчатке. Он работник ГПУ. Организатор партизанского отряда. Он может подтвердить весь наш путь. Сведения эти достаточно известны в ГПУ. А затем, когда красные вошли во Владивосток, я сразу приехал во Владивосток и там работал в театре, оформлял первомайские дни [...], потом приехал специально учиться в Москву. У меня даже имеется специальная выписка, что мне был устроен бенефис в театре для отъезда в Москву. В Москве я поступил во ВХУТЕМАС, но там получилась такая история: меня приняли не на живописный факультет, а на текстильный, поэтому я проучился год не по своей специальности, вышел и стал работать в АХРРе.

Тов. Кацман.— Ведь у белых вы были год-два, почему вы ничего там не рисовали, что, у вас не было потребности? [...]

Михайлов.— Я там чувствовал себя беспомощным. Я даже думал, что я брошу живопись и неспособен к работе [...] кому там картины нужны были, абсолютно никому, там об этом и не думали. Я только окончил школу и о картинах думать не мог, я только думал об этюдах.

Тов. Перельман.— Сейчас, когда мы расспрашиваем вас, угадываете вы, что это скелет?

Михайлов. (смотрит и молчит).

Тов. Вольтер.— Больше вопросов нет. Кто желает выступить?

Тов. Перельман.— Да, случай тяжелый, и он тем тяжелее, что случай этот с Михайловым, за творческим развитием которого мы очень внимательно следили все эти годы, и вот видите, плохо следили. [...] Михайлов здесь уверяет, клянется — не нарочно он делал, нет ничего здесь намеренного, и только после вопроса нашего в упор, вот после всего того, что здесь говорилось [...] я заметил колебание. По-моему он и сам увидел. И для нас всех вопрос, искренно это или нет, фальшив он сегодня, перед нами выступая, нарочито маскируясь, или с ним произошел казус, что он дал очертанием скелета определенную трактовку персонажей, соотношений, и все это получилось случайно. Вообще могут ли быть такие случайные вещи? Я сейчас пока не отвечу на вопрос, намеренно ли сделал Михайлов. Для меня делается абсолютно ясным, что если взять внутреннюю структуру его пути, то это не случайно. Для всех для нас имеет громадное значение то, что происходит, что на закрытом просмотре единодушно у всех художников был положительный отзыв о картине, в том числе и у меня. Правда, когда она висела там на стене, может быть было труднее разглядеть, а когда вниз взяли и еще больше, когда фото смотришь, то все это обнаруживается и делается ясно. Я вспоминаю, когда мы обменивались мнением между собой, то никому из нас, включая и меня, в голову такая мысль не пришла.

(Т. Кацман.— Это неверно.)

Правда, мы говорили, что это все в сниженном тоне, нота пессимизма, но одно дело сниженный тонус и нота пессимизма, а другое дело простая явная контрреволюция, которую мы проглядели.

Я задаю вопрос в присутствии товарищей и в присутствии Михайлова — может ли быть такой момент и такое положение, что художник не намеренно, сам того не желая, мог дать такую контрреволюционную вещь? Я отвечаю просто — не может быть, не допускаю этого. [...] Тяжело мне это говорить, так как я много лет следил за Михайловым, но сейчас, когда я продумываю все это, глядя на этот холст Михайлова — голая контрреволюция. [...]

Ну, хорошо, может быть случайно намек только на голову, на череп или на отдельный штрих, но ведь тут как эта случайность располагается, она начинается здесь (показывает). Она начинается здесь, определенно напоминая череп, и точно нарочно продолжается скелетом!.. Все-таки можно разобраться в случайности. По одной линии идут эти головы, как раз приближенные к фигуре Сталина. Вот почему я начинаю внимательно разглядывать холст. [...] Почему для меня лично это особенно важный случай? Я никогда не скрывал, что я был мистик, идеалист и в моем творческом пути, как у каждого из нас, над этим надо очень серьезно задуматься, — а что если эти проклятые хвостики высунутся при абсолютно полной искренности? Поэтому постоянно проверять себя на этом ответственнойшем пути — первейшая обязанность каждого советского художника. Нам нужно этот случай вскрыть в полной мере, а выводы уж будут сами собой разумеются. Тогда мы придем к выводу, что это не случайно, что это контрреволюция, и мы все это проморгали потому, что были политически не бдительны. И вот тут, когда я смотрю, умом я отвечаю, — не может быть такой случайности. Но я от вас не скрою, что у меня шевелится и такое — а вдруг это ошибка? — не знаю. И опять, когда я смотрю на скелет между Сталиным и Ворошиловым, я думаю, что не может быть такой случайности. Михайлов не дал нам на это ясного ответа. И в вашем выступлении, когда вы пытаетесь нас убедить в том, что это явное недоразумение, которое вы объясняете условиями композиции эскиза и целым рядом других моментов, — не твердо это. Нет в этом уверенности. Бывает так, что выступает человек, и чувствуешь, что он говорит искренно, а у вас этой откровенности, этой искренности не почувствовал. [...]

Я сейчас вместе с делегацией вернулся из Киева, и в наших руках ужасающий материал. Мы наблюдали как формализм смыкается с прямым контрреволюционным фашизмом, с зиновьевскими подонками, с национальной контрреволюцией. Мы наблюдали пример, как контрреволюция в зрительном искусстве пыталась организовать свой лагерь и была разгромлена вдребезги. И после того, что мы пережили, этот ужасный случай с картиной Михайлова. Это должно заставить нас творчески и всячески просмотреть наши ряды, потому что мы должны делать честно и чистыми руками то гигантское дело, которое на нас возложено. Не должно быть ни малейшей фальши. Ведь страшная вещь, если сейчас, на этом случае, вы понимаете ли, мы не сделаем определенных уроков. Вот почему меня это волнует.

И Михайлов не один, за ним шла целая группа: Мирецкий, Люшин и др., за которой укрепилось определенное мнение большинства как о серьезно работающей группе. Поэтому этот один небольшой холст, в котором контрреволюция выражена в этом скелете, поднимает такой вихрь вопросов, так заостряет вопрос о нашей политической бдительности, четких непререкаемых форм нашей борьбы с формализмом, что решение, которое мы должны принять в отношении Михайлова, мы должны специально обсудить.

Тов. Рязский⁹. — По-моему, у большинства глядевших на эту вещь, будет одно и то же впечатление, что между фигурой т. Сталина и т. Ворошилова и т. Кагановича явно замаскированный скелет. Все детали этого скелета налицо, а вывод отсюда, за что эта картина может агитировать. Помимо того, что она по существу своему контрреволюционная, здесь двух мнений быть не может, она может только агитировать за дальнейшие террористические акты над нашими вождями. Только такое содержание картины и только такую трактовку можно увидеть в ней. Я не берусь и вряд ли кто возьмется за разбор этого вопроса, случайно это или не случайно, потому что я, например, думаю, что если это факт, случайно таких вещей не бывает, а если это не факт, то не о чем говорить. Давайте вопрос ставить прямо. Факт? Факт. Значит, вопрос о случайности и не случайности, по существу, отпадает.

И второй вопрос, о котором здесь говорил Перельман, относительно нашей бдительности, что картина была выставлена, она не была обнародована, эскиз был выставлен здесь, и все, по крайней мере, сидящие здесь, видели его и отмечали как положительную вещь. Говорили, что есть элементы мистики и т. д., говорили, но эти элементы как раз больше идут по линии дальнейшего теперешнего нашего представления об этой вещи, а по сути дела считали эту композицию лучшей по отношению, содержанию и т. д., и это мы должны признать все. Все члены Правления МОССХ и художники не могли вовремя заметить этого явления. Значит вопрос о бдительности остается в более суровом для нас значении таким, что мы уже не можем смотреть теперь на вещи, которые делают художники, только по линии качества его выполнения и т. д., ибо ясное дело, что если в области искусства и может быть контрреволюция, она не может быть явной, в наших условиях она может быть только в скрытом виде, и из всего этого, по-моему, нам сегодня надо вынести совершенно определенное суждение и об этой вещи и об авторе, который ее сделал.

Тов. Кацман. — Конечно, каждый из нас, из членов Правления, должен сегодня начать с одного, что глаз наш недостаточно прозорлив, и за это, конечно, каждому из нас должно быть стыдно. Но я должен сказать, что это не у всех. Среди нас здесь присутствует член партии т. Иванов, который тогда же настороженно отнесся к этому

⁹ *Рязский* *Георгий Георгиевич* (1895—1952) — заслуженный деятель искусств РСФСР, автор картин «Делегатка», «Председательница» (1928), член АХРР.

и почти приблизились к истине. Евгений Парфирович — зам. председ. Всекохудожника подозвал меня и сказал: «Посмотрите, разве вам не кажется, что Киров убит, большевики разгромлены, власть сломлена, скрылись в подвал, наскоро хоронят Кирова, чтобы или удачно бежать или подготовиться к защите». Вот что было сказано Ивановым. Надо сказать, что я с этим согласился, но согласился бесхребетно и без достаточной жесткости, не сделав отсюда соответствующего правильного вывода. Я это сообщил, чтобы отметить одну черту, что в этой работе независимо от скелета все что-то отталкивает. [...]

Тов. Перельман говорил, что он внимательно за Михайловым следил. Я вспоминаю, я никогда не чувствовал сердечного отношения к нему, всегда у меня был к нему какой-то холодок. Не тянуло нас друг к другу. А я придаю громадное значение радиоприемочной и радиопосылочной работе мозга и сердца.

Любопытную черту я сегодня отмечаю и обращаю на это ваше внимание. По сути дела, если бы я, Е. Кацман, попал к белым и приехал потом сюда, на землю большевистскую, то первое, что я сделал бы, я начал бы с кошмаров и ужасов там, а Михайлов — ни звука. И драму советского художника он свел на роман с девушкой. Роман с девушкой у каждого человека мог быть, и не один. Я отмечаю это как психологическую черту. Я был генеральным секретарем АХР несколько лет. В этот период Михайлов поступил к нам. И вот сердцем я никогда не сближался с ним. То, что Перельман называл «строй мысли после того, как вы побывали у белых» — вы ни звука не сказали. А это самое главное. [...] На сегодня мучительный для меня вопрос в этом деле, что он АХРовец был. Я все-таки отвечаю себе, что АХРовец он не был. Ведь Николаев, убивший Кирова не был коммунистом. И еще одну черту, которую мне хотелось бы отметить, — он был в левом крыле в кавычках. Это тоже не случайно. Эта мистика, о которой все говорят, говорили и будут говорить, нам к ней нужно быть внимательным, потому что здесь ведь мы сталкиваемся с основным вопросом — с реализмом в искусстве, и когда человек отступает от реализма, он всегда падает. Помните, Белинский сказал: когда не служишь прогрессу, то валяешься. Здесь в свете сегодняшнего дня каким-то особенным могучим светом светятся два Сталинские слова «социалистический реализм», реализм агитирующий за социализм. Тут гениальное содержание. Многие искусствоведы много пишут, что такое социалистический реализм, не удастся нам быть запутанными. Социалистический реализм агитирует за дело коммунизма. Это так же просто, как просты все слова Сталина и Ленина.

Перельман задал три вопроса. Первый вопрос о политической бдительности, я на него ответил. Второй вопрос — не случайно ли. Я это не признаю случайностью. [...]

И третий вопрос, само собою разумеется, не мягко звучит, что его нужно убрать из нашей среды.

(Михайлов. — Это легче всего сделать).

Это не трудно будет сделать. Я думаю, что убрать нужно будет именно потому, что тогда он научится средствами настоящего ис-

кусства, настоящего реализма помогать делу революции. Так что я на 3-й вопрос отвечаю решительно — убрать его из нашей среды.

Тов. Коннов¹⁰. — Я не следил за Михайловым, но знаю его давно. Вот Каменев и Зиновьев тоже выступали на XVII съезде партии и как будто честно говорили, а что оказалось на самом деле? Они выступали как будто честно и говорили полным голосом, а через 6—7 месяцев мы узнали, что это была за честность. Так что какое бы значение имело то, что Михайлов говорил честно, бил себя в грудь и плакал? Лично его поведение в данный момент не может повлиять на ход рассмотрения данного факта. Меня интересует другое — есть ли здесь действительно контрреволюция или нет. Здесь сидит много народа, все это видят, значит факт налицо. Меня не это смущает, смущает другое — здесь очень много коммунистов, и ни один коммунист, в том числе и я, не заметили этого, хотя эта картина висела на стене. Это действительно говорит о том, что мы с некоторых пор ослабили бдительность. Бдительность была, но недостаточная. Мне кажется, что нужно быть справедливым. Многие товарищи расценивали эту вещь как чужую, а мне она всегда казалась исключительно мистической. [...] Я считаю себя виновным в том, что, оценивая так эту вещь, я никому из МОССХовцев не сказал этого для того, чтобы эту вещь сняли.

Над этим нам нужно задуматься. Налицо здесь контрреволюционные, хотя и туманно нарисованные факты, что следующая очередь за Кировым — здесь у гроба стоящих. Это видно. Это открытая контрреволюция, поданная в очень замаскированной форме. Мне кажется, таким фактам не место не только у нас в МОССХ, не только в Союзе Советских художников, стоящих на платформе советской власти [...], но мне кажется, что работникам, дающим такую продукцию, вряд ли место в нашей среде. Мне кажется, что мы это должны констатировать и такой вывод мы сегодня и должны сделать.

Тов. Машков¹¹. — Товарищи, когда мы похоронили Грекова, то вечером мы собрались в ВОКСе с финляндскими художниками. [...] Кацман возвратился после разговора по телефону часов в 12 и сообщил мне печальную вещь — об убийстве Кирова. Понятно, сразу все настроение испортилось. Появилось какое-то состояние, которое трудно сейчас описать. Труп Кирова был еще в Ленинграде, а ощущение было такое, как будто он здесь, какой-то озноб был в теле. Я помню, я узнал, что из 40 человек выбрали 15, в том числе и меня. Я почувствовал гордость, честь и счастье, что я в числе 15 и могу рисовать. (С места. — А Михайлову не разрешили.)

(Вольтер. — Он не был включен.)

¹⁰ *Коннов Федор Данилович* (1902—1942) — московский живописец. Позже был репрессирован и погиб в лагере. Один из основателей АХРР.

¹¹ *Машков Илья Иванович* (1881—1944) — один из основателей объединения «Бубновый валет». До революции писал натюрморты «Московская снедь» и др. После революции вступил в АХРР. Среди работ 1930-х гг. портреты пионеров.

Тов. Машков.— Сеанс мой был с 7 вечера до 7 утра, не разгибая ступней я стоял. Не буду рассказывать, что я видел. Тут и прощание Сталина и всех остальных, помню все детально, тут и звуки симфонии, и в обморок падали, большей частью женщины. [...] И когда я увидел эту картину, она мне страшно не понравилась. Потом сказали, написал Михайлов. Не знаю такого художника. Когда описали — я вспомнил. Вот прав Коннов — это скорей напоминает масонскую ложу. А между тем многим партийцам она нравилась. И вот это видение, даже если бы его не было, все равно мне не понравилось бы. Когда я был в Сергиевской лавре, мне дурно сделалось, так и здесь я не могу смотреть. [...]

(С места.— Как политически вы расцениваете картину?)

Я затрудняюсь что-нибудь добавить к тому, что было сказано. Ясно и безоговорочно это требует осуждения. Картина тогда еще интуитивно мне не понравилась, но я здесь сейчас, после того, как все рассмотрено, я считаю, что нужно вынести ясное и определенное решение, осуждающее то, что в какой-то мере сознательно или бессознательно вывилось реально на холсте. [...] Мне ужасно все это противно. Этот человек (показывает) мне кажется стариком безглазым, безносым, и какая-то растительность на лице, вроде бороды. Так что надо решить окончательно.

Тов. Ленгулов.— Когда мне позвонили по телефону о том, что сегодня экстренное собрание Правления, у меня появилось какое-то предчувствие, создавшее мне неприятное настроение. За последнее время, всем известно, большинство членов Правления мало посещают наши собрания, в том числе и я, может быть, виновен больше, чем большинство присутствующих, но здесь я все бросил и прибежал, и, когда я сюда пришел, я почувствовал после первых разговоров, что что-то случилось очень неприятное в нашей среде. В самом деле, столько бороться, потратить столько сил на то, что мы последние два года добились, и вдруг такой совершеннейший провал. По-моему, не может быть никакого доказательства в пользу того, что это картина случайная. [...] Михайлов всегда был мистичен. И тут громадную роль сыграло отсутствие политической бдительности, благодаря чему мы пропустили эту картину и целый ряд др. Михайлов говорит, что это случайно. Этот силуэт напоминает примитивный рисунок скелета. Посмотрите на фигуру, которая поставлена сзади. Нельзя верить человеку, который поставлен в условия оправдываться. (С мест.— Правильно!!!) То, что Михайлов скажет, нам заранее известно. [...] Слава и честь тому товарищу, к стыду всех нас, в руках которых находилась линия поведения художественного творчества Михайлова, который это заметил. Мы на 17-м году революции не могли заметить давно какой-то скрытый сокровенный смысл в его работе, который должен быть в нашем творчестве ясным. (С мест.— Правильно!!!) Наш соцреализм заключается в том, как сказал Кацман, что у нас не может быть никаких тайн, наводящих на размышление, часто ласкающих взгляд. С формалистической стороны это может быть сделано неплохо, она, может быть, подкупает, волнует, будит какие-то инстинкты. Допустимо ли подобное в

нашем искусстве? Я предлагаю (не обсуждаю лично судьбы Михайлова) ставить вопрос жестким образом. У меня теперь в душе совершается боязнь, я готов за судьбу нашей страны и каждого нашего шага пожертвовать всю свою жизнь. В этом смысле мы должны следить, кто о чем говорит, за каждым нашим настроением, и только этим товарищам может быть место в нашей среде, а к остальным предлагаю самым жесточайшим и решительным образом применить меры, которые требуются.

Тов. Богородский¹². — Надо ли говорить, что наша страна на величайшем подъеме и энергичном наступлении большевиков встречает соответствующее противодействие в ряде сложнейших форм? Сопротивление врага не случайно сейчас так же, как не случаен выстрел в Кирова, являющийся следствием всей эпопеи. Теперь враги идут на те участки, которые особенно сложны, в смысле анализа их, и на нашем фронте изоискусства нашли приют многие враги и партии и советской власти, но мы в нашей среде были чрезвычайно либеральны до последнего времени. Может быть, это можно отнести за счет слабого мировоззрения, может быть, за счет неумения разбираться в деталях вопроса, но мы уже имели на своей практике появления ряда полотен совершенно контрреволюционного образца. [...] Мы были либералами. Сегодня эта история с Михайловым — это наш выстрел в Кирова. [...] Сегодня не может быть места либерализму. [...] Мы прошляпили, проморгали это дело так же, как и многое другое на нашем пути. Сегодняшний факт поможет нам разобраться в этом и сделать нужные оргвыводы. Что касается Михайлова, то его нужно изгнать из нашего союза, чтобы с большим правом и основанием, еще более тщательно просмотреть наши ряды.

Тов. Львов¹³. — Меня спрашивали, какое впечатление произвела на меня эта вещь. Нужно сознаться, что мы либеральны, мы чересчур мягко и деликатно ведем нашу политику на изофронте. Мы думаем, что все принятые в союз — действительно советские художники. За последние годы можно назвать несколько фактов классово враждебных выступлений. Были такие случаи на отчетных выставках по командировкам, на которые я обратил внимание, после чего вещи были сняты. Смотрел на эту вещь и я не внимательно, а каждый член МОССХ должен смотреть внимательно наши творческие вещи и разоблачать тех, кто пробрался в нашу среду. Я не верю, чтобы это явление было случайное, так же как не верю тому, что рассказывает Михайлов относительно своих походов в Сибири. [...] В советском реалистическом искусстве не может быть недоговоренности, все должно быть ясно и понятно каждому. Только там, где есть неясность, может спрятаться враг. Эта вещь представляет из себя определенную шараду, хорошо замаскированную, и трудно думать,

¹² *Богородский Федор Семенович* (1895—1959) — заслуженный деятель искусств РСФСР, член АХРР, председатель МОСХ (1955—1958), участник гражданской войны. Автор картин, посвященных беспризорникам и матросам.

¹³ *Львов Евгений Александрович* (1892—1983) — пейзажист, член АХРР, член партбюро Московского Союза художников вплоть до 1960-х гг.

что сейчас найдется какой-нибудь наивный человек, который будет выступать с открытой контрреволюционной агитацией. Сейчас таких дураков нет. Враг прячется, маскируется, и наш фронт искусства одно из последних убежищ классово враждебных элементов. Сначала была гражданская война, когда завоевали власть, буржуазия начала оказывать сопротивление на фронте экономики, там их разоблачить легче было, они перебрались в область науки, и там разоблачили, осталась последняя область — искусство. Классовый враг у нас окопался и задержался дальше, и это явление не единичного порядка. Классовая борьба на изофронте существовала, существует и будет существовать по мере того, как мы заканчиваем социалистическое строительство. Я думаю, что здесь напрасно совершенно Михайлов сводит свое пребывание у Колчака в течение 3—4 лет к какому-то романтическому эпизоду. Может молодой человек, мальчик убежать от любви куда угодно, но он может пойти и к красным, и к белым. Его тяготение было почему-то в ту сторону.

Я считаю, что эта вещь является недопустимым издевательством, во-первых, над советской страной и партией и над нами — Союзом советских художников. То, что мы допустили в нашей среде подобное политическое хулиганство, так резко выраженное, это первое, и я думаю, что на этом явлении мы должны сосредоточить все наше политическое внимание. Я не верю, что под видом незаконченности, мистического настроения случайно получилась какая-то политическая нелепость. Я этому не верю потому, что художник сперва думает, а потом работает, и не может быть обратного. У него получилось, кроме призрачной фигуры смерти, настроение полной безысходности, изолированности группы от вождя, склонившегося над телом павшего, полная обреченность, и если к ней прибавить символическую фигуру, то она выявляется для нас ясная.

Здесь Михайлов пугал нас, что ему остается только пулю в лоб пустить. Видите, товарищи, мы не такие слабые, чтобы в обморок падать. Пулю в лоб ты не пустишь, мы этого не допустим, но и в своей среде мы тебя держать тоже не будем и нас никто не заставит. Советский Союз советских художников есть союз советских художников, а не антисоветских.

Михайлов пустил реплику, что убрать из союза легче всего. Убрать советского художника из союза очень трудно (с мест. — Правильно, молодец.) И нас никто не заставит это сделать. А держать антисоветского художника в наших рядах мы не будем. У нас может быть только одно предложение — Михайлова за политически безобразный контрреволюционный выпад из союза исключить, а дальнейшее нас не касается.

Тов. Герасимов А.¹⁴ — Прежде всего я считаю необходимым сделать одно замечание — я член Правления МОССХ, выражаясь

¹⁴ Герасимов Александр Михайлович (1881—1963) — народный художник СССР, президент Академии художеств СССР (1947—1957), лауреат 4-х Сталинских премий, автор картин «Сталин и Ворошилов в Кремле», «Ленин на трибуне» и др.

фигурально, только со вчерашнего дня. Но это не снимает с меня вины, прошу принято это во внимание.

Теперь по поводу этой картины. Все знают, какого я держусь направления в живописи. Это могут подтвердить все, кто меня знает. Бывая здесь три раза, я картину эту видел, но не рассматривал. Но для меня было странно то, что представлена картина человеком, который на похоронах не был. И это после того, как был брошен лозунг о соцреализме. Одно я должен констатировать, что большинство принимали эту картину если не с восторгом, то с большим удовольствием. Поэтому я вообще сказал бы, что этот вопрос не следует рассматривать одиночно. Его верно ставили Львов и Ряжский. Тут нужно поставить знак вопроса — а как могла такая картина появиться? Не нужно забывать, что ее апробировало жюри. Я не швырялся никогда словами, а если говорил, то никогда не боялся слов. На открытии выставки Кацмана в присутствии членов Правления МОССХ я Андрею Сергеевичу в общем сказал мое мнение относительно теперешнего состава Правления. И я считаю, что вся эта атмосфера, если она не породила эту картину, то во всяком случае помогла ей висеть на этой стене. И тут нужно призадуматься — нет ли у нас еще таких Михайловых. Этот случай мне, в сущности, представляется таким — вот среди группы людей вдруг оказался один больной чумой, проказой или еще чем-нибудь. Первое движение вполне естественное и нормальное — это изолирование человека, т. е. чтобы он не находился в этой среде. Перехожу прямо к этой картине. Когда я пришел сюда и когда мне сказали — вот, посмотри эту картину, я на нее долго смотрел, сразу ничего не заметил, но когда мне сказали, что полное впечатление того, о чем здесь говорили, налицо, я теперь от этого отделаться не могу. Это говорит за то, что картина, безусловно, представляет собою громадный вред. Лицо, сделавшее эту вещь, должно нести за это все то, что полагается в этих условиях. [...]

Вот вам результат всех этих вещей. Теперь я, кажется, ясно сказал, что нужно в данном случае предпринять. Лицо явно больное должно быть немедленно изолировано, и им должны будут заняться те органы, которым надлежит этим ведать.

Тов. Нюренберг. — Я вот что хотел сказать, что было бы, если бы, предположим, эта вещь не была бы замечена, она была бы отпечатана, несомненно была бы за границей, как все наши вещи, как все то, что попадает в печать. Там очень ревниво следят за тем, что попадает в нашу периодическую печать. Я был свидетелем, как в Париже фотомонтажники склеивали все то, что можно было, подретушировывали. Особые редакции даже есть — это «Иллюстрированная Россия», «Парижский вестник», «Возрождение», они делают чудеса фотомонтажа для того, чтобы скомпрометировать советскую власть. Вы представляете, если бы эта вещь попала за границу. Никакие фотомонтажи, никакие работы никому не нужны были бы, этим кормились бы годы и вред был бы нанесен такой, о котором и говорить не приходится. Это жуткая вещь. Никакие контрреволю-

ционные статьи, вылазки не были бы по акценту и резонансу так крепки, если бы она попала туда.

Тов. Волин. — Ее бы кое-кто и в Советском Союзе использовал бы.

Тов. Нюренберг. — Здесь легче это было бы локализовать, но там этим пользовались бы.

Михайлов говорит, что это случайно. Но кто бы с этим считался? [...] Правильно сказали гг. Кацман и Перельман, что ты, находясь у белых, очень мало рассказал о них, о тех ужасах, которые там делались. Я сам был у белых и я всюду об этом рассказываю, пишу, иначе быть не может. Нейтральных художников тогда не было. Ты должен был рассказать все до последнего момента. [...]

Теперь по поводу самой вещи. Ты сам должен в нашем присутствии честно сказать — случайно это или не случайно. Это не может быть случайно. Посмотри на скелет, как же это получилось? Ты скажешь — мы загипнотизированы, идея-фикс. Ты согласен с этим? (показывает) (Михайлов. — Согласен.) Ты сам согласился. Как же может быть Сталин и скелет, Ворошилов и скелет, Каганович и скелет? Куда ты эту линию предназначаешь? Тут уже говорилось, что члены Правления это прошляпили. Учитывая все это, ты, несомненно, должен понести определенное наказание, и никакие разговоры тут не могут быть.

Тов. Юон. — Здесь было сказано очень много из того, что мне мерещилось, что нужно сказать, я только все это несколько суммирую. [...] Эта вещь принадлежит к числу туманных, неясных, незаконченных, но тем не менее с очень большой ясностью проскальзывают те скрытые замаскированные мысли, которые стали заметны. [...]

В каждом мазке тона, цвета можно вычитать мысль и волю автора, только нужно уметь читать. Одни умеют читать, другие нет, и вот, к сожалению, большинство читать не умеют, а те, кто могут читать, могут вычитать все об авторе. Эта вещь является разоблачающей.

Что касается — случайность это или не случайность, то мне кажется, что здесь целый ряд таких доказательных мест есть, которые слишком явно разоблачают, что это не случайность. Те люди, которые стоят за Ворошиловым и Кагановичем, там головы довольно крупного масштаба, они написаны телесными красками, как Ворошилов и Каганович, а впереди их стоящий образ сделан в уменьшенном масштабе, значит, это не человек, а череп и сделан краской не телесного цвета, а желтого цвета. Неужели же случайно автор подобрал эти краски и сделал их иначе? Нет, это сделано для того, чтобы зритель заметил и чтобы это наводило на мысль, что здесь есть смерть. Основная тема была такая — «обреченные». Вот лейтмотив, который проведен и в колорите, и во всем.

Тов. Григорьев¹⁵. — Товарищи тут настолько единодушно и правильно поняли эту картину, что повторяться сейчас уже не следовало бы. Я хотел бы только остановиться на одном моменте — на символическом изображении в картине. [...]

¹⁵ Григорьев А. В. — один из основателей АХРР. Был репрессирован.

Если возьмете Рубенса, Поль Веронеза, Тициана, там все совершенно ясно и оптимистически, но символика мистическая, которую допустил Михайлов, этот мистический символизм нам не нужен и в нашем советском искусстве не должен иметь места.

Здесь десятка два товарищей выступало, и все увидели скелет, и сам он уже увидел его. Я думаю, что он видел его и до этого. Михайлов оправдывается, чего сейчас не следует делать, а нужно несколько шире сказать, как он подходил и что намеревался этой вещью сделать, это было бы правильнее.

Я не был поклонником, как он сам знает, его вещей. Когда мы ездили с ним в Самарканд в 1929 г., мы беседовали с ним, ведь я учился вместе с Михайловым в казанской школе, но после этого он приобрел большой теоретический багаж. Он начитанный человек. Вы знаете, как он вопрос композиции ставит — это построение нужно для того-то и того-то... Как же этот человек, который написал эту картину, мог бессознательно творить? Я не думаю, чтобы и дальше он укрывался за этой бессмысленностью. Я знаю его, он человек, который работает обдуманно. Надо к этому вопросу жестче подойти и крепче ударить, чтобы это был урок не только для Михайлова, но и всех МОССХовцев. Поэтому впредь нужно каждую картину просматривать внимательно и делать соответствующие выводы. И нужно совершенно твердо сказать — не место Михайлову в Союзе художников.

Тов. Белянин¹⁶. — [...] Посмотрите, как Михайлов рисует лицо Сталина. Мы знаем, что Михайлов умеет рисовать. А вот, если бы он не сказал, что это колонна, я бы не знал, что это колонна. Когда я пришел на одно из собраний Правления, ко мне подошел Иванов и говорит — какое впечатление на вас производит эта картина? Я говорю — скверное. Почему скверное? Я говорю — где это происходит? Что у нас в Советском Союзе — так вождей хоронят? Я еще тогда высказал такую мысль: я Михайлова знаю, он писал об интервенции несколько тем, из угнетения рабочих, возможно, что у него оттуда, благодаря этим темам, родилась такая мрачность. Теперь, посмотрите, что бросается в глаза с первого взгляда, когда смотришь на эту вещь. Ведь когда хотят сделать карикатуру, что делают. Уменьшают рост и т. д. Первым делом, когда смотришь на гроб, что бросается в глаза? Что это — детский гроб или гроб взрослого человека? Посмотрите фигуру Сталина, стоящего за гробом, он стоит на переднем плане. Что это — нарочно или случайно?

Затем этот свет, который блестит в горизонтальной плоскости, но каким образом попал сюда этот блик? Боюсь, что не случайно. Возьмите, например, такие вещи, как сами колонны, если Михайлов говорит, что это колонны. Почему они пошли косо, почему? Разве у нас вождей хоронят перед падающими стенами?

Я считаю, что эти вещи вредные и автор должен понести сугубое наказание. [...]

¹⁶ Белянин Николай Яковлевич (1988—1962) — пейзажист, член АХРР.

Тов. Юдин¹⁷. — Сегодняшнее заседание имеет глубоко политический характер, очень серьезный, ответственный, и объект этого заседания — картина, о которой идет речь, прежде всего должна быть расценена политически. Мы не младенцы, не политически безразличные люди. По поводу такого исторического события, как убийство тов. Кирова — одного из вождей нашего пролетариата, события, которое воспринято всей страной и всем трудящимся человечеством как одно из скорбных событий, которое вызвало, наряду с печалью, и ненависть врагов, на это событие Михайлов откликнулся совершенно ясно с сочувствием и поддержкой тех врагов, которые стреляли в Кирова. Вот какой политический смысл, и другого смысла нет. Все попытки говорить, что это случайно и проч., товарищи художники доказали, что это не случайно. Все элементы, о которых может идти речь, что это случайность, как-то выстраиваются в одно целое и Михайлов говорит, что и он теперь видит скелет. Политическая направленность этой картины состоит в том, что смерть Кирова, у гроба тов. Сталин, тов. Ворошилов, тов. Каганович, между ними скелет, который обхватывает товарищей Сталина, Ворошилова и Кагановича. Киров умер, и ваша дорога туда идет. Иного политического смысла не может быть. Этот эскиз пошел в репродукцию. А как этот эскиз выглядит в репродукции? Еще яснее. Это без ретуши, а если подправить, то будет еще яснее. Никаких двух политических мнений здесь не может быть по поводу этой картины. [...]

Если логически довести до конца, то выходит, что эта смерть обхватит товарищей Сталина, Ворошилова и Кагановича и потащит за собой, потому что движение вперед дано блестяще. Осталось только этот эскиз передать в руки врагов. Такой путь, такая дорога этих людей. Такова логика. Прямо это не сделано, потому что нельзя это прямо сделать — не позволят, а сделано тонко, человек владеет своим делом. Еще больше к тому оснований и говорит за то, что это сделано сознательно, если вы возьмете работу художников другой области — писателей. Что же, писатель будет писать, что убит Киров, такова дорога и других, а потом станет доказывать, что это случайно? [...] Я не знаю, случайностей такого рода не бывает. А такие картины, загадки — дело старое, и этим приемом очень много пользовались в истории живописи и в истории политической борьбы. Я помню, в быв. Аракчеевском поселке, в Чудовском монастыре Новгородской губернии я смотрел картину божьей матери. Когда смотришь с одной стороны, в складках божьей матери совершенно ясно виден профиль Аракчеева; подойдешь с другой стороны и начнешь смотреть с другой стороны, видишь профиль Насти Минкиной, которая с ним жила. Автор очень умело использовал картину божьей матери. Этот прием известен, немало таким приемом пользовались. И это — один из приемов картины, загадки, направленный

¹⁷ Юдин Павел Федорович (1899—1968) — советский философ, партийный и государственный деятель, член КПСС с 1918 г. В 1932—1938 гг. — директор Института Красной Профессуры. Один из творцов теории социалистического реализма.

против нас, против советской власти, открыто против советской власти, но в замаскированной форме. Иного смысла не может быть. Я согласен с товарищами Лентуловым, Кацманом, Юоном и другими, что тут никаких расхождений быть не может, что вся картина сделана в одном плане и сделана очень умело, тонко, с определенной задуманной целью. Мерзавцев у нас много, и одним из таких мерзавцев является Михайлов. (С мест.— Правильно.) И он, мерзавец, выступает против нас. Нужно поступить с ним так, как поступают с мерзавцами революционеры, ему не место в наших рядах.

Тов. Кацман.— Товарищи, я хочу сделать несколько замечаний, которые нам помогут для дальнейшего. Эти замечания такие: Михайлов говорит, что он смотрит, построено перспективно, а ведь это тоже любопытно психологически. Я вспоминаю совсем другое — как Молоков, выступая на Съезде Советов, сказал, что «нам, летающим, сверху видно, как развивается дело социализма». У Михайлова, так сказать, этой привычки смотреть сверху нет. Кстати сказать, и Николаев стрелял тоже снизу и здесь этот выстрел тоже снизу.

Тов. Буш¹⁸.— Я считаю, что сегодня на конкретном случае просмотра, как пришла к своей подлой работе та группа, которая стреляла в Кирова, нужно посмотреть, как пришли мы в этом месте к тому, что мы получили картину, которая, по существу, является в искусстве соответствующей и созвучной этому делу. [...]

Что мы видим в отношении Михайлова? [...]

Когда я была редактором, я работала с ним, мы очень много политически и практически боролись за то, чтобы его искусство перевести на рельсы реализма. [...] Был период, когда на целом ряде работ эти элементы проявлялись. Теперь, в течение полутора лет я не имела столкновений с Михайловым, но один эпизод, который имел место с Михайловым, теперь встает передо мною в новом освещении. Во время встречи с челюскинцами я разговариваю с Михайловым и спрашиваю, над чем он работает. Он был в напряженном состоянии и говорит, что у него много интересной работы, но вообще ни с какими политическими редакторами он работать не хочет, потому что они много путали и мешали творческой его работе. После этого я, понятно, с ним больше не встречалась, потому что мы, критики и политредактора, сделали много ошибок, но все-таки мы к художнику приходим тогда, когда ему можем помочь и способствовать его росту. [...]

Недопустимая ошибка сделана и активом нашего союза, что он допустил эту картину, не разглядел ее вовремя. Еще большую ошибку я допустила, как бывший политредактор, который хорошо знает необходимость этой бдительности, и только когда я увидела фото, меня охватил ужас — какая подлость здесь может быть совершена, если это дело увидит свет. Здесь нам незачем разгораживаться от той ответственности, которую мы несем в смысле недостаточной

¹⁸ *Буш Мильда Генриховна* — искусствовед, совместно с А. Замошкиным издала в 1932 г. книгу о советском искусстве, где была объявлена война формализму. Была репрессирована. Последние годы жила в Латвии.

бдительности, которая выявилась на этой работе, и мы должны принять первое решение относительно Михайлова, что ему не место в союзе. Относительно нас самих тоже нужно принять соответствующее решение, фиксирующее притупление бдительности, которое дало возможность показаться этой картине на стене и которое дало возможность думать, что она может быть еще где-то показана.

Тов. Герасимов С.¹⁹ — Товарищи, дело в том, что я принимал участие, когда просматривали эту работу, среди других и, конечно, несу ответственность за это вместе с другими. Я должен сказать, что я принадлежу к числу тех, на которых на первый взгляд эта работа произвела впечатление. Я приписываю это, может быть, некоторой моей впечатлительности. [...] В ближайшем будущем я мнение к картине Михайлова изменил, но и тогда (я хочу передать впечатление от этой картины) совершенно непонятно выступали красные складки справа. Вся эта картина с построением, чуждым для советского гражданина и художника, все время мне была непонятна, эти красные складки на первом плане меня беспокоили, потому что это не являлось логическим построением этой картины, а теперь это совершенно ясно дополняет идею, которую сюда вложил Михайлов. Поэтому я думаю, что, конечно, это дело не случайное, потому что такой вещи просто по построению самой картины не должно было быть, и Михайлов должен понести все, что он заслуживает.

Тов. Шегаль²⁰. — Когда я увидел эту картину, она произвела на меня большое впечатление, я с самого начала в ней ничего не усмотрел, ничего не увидел. Теперь, идя дальше, никаких колонн я не видел, мне казалось, что эта стена, по которой ходят тени. Придя сюда и рассмотрев ее тщательнее, я уже не могу отказаться, не могу отрешиться от того впечатления какой-то подавленности и ужаса, которую картина несет. Мне кажется, что мною была сделана ошибка большего порядка, т. е. эта подавленность тоже мною не была замечена и характер несоветской реальности мною тоже не был ошущен. Мне кажется, что я эту ошибку сделал, и, очевидно, мне лично просто в своей работе надо будет внимательнее смотреть за такими вещами, когда за одним цветом, мазком нужно будет смотреть, как это идет, что это выражает и т. д. [...]

Всматриваясь в процесс нашей работы, мне кажется, что мы отвлекаемся от того, что мы хотим выразить, у нас есть чисто технический момент; момент содержания, идеи часто отступает, и вот это то предостережение, которое для меня эта вещь выдвигает. Я думаю, что над этим моментом задумаются все. Я думал, а как там, все ли внешне благополучно, все ли в порядке, выражает ли объективно она то, что я хотел высказать. Будь, хотя бы 5% преднамерен-

¹⁹ Герасимов Сергей Васильевич (1885—1964) — пейзажист, народный художник СССР. Автор картин «Колхозный праздник», «Мать партизана».

²⁰ Шегаль Григорий Михайлович (1889—1956) — действительный член Академии художеств. Автор тематических полотен и портретов, написал книгу о колорите в живописи.

ности, это должно нести свой вывод, если полная, то вина страшна и дальше ехать некуда.

Тов. Вольтер.— Никакого заключительного слова мы давать не можем, так как Михайлов не является докладчиком, а является обвиняемым, но если у него есть какие-нибудь мотивы, побуждающие выступить перед общим собранием, то мы ему предоставим время для того, чтобы он мог ответить по существу.

Худ. Михайлов.— Вообще сейчас решилась вся моя судьба. Положение критическое, но у меня почему-то такое состояние, что этот удар сегодня на меня, он мне пойдет на пользу, потому что это моя мистика, я и все время чувствую, я боролся все эти годы, но мне никто так крепко, как вы сказали сегодня, не давал почувствовать, а сегодня я почувствовал. Оказывается, ужасный минус, с которым нужно здорово бороться. Это относится не только ко мне, но здесь очень много товарищей, в среде которых я варился. Я от всего сердца вам говорю, что получилось, я уже сам вижу, ощущение скелета, это не потому, что я хотел, я от всей души это говорю, но это получилось случайно не потому, что так просто, а из всех моих мистических отрицательных свойств, которые во мне были. Я не очень строго реагировал на это, а еще больше окунулся в эту мистику, которая дает возможность трактовать тут черт знает что. У меня не было такой ясности, определенности, которая вообще нужна советскому художнику. Пускай я несу большую утрату и лишусь всех вас, товарищи, но я все-таки постараюсь найти в себе мужество за эти годы опалы найти самого себя как нужного художника. (Уходит из зала).

Тов. Динамов²¹ — Я рад, что могу назвать вас товарищами без всяких оговорок, так как Михайлов вышел.

Сегодня прозвучала замечательная фраза о том, что в Кирова был сделан второй выстрел — художниками. Смысл, конечно, в том, что Михайлов своей картиной снова выстрелил в Кирова. И самое страшное здесь заключается в том, что советские художники и коммунисты не сумели руку, поднявшуюся для выстрела, схватить и позволили, чтобы этот выстрел у вас прозвучал. Когда говорят о классовой борьбе, когда говорят, что классовый враг есть в стране, что из-за рубежа идут нити внутрь страны, что есть какой-то такой враг, который пытается проникнуть в тело нашей страны, то вы думаете, что враг где-то там, а он сидит рядом с вами. Это ощущение близости врага, холодные руки которого протягиваются к каждому из вас, этот враг пытается сегодня бить на жалость, это ощущение врага кое-кем было утрачено. И первый и самый главный урок, который нужно вынести сегодня каждому из нас, это понять, что классовая борьба не вне Союза советских художников, а внутри Союза советских художников также есть, и вы на боевых позициях, и никакого сожаления к мерзавцу у вас быть не может.

²¹ Динамов Сергей Сергеевич (1901—1939) — литературный критик, автор работ по современному и западно-европейскому искусству. Сотрудничал в «Правде», член ВКП(б) с 1919 г. Репрессирован в 1937 г.

Второе — вы боролись с формализмом, у нас были и есть непримиримые, старые борцы с формализмом, но есть успокоившиеся. Понадобилось вмешательство партии, чтобы вам показать, что вот враг, который мешает в живописи, и не случайно, что вражеское в области живописи, в области кино, вражеское в области литературы, музыки сейчас выступает под предлогом поисков каких-то новых форм, набрасывая туман на действительность, искажая действительность, а формализм не может ее не исказить, ибо формализм — это ложь. Нужно довести борьбу до конца, вы ее начали по линии содержания, вы сказали, что формализм враждебен по содержанию, но вы не довели борьбы до конца. [...] Вы успокоились, вы не довели борьбы до конца и главное — не сумели по-настоящему встать на корабль, на котором вы плывете. Вы иногда плывете на двух кораблях, у вас очень неустойчивая команда, у вас есть свои капитаны и есть свои помощники, но у вас часто бывает, что вы плывете на двух кораблях. Запомните, у вас есть единая творческая организация, у вас есть единая идейно-политическая организация, а не две, и если команда во время бури или во время тихой погоды будет пытаться плыть на двух кораблях, у вас ничего не будет. Только путем единства всех художников, идейно-политических художников можно по-настоящему бороться с врагом. [...]

Тов. Волин²².— Товарищи, я слышу, что впервые, оказывается, обсуждается вопрос по существу, который зовет на конкретном совершенно материале к проявлению большевистской бдительности. [...]

Я являюсь начальником нашей советской цензуры. Главлиту неоднократно приходилось сталкиваться с фактами, которые говорили о том, что художники в лучшем случае не понимают того, что творят, а если прямо говорить, если переводить каждое действие, каждого взрослого человека, который творит жизнь в нашей стране, на политический язык, то они делали, несомненно, явные антисоветские и контрреволюционные дела. Я не имею возможности перечислить целого ряда фактов, здесь товарищи говорили, что нам приходится сталкиваться с целым рядом таких явлений в области литературы, много случаев и в области скульптуры, как будто нарочно искажают образы наших вождей, и это идет в массы. Художники, скульпторы проявляют нарочитость, беспечность, граничащие с преступлением. Всякие художественные торговые организации распространяют это, все это идет в массы, все это ставится на стол и в красные уголки, и это не может не вызвать резкого отвращения при виде той или иной скульптуры. Это подлинный контрреволюционный акт. [...]

Я просто на память могу рассказать два случая: нам пришлось просто конфисковать большую альбомную книгу со стихотворениями Жарова, которую иллюстрировал художник Пименов. Почему?

²² Волин (Фрадкин) Борис Михайлович (1886—1957) — литературный критик, партийный и государственный деятель, начальник Главлита (1931—1935), после его статьи «Недопустимые явления» («Литературная газета», 26 августа 1929 г.) началась травля Б. Пильняка и Е. Замятина.

Потому, что там было около 20 рисунков, они были не просто упаднического характера, но они политически безусловно вредные, потому что молодежь, которая там представлена, это какие-то выродки, большеголовые, без мысли. Город Москва — это какое-то грязное болото. Вот такой тип рисунков был в этой книге, которую иллюстрировал Пименов. Это дело дошло до контрольных партийных организаций — и составитель, и Жаров, который это одобрил, все они понесли соответствующее партийное взыскание.

Второй момент — иллюстрация к роману «Мать» Горького. «Мать» Горького, которая является лучшим произведением, дающим картину борьбы рабочего класса в период первой революции, это произведение так было иллюстрировано художником, что в ужас приходишь. Когда перелистываешь книгу (ведь всегда так с нами бывает, не говоря уже о человеке, который впервые берет эту книгу), то первым делом смотришь на иллюстрацию этой книги, и человек, который посмотрел бы на иллюстрации книги «Мать», должен был бы получить ненависть к этой книге, она должна была вызвать отвращение, так были даны типы, иллюстрации. Мать, Павел Власов, типы рабочих так нарисованы, что как будто бы человек хотел специально их опорочить. [...]

В литературе прикидываются дурачками, например, книга Платонова «Впрок» оказалась остро классовой вещью, а была помещена в «Красной Нови». [...] Вот почему, когда мы говорим о впечатлении, мы должны помнить об этой интеллигентщине, о которой говорил и справедливо осуждал Лентулов. Мы — советские люди, способны и должны быть способны обострять наше сознание и нашу бдительность.

Здесь товарищи говорили — новый выстрел. Надо прямо сказать, я хочу продолжить мысль, которую развивал Юдин, эта картина террористическая, если переводить на политический язык. Это призыв к террору, и в этом надо отдать отчет. Вот убит Киров, и в такой беспомощности и обреченности люди стоят, и вот смерть призрака, скелет. Это призыв к террору. Эта картина террористическая, и так ее нужно трактовать. Надо продолжить политическую оценку до конца и поставить над этим точку. Как бы жалостливо сегодня Михайлов ни говорил, они все жалостливо говорят потом. Вы читаете, сколько было опубликовано документов, обвинительных актов, все жалостливо говорят. Этот каналья Зиновьев с опущенной головой стоит перед советским судом, а что же вы думаете, он иначе будет выступать? Михайлов независимо себя держал, пока не выступили крупнейшие представители нашей живописи и не разоблачили его до конца. Это видно из того, кто он был, что делал и как у нас писал. Это белогвардеец, законченным белогвардейцем пришел сюда в вашу среду и белогвардейцем кончает. [...]

Товарищи, классовая борьба не закончилась. [...]

Тов. Литовский²³. — Я тоже, как тов. Волин, работаю на одном из участков пролетарской диктатуры — на контрольном участке

²³ Литовский Асаф Семенович (1892—1971) — до 1937 года начальник Главреперткома, литературный критик и драматург, принимал активное участие в травле Булгакова.

театра, музыки, декоративного оформления и т. д. и т. п. Я должен сказать, что в последние годы наши успехи настолько очевидны и рост культуры настолько велик, что не находится такого оголтелого классового врага, который принес бы пьесу, где было бы написано «долой советскую власть». Делается гораздо тоньше и замаскированное, тем не менее не трудно даже и в многоактной пьесе контрреволюционное прощупать и прочувствовать.

Я первый раз вижу эту картину и обстановки не знаю, в какой эта картина создавалась, просто как зритель я смотрю, я не следовательно и не специалист изо, а смотрю как политический работник и говорю — картина контрреволюционная. Что бы здесь ни говорилось, о чем ни толковал бы Михайлов — подсознательно отразил или сознательно, в данном случае выступает активный классовый враг с явным намерением своими средствами, своим искусством внести посильную лепту в белогвардейскую контрреволюционную агитацию, террористическую работу против нас. Вот что представляет из себя эта картина. Я не совсем согласен с тем, что Михайлов держал себя жалостливо и говорил жалостливо. Что вы думаете, он скажет, что я контрреволюционер и сознательный враг? Ничего подобного. Мимикрия достигает виртуозности. Мы это видели на примере убийства Кирова, мы это видим в повседневной работе в области цензурной, в литературе, и в искусстве, и в театре. Совершенно правильно говорил здесь товарищ, что формализм и всяческие измы, которые достались по наследству от буржуазии, послужили питательной средой и впредь будут питательной средой для такого рода произведений в кавычках. Поэтому правильно ставили вопрос о контрреволюционности этого произведения и контрреволюции Михайлова. [...]

Председатель т. Вольтер.— Товарищи, прежде чем принять резолюцию, я хотел обратить внимание на некоторые моменты, о которых у нас не говорилось.

Прежде всего мне думается, что мы позорно отстали по сравнению с нашими братьями по Украине. Те сведения, которые привезли товарищи, свидетельствуют, что там борьба с формализмом разрешена в гораздо более положительном смысле, там они разоблачены до конца. Мы этой работы не окончили, враг остался недобитым.

Затем второй вопрос — мне думается, что мы сейчас по всему фронту советского искусства и во всех видах наблюдаем очень тяжелую картину — фокстрирующей богемы, и у нас это есть. И не случайно Михайлов попал в такое окружение. Существуют очень замкнутые кружки, которые собираются для того, чтобы танцевать фокстрот. (С места.— Якобы танцевать.) Да, «якобы танцевать», и эту фокстрирующую молодежь из богемы нам нужно тщательно проверить. Мне думается, что тот план, который был намечен, чтобы приступить к проверке творческих исканий каждого отдельного художника,— нужно немедленно и жестоко проводить, не взирая на лица. Я полагаю, что нам нужно сейчас же приступить к чистке состава Правления. Правильно говорил А. Герасимов. Но когда мы

дополняли состав Правления и довели его до 51 человека, то о цели, которая при этом преследовалась, я говорил определенно, что те, кто в Правлении не работает, кто является украшением или балластом, того надо вон из Правления. Слишком большую тщательность и бдительность требует от нас страна, чтобы бездействовать.

Затем, я очень сожалею, что здесь, на таком ответственном собрании очень большая группа членов Правления не только отсутствует, но из присутствующих не выступали, не отмежевались от Михайлова именно те, кто в своих творческих методах и исканиях был близок к так называемому левому фронту изобразительного искусства; это надо было сделать. Кто же выступал? Выступали почти все те, кто всегда борется против заскоков, извращений в нашем искусстве. Все же остальные, с которыми мы сталкиваемся, промолчали.

Я отмечаю, что при принятии резолюции мы не должны быть жалостливыми к Михайлову, который попытался пролить слезы. Надо прямо сказать, что чувствовалось, что что-то творится среди художников вообще, в особенности, когда затребовали выдать нам некоторые картины. Михайлов ушки наострил, и когда мы приехали к нему в мастерскую, то такого идеального порядка мы нигде не видели. После этого мы пошли к Павлу Варфоломеевичу Кузнецову, там мы застали обычную обстановку работающего мастера: валяются краски, холсты, но такого порядка, как у Михайлова, я ни разу не видел. Это был подготовленный прием, заранее предчувствуя, что придут его проверить и ознакомиться. (С места.— Почему он чувствовал?) Я полагаю, что изъятие его картины отсюда дало ему сигнал, а может быть есть лица, определенно симпатизирующие ему. Этот вопрос меня глубоко интересует. Мало того, что он все прибрал, он держал себя так же нагло и независимо, как и здесь, на общем собрании, ведь с чего он начал, он застал кончик моей речи и с места в карьер начал подавать реплики — «вот безобразие, как меня поняли, это чудовищно до мозга костей».

Я думаю, товарищи, что заявив первый раз, что он должен сейчас только одно решение принять — это покончить с собой, он хотел этим взять нас на испуг, а в заключительном слове сказал, что найдет в себе мужество все пережить и он переработается и т. д. Не место ему в нашей среде, и я предлагаю принять следующую резолюцию (читает резолюцию). (После прочтения резолюции бурные аплодисменты).

Теперь, товарищи, перед нами стоит большая работа. Разрешите прежде всего сказать, что аплодисменты можно считать за принятие резолюции, но лучше будет, если мы ее проголосуем.

Кто за то, чтобы резолюцию в том виде, в котором я ее зачитал, принять. (Единогласно.)

Кто воздержался? (Никто.)

Кто против? (Никто.)

Какие есть поправки. Тов. Валеев высказал сомнение вот по поводу чего: «Мы советские художники... и ставим перед государственными органами вопрос о недопустимости пребывания этого

мерзавца в нашей стране». Есть поправка — «среди советских граждан». Нет возражений? (С мест. — Нет.)

В общем и целом резолюция принимается. Добавлений нет? (Нет.)

Тогда, товарищи, разрешите обратить ваше внимание на то, что в ближайшие дни мы продлим наши творческие конференции. [...] Мы должны закончить пейзаж 25-го числа. Затем мы поставим вопрос о прекрасном в искусстве — в порядке беседы. Эту беседу мы проведем при участии С. С. Динамова. [...]

На этом разрешите наше экстренное заседание считать закрытым.

Чудовищная и нелепая история, с которой познакомился читатель, была в 30-е годы известна в Москве и передавалась в нескольких вариантах. Но прежде чем на них остановиться, хотелось бы отметить, сколь выразительно высвечивает она трагедию русской интеллигенции, которую постоянно держали в страхе за собственную жизнь при условии полного обесценивания чужой. Впрочем, мы далеки здесь от того, чтобы кого-либо судить за это, ибо сделать это сейчас легче всего.

Стенограмма эта тайт для современного читателя несколько слоев, ибо мы знаем то, чего не знали участники этого спектакля, — зачем и почему Сталин убил Кирова. И вообще знаем о Сталине столько, что, казалось бы, ничего нового добавить к теме «Сталин — злодей» уже невозможно. Но вот оказалось — можно. Да еще и с таким кафкианским поворотом...

Когда на выставке, открывшейся всего спустя полтора месяца после убийства Кирова, среди множества картин, написанных на эту тему разными художниками (одна из них, принадлежащая кисти П. Соколова-Скала экспонируется и сейчас в Третьяковской галерее), была выделена кем-то из искусствоведов картина молодого ахровца Николая Михайлова, то все были довольны. Как рассказывает один из старейших членов Московского Союза художников Виктор Борисович Эльконин, ее сфотографировали и показали Сталину в числе лучших. Однако в серовато-грязной гамме, которая получается в тоновой фотографии, когда в живописи преобладают красные тона (а именно эти тона были преобладающими в оформлении Колонного зала при похоронах Кирова), Сталину почудился скелет. Скелет, хватающий его сзади за горло. Трудно ли вообразить, что он мог при этом подумать, — он, убежденный, что все концы спрятаны в воду, уничтожены все свидетели и никто не догадывается об истинной сути случившегося? И вот теперь — возмездие?..

Сталин дал указание квалифицировать картину как террористический акт, после чего и состоялось экстренное заседание Правления Союза художников.

Итак, легко можно понять стремление Сталина как можно быстрее разделаться с художником. Но как должно было повернуться сознание тех, кто только вчера никакого скелета не видел и хвалил картину? Увы, общество уже было глубоко заражено социопфренией в

ее шизоидной стадии — со всем характерным для нее бредом кошмарных инсценировок...

Есть и более бытовая версия случившегося. Она исходила от друга самого Михайлова, художника Б. Мирецкого, к которому из-за этой дружбы предъявлялось тогда немало претензий. Ему стало страшно, и тогда у него возникло предположение, которое уже в наше время переросло у Мирецкого в убеждение, что Михайлов до этого писал натюрморт с черепом, а уже потом, поверх него, поскольку не было под рукой чистого холста, написал картину «Сталин у гроба Кирова»... Проступивший сквозь новую живопись череп и увидел какой-то бдительный редактор. Но, увы, в стенограмме нет ни малейшего намека на этот простейший ответ, которым в целях самозащиты непременно воспользовался бы и сам обвиняемый...

Правда, в стенограмме речи нет и о Сталине. Но мы знаем, что он творил свои жуткие дела руками подручных, которых потом же и убирал. Во всяком случае, мы видим, что на экстренное заседание помимо членов Правления было вызвано (и это, конечно, не случайно) внушительное подкрепление — в том числе и специально приглашенные комиссары: «начальник цензуры» Б. Волин, известный философ П. Юдин, сотрудничавший в «Правде» С. Динамов, начальник Главреперткома А. Литовский, выведенный, как известно, Булгаковым в «Мастере и Маргарите» под фамилией Латунский. Кстати, здесь возникает — или, во всяком случае, явно напрашивается — и еще одна булгаковская ассоциация: ведет экстренное заседание первый председатель МОССХа Алексей Александрович Вольтер, заставляющий — особенно рядом с Литовским — вспомнить председателя Массолита Михаила Александровича Берлиоза. Булгаков дружил со многими художниками, наверняка слышал неоднократно в соответствующем освещении фамилию Вольтера, и вполне возможно, что именно она и трансформировалась в фамилию Берлиоза; осталось и общее отчество.

Картина Михайлова была уничтожена (а то, быть может, мы тоже занялись бы поисками скелета?), ее автор был арестован. К сожалению, нам пока ничего не удалось узнать о его дальнейшей судьбе.

Документ, конечно, страшный и горький. Больно читать выступления таких известных и замечательных художников, как А. Лентулов, И. Машков, С. Герасимов. В стенограмме нет перечисления всех присутствовавших на заседании членов правления, из которых выступила почти половина. Но нам известно, что на нем были Павел Варфоломеевич Кузнецов и Владимир Андреевич Фаворский. Они молчали.

Это молчание Фаворский не мог простить себе всю жизнь.

Публикация, примечания, комментарий
Галины ЗАГЯНСКОЙ

ПИСЬМА И ДОКУМЕНТЫ ПО ДЕЛУ В. И. ЛАШКИНА

Несколько писем и документов, которые мы предлагаем вниманию читателя, собственно говоря, не нуждаются в особенных комментариях. С Вадимом (Вадленом) Ивановичем Лашкиным лично мы не встречались, оригиналов документов не имеем, но все же решились опубликовать эту своеобразную летопись человека, однажды почувствовавшего, что он не может молчать, выбросившегося из оболочки рядового «совка» и несмотря ни на что сохранившего себя.

Уже немало написано о принудительном содержании людей в советских психушках. Однако имена многих из этих людей до сих пор остаются неизвестными. Вот один из них — математик, физик, преподаватель, помещавший и до заключения, и после него статьи в специальных академических изданиях, посвященных космическим проблемам.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

Только что услышал сообщение радиостанции «Голос Америки» о задержании работниками КГБ писателя Александра Солженицына на московской квартире его жены и насильственном приводе его в Прокуратуру СССР на допрос. Это известие потрясло меня почти так же, как телеграмма о смерти отца в 1967 году, когда я проживал в городе Куйбышеве.

До сегодняшнего дня я все же надеялся, что наша правящая партийная верхушка не осмелится выдать распоряжение на арест Солженицына, дабы силой заставить его замолчать. Я надеялся, что руководство КПСС понимает и учтет коренные перемены в мышлении советских людей, произошедшие за последние неполные двадцать лет, после того как Н. С. Хрущев вынес на суд нашего общества трагические факты массовых политических убийств и репрессий. Я порываю со своими иллюзиями на этот счет и открыто заявляю: я убежденный противник внутриполитического курса на ущемление демократии, насаждаемого силой нашими партийными главарями в целях сохранения за собой власти и всех ее благ, во вред нашему обществу.

Я выдвигаю требование о немедленном освобождении писателя Солженицына и прекращении кампании клеветы и травли, направленной против этого мужественного человека. Я выдвигаю требование об опубликовании его книг, чтобы советские читатели сами прочли и оценили их. Эти книги нужны советскому народу так же, как немецкому народу и народам всего мира нужны книги о фашизме, истории его зарождения, его злодеяниях и причинах временного засилья в Германии. «Бескомпромиссная критика недостатков и

ошибок прошлого» — смехотворная реакция на кровавые преступления, совершенные в прошлом высшими партийными чинами и работниками КГБ. Необходимо судить всех, у кого руки в крови и рыло в пуху, не делая скидок этим людям на то, что они выполняли приказы вышестоящих чинов, как на Нюрнбергском процессе не делали скидок фашистским военным преступникам, когда они кивали на Гитлера.

Судить всех, сколько бы их ни было, по статьям УК РСФСР из главы «Преступления против правосудия».

Я выдвигаю также требование о предоставлении советскому народу фактических политических прав и свобод. Это необходимо для более быстрого экономического, научно-технического и социального прогресса нашей страны.

Арест Солженицына не остановит роста недовольства внутренней политикой, которую проводит в СССР партийная верхушка в интересах своих, глубоко чуждых, в конечном счете, нашему обществу целей. Подло и низко арестовывать человека, пробывшего в заключении ни за что ни про что восемь лет по вине негодяев. Подло и низко и не свойственно духу русского народа обливать его грязью только за то, что он говорит своим голосом, что он пишет не те книги, которые угодны Главлиту, что он трактует факты истории нашего государства так, как считает правильным.

С ним можно не соглашаться, но лишать его права голоса и репрессировать его за это не имеет права никто.

Арест Солженицына есть не что иное, как вызов всем честным людям нашего общества. Арестовав Солженицына, наша власть открыто заявляет, что она оправдывает террор и массовые репрессии прошлого, но ей все равно не удастся задуть открытое недовольство в народе, потому что его корни уходят в настоящее и прошлое нашей действительности.

Вам не удастся обмануть народ, а тем более завоевать его полную поддержку и доверие. Внутренняя политика верхушки КПСС по ущемлению демократии давно уже вызывает глухой ропот и недовольство в народе и насаждается фактически насилием. Эта политика не отвечает требованиям времени и направлена против народа.

Она диктуется не объективными закономерностями истории, а неспособностью нашей правящей партийной верхушки управлять динамичной, демократичной и политически свободной общественной системой. Такая система сметет её, и все наши политики и болтуны канут в лету. Вот почему они не могут отречься от насилия. В этом причина их упорного нежелания считаться с требованиями времени.

Ещё раз заявляю: прекратите травить и преследовать Солженицына!

Ещё раз выдвигаю требование о его немедленном освобождении!

Лашкин Вадим Иванович, 1939 г. рождения, инженер-механик, живу в Туркмении: г. Мары, ул. Пушкина, д. 9, 13 февраля 1974 г., 23 ч. 30 мин.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

24 сентября 1974 г.

г. Мары

Судебная коллегия по уголовным делам Марыйского областного суда в составе: председательствующего — О. ХОММАДОВА, народных заседателей — ВАСИЛЬЕВА и КОМАРНИК, при секретаре МИЩЕНКО, с участием прокурора КАДЫРОВА К. и защиты в лице КУЛЬДЖАЕВА, в закрытом судебном заседании рассмотрела возбужденное уголовное дело в отношении Лашкина Вадлена Ивановича по ст. 214-1 УК ТССР о применении принудительных мер медицинского характера.

Лашкин Вадлен Иванович, 1939 года рождения, уроженец г. Мары, по национальности русский, семейный, ранее не судим, образование высшее, нигде не работал, проживал на улице Пушкина, 9, г. Мары.

Проверив материалы дела в полном объеме, заслушав показания свидетелей, выступления прокурора и защиты, судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А:

Гражданин Лашкин, проживая в городах Куйбышеве, Мары, не занимаясь общественно-полезным трудом, систематически распространял в устной и письменной форме заведомо ложные измышления, порочащие Советский государственный и общественный строй.

На конференции Куйбышевского филиала центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения Лашкин распространял заведомо ложные измышления о роли социалистического соревнования, комсомола, профсоюзов; считал соцсоревнование вредным, вел разговор о ненужности профсоюзов; комсомол изменился и превратился в простую формальность.

Лашкин в мае 1973 года, находясь в воинской части 58154 г. Мары среди военнослужащих распространял заведомо ложные измышления, заявлял, что нет порядка, демократии в Советском Союзе; существует безобразие, а также нет демократии, никакой правды в газетах и радио.

Кроме того, в своих письмах, адресованных в редакцию журнала «Журналист», в феврале, марте, апреле 1974 года, Лашкин грубо и заведомо ложно искажая факты Советской действительности, утверждает, что «в данное время из рук Советов депутатов рабочих и крестьян власть полностью вырвана», «осуществлен захват власти в стране партийной верхушкой».

Аналогичные письма были написаны Лашкиным в газеты «Правда», «Известия», в Союз писателей Белорусской ССР, в институт «Гидропроект», и на завод «Динамо».

Произведенным обыском в квартире Лашкина обнаружены копии телеграмм, адресованных в Президиум Верховного Совета СССР, в посольство Канады, содержащие заведомо ложные, клеветнические измышления, порочащие Советский строй.

Свидетели Кулакова, Багдасарова, Хусаинов, Проскурина и Тихонов в судебном заседании подтвердили, что действительно Лашкин выражал недовольство в адрес Советского правительства и политики КПСС и направил письма и телеграммы в компетентные органы, содержащие клеветнические измышления.

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что общественно-опасное деяние совершено Лашкиным.

Исходя из акта судебно-психиатрической экспертизы от 1 августа 1974 года, суд считает, что общественно-опасное деяние совершено Лашкиным в состоянии невменяемости, когда он не мог отдавать отчет своим действиям, и поэтому подлежит направлению в психиатрическую больницу, с освобождением от уголовной ответственности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 332, 333 УПК ТССР, судебная коллегия по уголовным делам Марыйского областного суда

О П Р Е Д Е Л И Л А:

На основании ст. 11 УК ТССР Лашкина Вадлена Ивановича от уголовной ответственности освободить и, согласно ст. 56 УК ТССР, применить в отношении его принудительные меры медицинского характера, поместив его в психиатрическую больницу специального типа.

Отменить меру пресечения, избранную в отношении Лашкина, с момента доставления его в психиатрическую больницу.

Определение может быть обжаловано в Верховный Суд ТССР в 10-дневный срок.

Председательствующий: (подпись)

Народные заседатели: 1. (подпись)

2. (подпись)

ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»*

Здравствуйтесь, члены редколлегии газеты «Правда».

Я — инакомыслящий, то есть человек, который открыто поддерживает движение за гражданские права человека в Советском Союзе и считает, что наше общество крайне нуждается в демократизации всех сфер общественной жизни, и прежде всего — средств массовой информации. С 22 декабря 1974 года я нахожусь, где и положено быть инакомыслящему — в сумасшедшем доме, среди сумасшедших.

Мое имя Лашкин Вадим Иванович, в августе мне исполнится 40 лет. Арестован я 19 июля 1974 года в г. Мары Туркменской ССР, где проживал со своей семьей, по обвинению в «распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный

* Публикуется в сокращении.

ный и общественный строй» (ст. 214-I УК ТуркССР, не более трех лет лишения свободы).

Мои действия, послужившие причиной ареста, состояли в том, что в промежутке между серединой февраля и серединой июля 1974 года я направил в советские печатные органы (в частности, в вашу газету), а также в другие государственные органы и организации несколько писем и телеграмм, в которых открыто изложил свои политические взгляды. В этом, по существу, и заключалась моя вина.

Все началось с того, что вечером 13 февраля 1974 года я услышал по «Голосу Америки» об аресте писателя Александра Солженицына на московской квартире его жены и тут же написал в «Правду» протест против этой акции советского правительства. В протесте я написал о необходимости опубликования его книг в СССР, чтобы советские люди сами, без комментариев, переводчиков и посторонней помощи прочли и оценили их и высказал несколько очень резких суждений в адрес партийного руководства нашей страны.

Свой протест я отправил на второй день, 14 февраля 1974 года, когда узнал из наших информационных источников о высылке Солженицына. Это письмо в «Правду» я опустил в почтовый ящик после того, как поборол страх, сжимавший мое сердце. [...]

17 апреля 1974 г. меня вызвали по повестке в горвоенкомат на беседу (я был тогда офицером запаса ракетных войск). В кабинете военкома, кроме него, были еще два человека — невропатолог и психиатр Марыйской городской поликлиники.

Военком произнес краткую речь, смысл которой сводился к тому, что мне, как офицеру запаса, с целью перекомиссии, следует удалиться с врачами в другую комнату для производства надо мной психиатрической экспертизы. Я в ответ возмутился и вышел из кабинета, громко протестуя.

В этот же день работник горвоенкомата майор Козлов сказал мне, что за день до этого, 16 апреля 1974 г., к нему обращался некий сотрудник Марыйского КГБ и просил направить меня в военный госпиталь на военно-врачебную комиссию для перекомиссии. Но Козлов, ведавший делами офицеров запаса, ответил этому КГБисту, что я прошел комиссию летом 1973 г., и следующая будет не раньше, чем в 1978 году.

Спустя неделю после этого инцидента, 24 апреля 1974 года, ко мне домой пришел офицер из горотдела милиции и увел меня с собой в горотдел. Там мне прочли (но в руки не дали) заявление от работницы горвоенкомата, некой Алибековой, в котором она жаловалась, что 17 апреля 1974 г. я якобы учинил в горвоенкомате скандал, накричал на нее и оскорбил. Кроме того, мне прочли еще одно заявление от группы работников конторы «Энергосбыт», которых я дней 20 до этого не впустил к себе в квартиру, когда они пытались в нее вломиться силой. (Впрочем, они позвали милиционера и все же вошли в квартиру с его помощью. Никаких нарушений правил пользования электрическими приборами они не обнаружи-

ли). В этом заявлении работники «Энергосбыта» жаловались, что я якобы оскорблял их нецензурной бранью.

Из горотдела меня отвели в суд, и там судья вынес постановление о заключении меня под стражу на 15 суток за «мелкое хулиганство».

Поскольку для меня было ясно, что арест сфабрикован, то я на суде объявил, в знак протеста, голодовку, которую продержал все 15 суток, пока находился в КПЗ. Мою голодовку пытались сорвать с помощью шантажа (грозили продлить арест еще на 15 суток «за нарушение режима») и искусственного питания. Ни то, ни другое не удалось.

О голодовке я известил письменно городского прокурора и потребовал немедленно освободить меня из-под стражи. 2 мая 1974 г. ко мне в камеру пришел помощник прокурора города по надзору в местах пребывания заключенных Коммьев, который выслушал меня и сказал, что опротестует постановление судьи от 24 апреля 1974 г. Но ему, видимо, объяснили, что к чему и кто я такой, и он не стал делать того, что обещал.

По истечении 15 суток, 9 мая 1974 г., меня выпустили из КПЗ, а в конце июня я написал свое последнее, третье, письмо в журнал «Журналист».

17 июля 1974 г. у меня в квартире был произведен обыск. В ордере на обыск было указано уголовное обвинение, которое было против меня выдвинуто, — «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» (ст. 214-I УК ТССР).

Согласно уголовно-процессуальному кодексу, моя статья подследственна органам областной прокуратуры, но непосредственно обыск у меня вели четыре работника Марыйского КГБ, что является незаконным. Кроме КГБистов, присутствовали еще три следователя МВД и три следователя Марыйской областной прокуратуры, т. е. всего было 10 человек. В результате обыска у меня была изъята папка с копиями моих криминальных писем. Немедленно после обыска я пошел на городскую почту и дал три телеграммы.

Первую — в Президиум Верховного Совета СССР: «Меня преследуют за политические убеждения. Сегодня 10 человек произвели обыск в моей квартире. Считаю, что страной правит шайка политических демагогов и самозванцев. Требую выхода из гражданства СССР».

Вторую — председателю КГБ Андропову: «Ваши люди, преследуя инакомыслящих, занимаются охотой на ведьм. Сегодня 10 человек произвели обыск в моей квартире. Дайте укорот своим опричникам либо уйдите в отставку».

Третью — в посольство Канады: «Меня преследуют за политические убеждения. Прошу предоставить политическое убежище и гражданство Канады».

В определении Марыйского областного суда от 24 сентября 1974 года в соответствии с которым меня 22 декабря 1974 года бросили в специальную психиатрическую лечебницу, написано, что копии

этих телеграмм были якобы у меня изъяты во время обыска, в то время как я их дал после обыска и никаких копий не оставлял. Там же написано, что эти телеграммы содержат клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, однако тексты этих телеграмм не приводятся, т. е. в чем заключались эти измышления, из судебного документа не ясно. Версия, что копии моих телеграмм изъяты во время обыска, потребовалась для того, чтобы скрыть факт задержания моих телеграмм на почте. На самом деле в прокуратуру попали не копии моих телеграмм, а сами телеграммы, поскольку связисты передали тексты телеграмм не в эфир, а в прокуратуру. Снова нарушена свобода информации — главное мерило гражданских прав и свобод, хотя, как и в случае с телеграммами академику Сахарову, эти три телеграммы не содержали информации, относительно которой существуют законные ограничения по ее распространению. [...]

Дальше события развивались очень быстро. 19 июля 1974 года в 11 часов я был арестован на улице и доставлен в Марыйскую областную прокуратуру на допрос к следователю Джалмаханову.

Допрос длился до вечера, а вечером меня поместили в КПЗ.

23 июля 1974 года меня отвезли в марыйскую тюрьму, а на второй день, 24 июля, меня посетил следователь Джалмаханов и предъявил мне обвинительное постановление, в котором все мои суждения, имеющие отрицательный характер по отношению к некоторым явлениям советской действительности и партийному руководству СССР, названы голословно, т. е. без всяких доказательств (поскольку доказать было это невозможно), заведомо ложными, клеветническими, порочащими советский государственный и общественный строй.

Одновременно Джалмаханов сказал, что вскоре меня повезут в Ашхабад на судебно-психиатрическую экспертизу. И действительно, 26 июля 1974 года меня перевезли в Ашхабад и поместили в общую камеру ашхабадской тюрьмы.

Обычно лиц, которых привозят в ашхабадскую тюрьму для производства судебно-психиатрической экспертизы, помещают сразу в специальную камеру и ведут за ними предварительное психиатрическое наблюдение, с помощью медперсонала, в течение нескольких, иногда многих, месяцев. Исключение делается только для лиц, состоявших ранее на учете у психиатров или находившихся ранее в психбольницах, с ними долго не возятся. Поскольку к такой категории людей я не принадлежал, то за мной, по закону, были обязаны наблюдать не менее двух-трех месяцев, а уж потом устраивать экспертизу. Но за мной не вели наблюдения вообще, а на амбулаторную экспертизу дернули через 6 суток: еще одно беззаконие.

Спустя несколько дней после прибытия в ашхабадскую тюрьму (кажется, 28 июля 1974 г.) я передал администрации тюрьмы свое заявление на имя прокурора отдела республиканской прокуратуры по надзору в местах пребывания заключенных, в котором протестовал против готовящейся психиатрической экспертизы, т. к. исход ее был предreshен; потребовал, чтобы меня перевезли обратно в Мары,

допустили до следствия и предоставили для защиты от предъявленного обвинения «Комментарий к УК РСФСР» (он был мне нужен ради комментария к ст. 190-1 УК РСФСР, аналогичный ст. 214-1 УК ТССР), УПК ТССР, Конституцию СССР и Международный пакт о гражданских и политических правах человека.

Я был вполне готов к активной защите, но меня лишали права на нее, обеспечиваемого 158-й статьей Конституции СССР всем гражданам, без ограничений, поскольку сочли, что реализовывать это право в моем случае нецелесообразно, а вот заклеить меня фальшивым клеймом душевнобольного — очень даже целесообразно (в дальнейшем я объясню, почему это было целесообразно).

Психиатрическую экспертизу в ашхабадской тюрьме производили врачи республиканской психбольницы раз в неделю. Во второй половине 1974 года таким днем недели был четверг. Меня привезли в Ашхабад 26 июля 1974 г., а в ближайший же четверг, 1 августа мне устроили без всякого предварительного наблюдения так называемую амбулаторную психиатрическую экспертизу — «пятиминутку». Экспертизу проводили три врача республиканской психбольницы: Ключт, Аннамухаммедова и Хайлыев.

Началась экспертиза с того, что Аннамухаммедова задала мне несколько формальных вопросов, касающихся моих анкетных данных. Я сначала отвечал на вопросы, но потом перебил ее и, в свою очередь, спросил, на каком основании мне производят экспертизу. Аннамухаммедова ответила, что она проводится по постановлению следователя Джаламаханова. Тогда я попросил ее показать мне это постановление, чтобы выяснить, какими мотивами руководствовался следователь, вынося его. (Согласно закону, следователь имеет право вынести постановление о направлении подследственного лица на судебно-психиатрическую экспертизу, но только в том случае, если в процессе следствия у него возникли фактические основания сомневаться, что подследственное лицо отдает отчет своим действиям и показаниям, т. е. является вменяемым. При этом в постановлении следователь обязан перечислить эти фактические основания. Я никаких оснований сомневаться в своей психике следователю Джаламаханову не давал, поэтому его постановление о направлении меня на психиатрическую экспертизу было абсолютно необоснованным).

Аннамухаммедова после некоторой заминки хотела дать мне в руки это постановление, но тут вдруг очень энергично вмешался Ключт — он был главным на экспертизе — и запретил ей это делать. В руках Ключт держал толстую папку с моим делом. Раскрыв эту папку и указав на нее пальцем, Ключт задал мне вопрос: «Скажите, когда вы писали свои письма в компетентные органы, отдавали ли вы себе отчет в их содержании?» Я не стал отвечать на этот вопрос, встал со стула и сказал, что отказываюсь вообще отвечать, так как считаю экспертизу лицемерным фарсом и провокацией.

Тогда Клюдт махнул рукой стоявшей у дверей тюремной медсестре и сказал: «Довольно. Уведите его». На этом экспертиза закончилась. Длилась она не более 10 минут.

На второй день, 2 августа 1974 г. меня из общей камеры перевели в камеру для душевнобольных преступников, так как психиатры вынесли (по указанию из КГБ и прокуратуры) заведомо ложное медицинское заключение о состоянии моей психики, признав меня невменяемым, как в моменты написания мной писем и телеграмм, так и в моменты ареста, допроса и психиатрической экспертизы.

Согласно заключению психиатров, моя невменяемость была обусловлена хроническим душевным расстройством — шизофренией, которым я якобы страдаю уже много лет. [...]

Находясь в ашхабадской тюрьме, я провел шесть голодовок протеста общей продолжительностью 45 суток и произвел 10 больших демонстративных кровопотерь*, последняя из которых, самая большая, явилась для меня роковой: она привела к резкому обострению хронического воспалительного процесса в области мочевого пузыря. Обострение полыхает непрерывно с 21 декабря 1974 г. и превратило мою жизнь в пытку.

Посредством голодовок, кровопотерь, а также многочисленных аргументированных заявлений я пытался оказать моральное давление на прокуратуру Туркмении и этим добиться психиатрической реабилитации, реализации права на защиту и открытого суда.

Чтобы ослабить мое сопротивление, ко мне дважды была применена пытка посредством специального психиатрического препарата — сульфазина повышенной концентрации (4-процентной, вместо положенной 0,5-процентной). Первый раз, 5 августа 1974 г., с помощью двух завышенных по дозе одновременных уколов сульфазина была сорвана, на 18-е сутки, моя первая голодовка (я объявил ее в день ареста, 19 июля 1974 г.). Я кричал от боли и не спал трое суток.

Второй раз, примерно через месяц, мне сделали сразу четыре укола сульфазина, когда я от голодовки и заявлений перешел к дополнительной вынужденной мере — вскрытию вен. На этот раз я не мог уснуть от боли и почти все время кричал четверо суток. Передвигаться я практически не мог гораздо дольше. Потом на обеих моих ногах сошли ногти больших пальцев. Как только мне сделали эти уколы и завели в камеру, я немедленно еще раз вскрыл вены и слил еще часть крови. Меня снова вывели из камеры, но на этот раз не в медпункт, а в комнату дежурного по тюрьме, который потребовал от меня письменного объяснения своим действиям. Такое объяснение я написал, где, в частности, предупредил, что каждый последующий укол сульфазина буду и в дальнейшем сопровождать вскрытием вен. После этого я еще 8 раз заливал кровью пол камеры.

* В. И. Лашкин вскрывал вены на руках. — *Прим. ред.*

На 12 день моей четвертой голодовки (9 декабря 1974 г.), после двухкратной кровопотери, тюремная администрация вызвала наконец прокурора по надзору в местах пребывания заключенных.

Я рассказал ему о своем деле и вручил ему заявление, оттиск моей статьи по механике космического полета, напечатанной в майско-июньском номере журнала АН СССР «Космические исследования» за 1974 год. Я сказал прокурору, что я не клеветник и не враг советской власти, а инакомыслящий. Я сказал ему, что мне поставили фальшивый диагноз и хотят из политических соображений упрятать в сумасшедший дом. То же самое я написал в заявлении, которое ему вручил.

Прокурор молча выслушал меня, взял мое заявление и оттиск статьи, а затем заверил меня, что не позднее, чем через три дня я получу на свое заявление письменный ответ из прокуратуры по существу. Но это оказалось ложью. Никакого ответа из прокуратуры я не получил ни разу. Когда я убедился, что прокурор меня обманул, я объявил последнюю, пятую по счету, голодовку и осуществил последние две кровопотери (16 и 19 декабря 1974 г.). Цели этих голодовок и кровопотерь оставались прежними: добиться психической реабилитации, реализации права на защиту и открытого суда, хотя в глубине души я понимал, что практически этих целей добиться невозможно, так как прокуратура Туркмении выполняет волю Москвы, и никакое моральное давление с моей стороны не заставит ее исполнять своих надзорных функций. [...]

В. И. Лашкин

Главному врачу Ашхабадской областной психбольницы от Лашкина В. И.

З а я в л е н и е

Прошу вызвать меня на беседу и ответить мне: на каком основании держат сейчас меня в психбольнице? Кроме того, прошу ответить мне: почему меня не госпитализируют?

Признаков душевного расстройства у меня нет — Вы сами заверили это своей подписью в акте экспертизы от 23 мая 1979 года, — принудление с меня снято, — будьте добры отпустить меня на свободу, а точнее — госпитализировать в урологическое отделение ашхабадской больницы. Моя переброска в Марыйский психоневрологический диспансер, которую Вы намечаете произвести, абсолютно необоснованна, незаконна, бессмысленна и аморальна: добровольно я туда не поеду, а заставлять ехать меня силой Вы не имеете права, так как в определении суда от 31 мая 1979 года о моей переброске в Мары ничего не сказано и не могло быть сказано.

Мне нужно немедленно лечь в урологическое отделение, мне дорог буквально каждый день, а Вы относитесь ко мне, как к вещи, бессловесной скотине и человеку третьего сорта! Но какое сейчас, после снятия с меня принудления, у Вас есть на это право? Почему

Вы совершенно не считаетесь с моим здоровьем? Или Вы ждете, когда я опять объявлю голодовку с целью добиться госпитализации? Неужели Вы и сейчас, когда я уже не принудчик, опять посмеете дать указание сорвать ее уколами?

Почему Вы не объяснили людям, давшим Вам негласное указание перебросить меня в Марыйский психоневрологический диспансер, что я болен и нуждаюсь в госпитализации в урологическое отделение, а не в переброске? Почему Вы слепо подчиняетесь этому незаконному указанию? Разве Вы марионетка, подобно психиатрам Ключту, Аннамухаммедовой и Халлыеву, вынесшим мне, по преступному указанию из КГБ, фальшивый диагноз, или пешка, лишенная права голоса? А если бы Вам дали указание уничтожить меня с помощью уколов, Вы бы тоже его выполнили? По крайней мере, медбрат Айдогдыев на такой вопрос с моей стороны в присутствии старшей медсестры Сивухиной 3 апреля 1979 года ответил, что по указанию врача сделает мне смертельный укол, не задумываясь.

Среди кого я нахожусь? Среди работников системы народного здравоохранения или среди тюремщиков и потерявших всякую совесть людей?

Я не преступник, не душевнобольной, но лишен свободы уже 5 лет, а в сумасшедшем доме нахожусь уже 4,5 года. Я тяжело болен уже 4,5 года по вине психиатров, а меня не госпитализируют, не лечат вообще. Ведь это же подло!

Мне надоело жить в таких отвратительных условиях, мне надоела оскорбительная и унижительная бесцеремонность, с какой обращаются со мной медбратья и санитары, не годящиеся мне даже в подметки по уму, образованию, интеллекту и человеческим качествам.

Я задыхаюсь в атмосфере сумасшедшего дома, я хочу немедленно лечь в больницу, а Вы, не имея на то абсолютно никаких законных оснований, насильно заставляете меня терпеть унижения и продлеваете мои физические страдания, вместо того чтобы способствовать их устранению! Почему Вы спокойно переступаете запреты, которые не имеете права переступать? Почему Вы позволяете по отношению ко мне все, что угодно?

Предупреждаю, что если меня в ближайшее время не отпустят и не госпитализируют в урологическое отделение, то я дам нелегально сигнал в Москву, и тогда все материалы по моему делу будут переправлены за рубеж и преданы там огласке.*

Мне надоело терпеть по отношению к себе разнузданный произвол и подлое насилие. Пора вынести мою историю на суд зарубежного общественного мнения, а всех, кто повинен в моем заточении в сумасшедшем доме, губят мое здоровье и жизнь, издевается надо мной,— за ушко да на солнышко, и пригвоздить их к позорному столбу.

Лашкин В. И.

* Сейчас Вадим Иванович признает, что это был блеф — никакой возможности передать материалы за границу он тогда не име. — *Прим. ред.*

25 июня 1979 г.

Прокуратура

СССР

Туркменистан ССР

ПРОКУРАТУРАСЫ

ПРОКУРАТУРА

Марыйской области

Туркменской ССР

745400, г. Мары, ул.

Ленина, 21

27.08.90 г № 8/100-90

г. Мары, ул. Димитрова, дом 13
кв. 17, гр-ну Лашкину В. И.

Прокуратурой Марыйской области проведена проверка по Вашему заявлению о неисполнении определения Марыйского городского суда о снятии Вас с психиатрического учета.

Проверкой установлено, что решением Марыйского горнарсуда от 30.04.89 г. заявление Лашкиной З. Б. о восстановлении Вашей дееспособности удовлетворено.

Согласно письменного сообщения главного врача Марыйского психиатрического диспансера от 22.08.90 г. № 353, согласно определению нарсуда Вас сняли с учета.

Пом. прокурора области

(подпись)

=====

ВЕРА ЦЕРКВИ

В этом номере мы начинаем и в дальнейшем продолжим публикацию избранных глав из книги «Азбука веры» Христоса Яннараса, впервые изданной в Афинах в 1983 году. Книга имела большой успех в Греции, выдержала несколько изданий; кроме этого, она вышла в переводах во Франции и Великобритании.*

Для того, чтобы дать читателю представление об авторе и о причинах, побудивших нас предпринять эту публикацию, мы предваряем текст Яннараса выдержками из предисловия к французскому переводу, написанного Мишелем Ставру — аспирантом Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже.

Русское издание книги Яннараса в полном объеме готовится в Московском центре по изучению религий.

* * *

Тот факт, что краткое изложение христианской веры стало поистине бестселлером в сегодняшней Греции, стране в значительной степени секуляризованной, сам по себе свидетельствует о высоком уровне этой работы. Своим успехом книга обязана прежде всего тому, что, несмотря на трудность понимания отдельных мест, она отвечает самым разнообразным запросам широкой читательской аудитории. Одни хотят получить хотя бы общее представление о ключевых моментах христианской веры и образа жизни; другие испытывают потребность лучше понять — по крайней мере, в их богословских формулировках — те истины веры, к которым до сих пор относились недостаточно серьезно и внимательно; третьи стремятся повысить свой образовательный уровень, следуя по пути духовного роста... Книга Яннараса вносит значительный вклад в удовлетворение всех этих запросов. Ее основным предметом являются проблемы человеческого существования, связанные с поиском

* Личное имя *Христос* (от греч. *chrestos* — честный, порядочный, полезный) в современном произношении по звучанию совпадает со словом *Христос* (греч.

«единого на потребу» (Лк. 10,42), со стремлением к красоте, добру и истине, живущим в сердце каждого человека.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что эта книга не имеет ничего общего ни с катехизисом в традиционном смысле слова, ни с систематическим изложением христианских «догм», или «религиозных истин». Ее назначение — как и всякого богословского труда — вдохновить и поддержать усилия человека, направленные на осмысление реальности *нового творения*, совершенного Христом и осуществляемого Духом Святым. Говоря о живом опыте Церкви, автор постоянно призывает читателя открыть для себя этот опыт и приобщиться к нему. Ибо вера — это не столько комплекс личных убеждений, сколько живой опыт, пережитый и разделенный всей общиной, всем Телом Церкви. Вера, раскрывающаяся в Духе Святом и свободно принятая человеком, который призван воссоздать самого себя в сакраментальном лоне Церкви, есть реальность личностного порядка. [...]

Православное богословие есть по существу богословие опытное, оно питается умозрениями и учением отцов Церкви, говорящих «о стране, из которой они вышли», по выражению выдающегося русского философа Ивана Киреевского. Святой Григорий Палама, великий богослов XIV века, в одной фразе выразил суть православного подхода к богословствованию: «Слова сами по себе меня не интересуют; то, что меня интересует, — это факты». На той же логике основан ответ Филиппа на сомнения Нафанаила: «Пойди и посмотри» (Ин. 1,46). Такое опытное богословие, трезвое и сдержанное в рассуждениях о том, что превосходит наше разумение, вовсе не ограничивается ролью надсмотрщика над сознанием верующих, который следит за тем, чтобы никто не переступил за границы догматических определений, туда, где начинается ересь. Это богословие в состоянии пробудить человека и направить его дух к реальностям веры, не забывая при этом, что никакое слово не может «догнать истину» (св. Григорий Богослов). [...]

Успеху этой книги на родине автора способствовала его известность в широких кругах греческого общества. Христос Яннарас, авторитетный богослов и философ, считается в Греции одним из лидеров так называемой «неоортодоксии», или «неоправославия» — неформального движения православных интеллектуалов, чьи позиции и образ мышления существенно отличаются от принятых в среде традиционалистски настроенных христиан. Ими движет желание обрести глубокие и живые корни подлинного, аутентичного христианского Предания, то есть в полном смысле *церковного* Православия.

Чтобы понять, что представляет собой в сегодняшней Греции «неоправославное» движение обновления, и оценить значение предлагаемой работы Яннараса как попытки современного осмысления православной веры, следует обратиться к тому исходному моменту, когда пересеклись судьбы Эллинизма и Православия. Исторический экскурс представляется необходимым для лучшего понимания современной церковной ситуации. [...]

Несмотря на свое трехтысячелетнее прошлое, современная Греция — молодая страна. Греческое государство возникло лишь 170 лет назад. С самого начала история Греции была не столько историей государства или даже историей народа, сколько историей цивилизации. Христос Яннарас часто и не без юмора повторяет, что Эллинизм — это «утопия» («утопия» по-гречески — «то, что не имеет места»), то есть не место, но образ жизни, в самом широком смысле слова — социальном, культурном, духовном. Эта цивилизация в древности воплощалась прежде всего в свободных и независимых греческих городах-полисах, а затем, когда с римским завоеванием их автономии пришел конец, стала через посредство греческого языка объединительным фактором в Римской империи с ее универсальным призванием. Впрочем, уже завоевания Александра Македонского привели к широкому распространению эллинистических ценностей в Азии. После перенесения столицы империи в Новый Рим — Константинополь в 330 году и реформ императора Юстиниана (527—565) Римская империя, ставшая христианской в IV веке, к началу VII века была уже глубоко эллинизирована, а греческий язык принят в качестве ее официального языка. Начиная с этого времени, современная историография говорит о *Византии*, отличая тем самым Восточную Римскую империю от дохристианской империи Древнего Рима. Эта греко-римская христианская цивилизация существовала целое тысячелетие, вплоть до окончательного падения в 1453 году в результате турецкого завоевания. Для Христоса Яннараса Византия является высочайшим культурным выражением того христианского эллинизма, в котором о. Георгий Флоровский находил корни святоотеческого богословия.

После четырех тяжких столетий османского ига греки (называвшие себя охотнее «ромеями», чем «эллинами») подняли в 1821 году всеобщее освободительное восстание против завоевателей под девизом «За веру Христову и Отечество». Восстание, поддержанное греческой диаспорой, готовилось «Братством друзей» (*Филики Этерия*) — основанным в 1814 году в Одессе тайным обществом, которое пользовалось покровительством императора Александра I и ставило своей целью организацию освободительного движения всех христиан Балканского полуострова. После пяти лет трудной борьбы греческая революция была спасена благодаря вмешательству великих европейских держав: Франции, России и Англии, принужденных к этому шагу мощным движением в поддержку греков. В результате в 1833 году было образовано королевство Греция, полностью подчиненное интересам крупных держав, которые сумели навязать истерзанному гражданской войной новорожденному греческому государству абсолютную монархию. Освобождение от власти султана обернулось новой зависимостью от «инострannого фактора».

«Баварократия» (режим первого короля Оттона Баварского) предъявила свои претензии церковному порядку: по приказу короля сотни монастырей были закрыты, а их имущество и церковные ценности конфискованы. Под влиянием Фармакидиса — епископа, получившего образование на Западе, поклонника и последователя

Просвещения, который использовал идеи Феофана Прокоповича и немецкую лютеранскую модель государства,— Церковь была реорганизована таким образом, чтобы пассивно вписаться в структуру нового, построенного по европейскому образцу государства. После резкого разрыва с Константинопольским Вселенским патриархатом была провозглашена государственная «автокефальная» Церковь, административно возглавлявшаяся королем Оттоном, которая превратилась в служанку политической власти. Для большинства греков, более или менее сознательно отказывавшихся признавать сложившуюся государственную систему, а также структуру и ориентацию официальной Церкви, это стало началом церковного и культурного отчуждения. Грекоязычное население средиземноморского бассейна — от Одессы до Александрии и от Корфу до Смирны — восприняло возникновение новогреческого государства не как романтическое и абстрактное возрождение античной Греции, «матери цивилизации», но как зародыш восстановления византийской цивилизации. В этом отношении знаменателен тот факт, что первая учредительная ассамблея Греции, открыто собравшаяся в Эпидавре в 1822 году, выработала конституцию, несомненно вдохновленную французской конституцией 1793 года, но при этом связывающую греческое гражданство с принадлежностью к Православию, а не с расой, почвой, кровью и даже не с языком. (Парадоксальным образом одновременно провозглашалась свобода совести — как религиозная, так и политическая.) Так заявил о себе византийский дух. Однако в конце концов в 1833 году дух Просвещения взял верх.

Чтобы отстоять свою церковную и культурную идентичность в этой атмосфере отчуждения, греки в течение XIX столетия организовались в различные «партикулярные» движения. Так возникло «Общество защитников Православия» — тайное общество, созданное по образцу Этерии, а также народное движение под водительством монаха Папулакоса, признанного сегодня одним из великих святых этой эпохи, который был подвергнут гонениям и тюремному заключению. Целью этих движений было противостояние «автокефалии» Греческой Церкви и, шире, западному влиянию в обществе и в Церкви. Их идеи находили горячий отклик в народе (Папулакоса во время его поездок по стране окружали тысячи сторонников), однако оставляли равнодушными политических деятелей и интеллектуалов нового государства. Большинству последних, получивших образование в афинских колледжах, организованных на немецкий манер, или зачастую непосредственно на Западе, Греция той эпохи представлялась просто отсталой, полуварварской страной, недостойной славы классической древности, наследницей которой она тем не менее была. Возвысить ее могло лишь европейское «Просвещение». Маурер, регент Греции в 1833 году, говорил: «Грекам было бы достаточно подражать немцам, чтобы они вновь стали тем, чем были некогда», — символические слова, свидетельствующие о запрограммированном — из лучших «цивилизаторских» побуждений — отчуждении. В подобной перспективе Византия представлялась всего лишь тенью ми-

нувшего средневековья, а движения вроде того, что возглавлялось Папулакосом, оказывались в конечном счете проявлением «обскурантистских» или «консервативных» тенденций в отсталом обществе. В конце концов эти движения в условиях недостатка кадров и отсутствия отклика со стороны интеллигенции достаточно быстро сошли на нет.

Однако и в этот период нового «вавилонского» плена, пережитого Греческой Церковью (как в свое время и Церковью Русской), сохранялся «православнофильский» дух. В конце XIX — начале XX века появляются великие личности: генерал Макрияннис — впечатляющий пример малообразованного человека, сражавшегося в 1821 году «за веру и Отечество» и оказавшегося благодаря своим блестящим, выраженным в эпическом тоне мемуарам «отцом современной греческой прозы», по слову Георгия Сефериса (лауреата Нобелевской премии по литературе 1963 года). Другой пример — Александр Пападиамандис, «греческий Достоевский», воскрешающий в своих романах атмосферу и облик непрерывной литургической и патристической традиции Православия.

В конце XIX века новогреческое государство объединяло лишь около одной пятой грекоязычного населения Средиземноморья. В первой четверти XX столетия захлебнулась в крови и слезах изгнанников мечта об осуществлении «Великой Идеи» — восстановлении православной греческой империи. Более того, сокрушительный разгром в Малой Азии в 1922 году, с полным основанием названный «Великой катастрофой», которым завершилась неудачная попытка освобождения малоазийских греков от османского ига, означал в конечном счете крах Эллинизма в том виде, в каком его знала предшествующая более чем трехтысячелетняя история. Отныне национальному государству, конституированному по европейскому образцу и существенно расширившемуся благодаря Балканским войнам, предстояло принять миллионы беженцев из Турции, других балканских государств, где также превалировал «национальный» принцип, из России и даже из Египта (в 1957 году), изгоняя параллельно с этим негрекоязычное население. Греция вступила в период политических смут и социально-экономической нестабильности. Безудержные политические страсти — тысячелетний недуг греков — привели (после установления республики в 1924 году) к возникновению и смене многочисленных диктаторских режимов.

В продолжение этой смутной эпохи на греческой почве не существовало никаких религиозных течений, которые пытались бы выработать осмысленное отношение к православной вере. Духовенство в совокупности сохраняло исключительно богослужебный подход к Православию, а университетское академическое богословие культивировало конфессионализм, усвоив характерный для западных Церквей рационализм и морализм и рассматривая Православие как нечто «среднее» между догматическими формулировками римского католицизма и протестантизма.

К концу второй мировой войны, в атмосфере теологической немоты, значительное развитие в Греции получают «братства» и «христианские организации», возникшие в начале века. Эти состоявшие из клириков и мирян ассоциации, действуя параллельно с «официальной» Церковью, которую они считали неспособной к исполнению ее пастырского призвания, отвечали потребности евангелизации общества, ищущего после потрясения войны и последующей стремительной урбанизации такой опоры для общественной морали, которая могла бы заменить традиционные деревенские общины и приходы. Эти братства, сознававшие свое дело как «дело Божие», создавали кружки по изучению Библии и брали на себя заботу о евангелизации и нравственном воспитании детей и юношества. Однако, взяв за образец деятельность и организацию протестантских и католических миссий, наводнивших страну в XIX веке, эти ассоциации не столько способствовали возрождению церковных традиций, сколько стояли на страже достаточно поверхностного Православия, в котором цитаты из святых отцов и канонов понимались буквалистски, а богословие слишком часто оказывалось смесью пуританского протестантизма со схоластическим рационализмом. Преследуя цель «христианизации» общества, они утверждали на деле пиелистские и пуританские моральные нормы и ту духовную унификацию, которую Христос Яннарас без колебания назвал «тоталитаристской». Крупнейшее из этих братств — «Зои» («Жизнь») — представляло собой народное движение, объединявшее сотни тысяч членов из всех слоев общества, включая армию, правительство и даже королевский двор. Однако к началу 60-х годов влияние братств значительно уменьшилось (если не считать периода военной диктатуры 1967—1974 годов, когда братства были привлечены к пропаганде идеи «греческой христианской цивилизации») в результате отхода бывших сторонников, разочаровавшихся в их деятельности. С тех пор братствам принадлежит лишь второстепенная роль в жизни Греческой Церкви.

В 60-е годы возникает беспрецедентное в истории современной Греции движение за радикальное интеллектуальное и духовное обновление. Порвавшие с братствами молодые интеллектуалы, и среди них — Христос Яннарас, устремились к тому, что могло помочь им в их смятенном состоянии вновь открыть для себя подлинно православную традицию. Эта традиция начала проглядывать в работах выдающегося художника-иконописца Фотиса Кондоглу, а также в духовных поисках таких писателей и художников, как Георгий Теотокас, Никос Пендзикис и Зиссимос Лорендзатос. Но решающим фактором стало появление первых переводов на греческий язык богословских трудов русских эмигрантов, обосновавшихся в основном в Париже, — текстов, которые впервые выражали доступным современному человеку языком основные черты святоотеческой мысли и литургический опыт Православия. Работы Г. Флоровского, Вл. Лосского, А. Шмемана, И. Мейендорфа произвели немедленное действие и «открыли глаза» многим молодым интеллектуалам, со-

средоточившим свои усилия на том, чтобы вернуть богословию его экзистенциальный дух и возродить живое богословствование в противовес господствующему академизму. Кроме того, молодые богословы воспользовались плодами грандиозной исследовательской работы в области литургики и патристики, проделанной выдающимися католическими теологами — такими, в частности, как Анри де Любак, Ханс Урс фон Бальтазар, Жан Даниелу, Ив Конгар. Столь же решающим событием стала и начавшаяся в 1962 году публикация полного собрания творений великого учителя Церкви св. Григория Паламы, чье шестисотлетие отмечалось в 1959 году. [...] Представителями этого неформального течения, которое никогда не было структурно оформлено, были, помимо Яннараса, Иоанн Зизиулас (ныне — митрополит Пергамский), Никос Ниссиотис, Панайотис Неллас (основавший богословский журнал «Синакси» в 1982 году) и Георгий Мандзаридис.

70-е годы также оказались знаменательными для Греческой Церкви. В это время началось возрождение и обновление афонского монашества. Большая часть монастырей, насчитывавших лишь по несколько монахов преклонного возраста, которые вели преимущественно идиоритмическую жизнь*, пережила небывалый наплыв молодежи из студенческих движений и интеллигенции. Объединяясь вокруг нескольких выдающихся личностей — таких, как о. Василий Гондикакис, в то время игумен монастыря Ставроникита, или о. Эмилианос, игумен монастыря Симонопетра, — новые насельники Афона способствовали возрождению киновитского (общежительного) монашества**, оказывающего с тех пор значительное влияние на греческое общество. Достаточно сказать о множестве студентов, молодых ученых, политиков, художников и интеллектуалов, посещающих Святую Гору Афон, или о студенческих толпах, собирающихся в актовых залах университетов, когда какой-нибудь афонский монах приезжает для «беседы» в крупный греческий город. Можно сослаться и на значительное количество ежедневно публикуемых в прессе статей, свидетельствующих о широком общественном интересе к византийскому искусству и церковной традиции.

Возрождение Православия и сопровождающее его духовное обновление поколебали стену предрассудков и враждебности, отделявшую большую часть левой интеллигенции от Церкви. В начале 80-х годов состоялся свободный диалог двух греческих коммунистов — президента Центра марксистских исследований в Салониках Костиса Москофа и политолога Костаса Зурариса — с несколькими богословами, а именно Панайотисом Нелласом, упоминавшимся выше, и двумя сербами — Афанасием Йевтичем и Амфилохием Радовичем (ныне епископами). Греческие коммунисты были поражены открытостью и духовной раскрепощенностью своих собесед-

* В монастырях этого типа каждый монах, руководимый духовным отцом, организует свою жизнь согласно своему собственному ритму.

** Сегодня все 20 афонских больших монастырей являются киновияльными.

ников, так как до сих пор рассматривали Православие как некую замкнутую, статичную «палеолитическую» реальность. То, с чем они столкнулись теперь, они называли «новым Православием». Эпитет «неоправославные» был подхвачен и обыгран на разные лады журналистами, став обозначением вдохновителей духовно-богословского обновления, а также левых интеллектуалов и художников, вновь обратившихся к Церкви, подобно Москофу и Зурарису. Певец Дионисий Савопулос, любимец греческих левых, популяризировал это «течение» в своих песнях и многочисленных интервью, посвященных его пребыванию на Афоне и возвращению к Церкви. Однако богословы, и среди них Христос Яннарас, всегда отвергали термин «неоправославие» как журналистское изобретение, ибо в их глазах вновь обретенное Православие никогда не было «реконструкцией». Во всяком случае ясно, что течение это носит неформальный характер и, объединяя самых разных людей, в целом резко отграничивает себя как от «морализаторской» линии братств, так и от «академизма» богословских факультетов. Сейчас, в конце XX века, его влияние в Церкви и греческом обществе ощущается прежде всего среди молодежи. Но влияние это скорее косвенное, оно не всеми замечено; епископы и клир, испытавшие, как правило, сильное воздействие братств, в большинстве своем не слишком чувствительны к нему.

Книги Христоса Яннараса, и особенно его *Азбука веры*, в значительной степени способствовали возрастанию духовного влияния Православия в современном греческом обществе.

Христос Яннарас родился в Афинах 10 апреля 1935 года. Его научные интересы, казалось, предопределяли учебу в Политехническом институте. Однако Яннарас, с юности захваченный проблемой бытия, в 19 лет выбрал богословие. Оставив родительский дом, он изучает богословие в Афинах (1954—1958) и присоединяется к братству «Зои». В течение десяти лет его судьба связана с этим братством. Со временем на смену экзальтированному восторгу неопфита приходят смятение и сомнение [...], убедившись в невозможности внутренней реформы братства, Яннарас наконец покидает его вместе с несколькими молодыми богословами и принимает участие в издании журнала *Синоро (Граница)*, который выходил с 1964 по 1967 год и наметил пути богословского обновления и возрождения церковной традиции. Каждый номер журнала был посвящен определенной теме: например, «Православие и политика», «Православие и современное искусство» и т. д.

Однако в 1964 году, на заре греческого церковного обновления, следуя старому греческому обычаю, Христос Яннарас уезжает для завершения образования на Запад. Там он усваивает некоторые типичные для французской интеллигенции подходы; явная склонность ставить под сомнение существующие формы и правила, а также их общественную значимость сближает его с Жаном-Полем Сартром, его учителем в экзистенциальной философии.

В 1964—1967 годах Яннарас изучает философию в Бонне. Открыв для себя Хайдеггера, он испытал его глубокое влияние, угадывая в «смерти Бога», провозглашенной Ницше, Бога западной «онто-теологии», Хайдеггером отвергаемой. Из сопоставления интуиций выдающегося немецкого философа и апофатического богословия греческих отцов Церкви родилось философско-богословское эссе Яннараса *Об отсутствии и незнании Бога* (Париж, 1971).

В 1968—1970 годах Яннарас работает в Париже над докторской диссертацией на тему «Метафизика тела у св. Иоанна Лествичника», которую он защитил в Сорбонне. Затем, после четырех лет, проведенных в Париже и Женеве в качестве приглашенного профессора теологии, он в течение еще трех лет преподает на философском факультете университета на Крите. С 1983 года Христос Яннарас — профессор философии в Афинском институте политических наук и международных исследований. Член Международной академии религиозных исследований, он входит также в состав редакционной коллегии международного теологического журнала *Консилиум*.

Свою первую книгу Яннарас опубликовал в 1961 году. Это был сборник литературных эссе под общим заглавием *Голод и жажда*. Много времени спустя он вновь заявил о себе как о литераторе, опубликовав две книги «свидетельств»: *Красная площадь и дядя Артур* (1986) — хронику пребывания в Советском Союзе и *Убежище идей* (1987) — автобиографический очерк о годах, проведенных в братстве «Зои». Но самым главным в его творчестве (что заставляет вспомнить о русском мыслителе Иване Киреевском) являются плоды долгих, углубленных изысканий в области определения особенностей, отличающих, согласно Яннарасу, философию и церковное Предание христианского Востока от традиций Западной Европы [...].

В обширных трудах Яннараса *Личность и Эрос* (1876; опубликовано на немецком языке в Геттингене в 1982 году) и *Свобода и мораль* (1979; опубликовано на французском, английском и итальянском языках) анализируется различие двух цивилизаций в плане гносеологии, онтологии и, параллельно, в этическом плане. В последующих книгах — *Непрерывная философия* (1980; переведена на французский язык), *Правое слово и общинная практика* (1984), *Предпосылки критической онтологии* (1985), *Реальное и воображаемое в политической экономике* (1989) — Христос Яннарас пытается придать человеческому существованию направленность и смысл, исходя из опыта тупиков современного, так называемого «западного» образа жизни.

Одновременно Яннарас по-прежнему активно участвует в общественно-политической жизни, сотрудничая в газете умеренно-левого толка *Вима (Трибуна)*. Он выпустил несколько сборников статей: *Привилегия отчаяния* (1973), *Неоэллинская идентичность* (1978), *Критические выступления* (1987), *Пустота текущей политики* (1989). Многие его работы переведены и переводятся на английский, французский, немецкий и голландский языки. Сегодня Христос Яннарас — один из самых читаемых в мире греческих христианских мыслителей нашей эпохи.

Мишель СТАВРУ

ЗНАНИЕ «ПОЗИТИВНОЕ» И ЗНАНИЕ МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ

Существует определенный тип знания, который мы называем *позитивным*. Неотъемлемым свойством такого знания является его положительный характер, то есть надежность, очевидность, неопровержимая достоверность. Данные позитивной науки всегда можно проверить посредством наблюдения, эксперимента, математических выкладок и таким образом убедиться в их точности. Прежде всего это относится к естественным наукам, изучающим природу во всех ее многоликих проявлениях.

Равным образом предстают перед нами как разновидность позитивного знания те отрасли науки, предметом которых являются разнообразные формы общественной жизни людей, а также сбор и обработка достоверных свидетельств о прошлом человечества. Речь идет об истории и других общественных науках. В этом случае результаты исследований опять-таки обладают непосредственной опытной наглядностью, доступны проверке и, следовательно, вполне очевидны и обязательны для всех.

Достижение этого надежного, неопровержимого позитивного знания сделалось, по-видимому, основной целью современной цивилизации. Все этапы, все многообразные стороны нашего социального бытия — от семьи и школы до профессиональной деятельности и структур повседневной жизни — не просто предполагают, но прямо-таки требуют вожденной *объективности*. Нашим кумиром стала достоверность знания, его неоспоримая и явная для всех очевидность.

Требование объективности накладывает свой отпечаток на все грани существования современного человека, являясь выражением определенного состояния духа, стиля жизни, некоей внутренней потребности. Мы вырастаем в атмосфере благоговения перед *логикой*, перед неопровержимыми *истинами*. Более всего на свете мы приучаемся ценить объективную точность, ибо только она представляется нам достаточно убедительной, только она способна снискать всеобщее признание и привести нас к достижению конкретных целей.

И все же в самой гуще этой рассудочно устроенной жизни нас подстерегают вопросы, не укладывающиеся в рамки позитивного мышления. Во-первых, они возникают в связи с нашим восприятием искусства. Что отличает полотно Рембрандта от картины Ван Гога, музыку Баха от музыки Моцарта? Почему художественное творчество человека сопротивляется любой внешней заданности и «объективной» классификации? Каким образом в мраморе, красках, словах может быть запечатлена и навеки сохранена личность творца в ее неповторимости и своеобразии?

Подобные вопросы, не находящие ответа в пределах позитивного мышления, рождает в нас также созерцание природы, лишь только

мы переходим от простой констатации существования природных объектов и явлений к попытке уяснить себе их первопричину и конечную цель. В чем начало окружающих нас вещей? К чему они стремятся в своем развитии? Были ли они созданы чьей-то разумной волей или же являются порождением случая, извечной и слепой игры иррациональных природных стихий? Каков бы ни был ответ, с точки зрения позитивного знания он всегда будет произвольным и недоказуемым. Где найти критерии для реалистического истолкования красоты и гармонии мира, его упорядоченности, его органической функциональности, согласно которой даже самый незначительный природный элемент выполняет особую, только ему предназначенную роль?

Обратимся к человеческой жизни. В какой-то момент, «за поворотом нашего пути», мы сталкиваемся лицом к лицу с болезнью, дряхлением, смертью. Тогда-то и встают перед нами во всей неумолимой ясности вечные вопросы: в чем логика нашего эфемерного биологического существования? Неужели все завершается ямой, засыпанной землей? Что утасает в нас с приходом смерти и оставляет безжизненное тело рассыпаться в прах? В чем смысл человеческого взгляда, улыбки, жестов, слов, смены выражений лица? То, что исчезает в момент смерти, и есть это нечто, что делает каждого человека единственным, не похожим ни на кого другого и потому незаменимым: это его собственная манера радоваться, любить, страдать; его собственная манера жить. Можно ли рассматривать эти неповторимые явления человеческой личности, а также многие другие феномены, ставшие объектом пристального внимания современной науки (сознание, подсознание, область бессознательного и, наконец, человеческое «я», самосознание), — можно ли рассматривать их как биологические функции, наряду с пищеварением, дыханием и кровообращением? Или же надо признать, что бытие человека не исчерпывается биологической его стороной, что в самом модусе нашего существования есть нечто сообщающее человеку неуязвимость перед лицом времени и смерти?

В какой-то момент жизни, «за поворотом», мы начинаем осознавать, что позитивное знание в состоянии дать ответ лишь на немногие из мучающих нас вопросов. Мы чувствуем, что за пределами сферы природного, *физического* простирается область *метафизического* (искусство, любовь, тайна бытия). Чтобы познать эту метафизическую реальность, нам приходится приближаться к ней с совершенно иными «мерами и весами», нежели потребны для простого ознакомления с внешними природными объектами.

В течение столетий человечество бьется над разрешением метафизических вопросов. Что такое философия, искусство, религия, как не различные способы ведения этой постоянной, непрекращающейся борьбы, которая отличает человека от всех прочих существ и которая создала человеческую цивилизацию? Сегодня мы живем в мире, пытающемся найти свое обоснование в «оттеснении», забвении метафизических вопросов; но сам этот подход носит метафизи-

ческий характер и потому способен, в свою очередь, укреплять или подрывать основы цивилизации.

Впрочем, как бы ни пытался человек закрыть глаза на неумолимые метафизические вопросы и забыть о них в пылу профессиональной деятельности, политических игр или же безудержной погони за наслаждением; с каким бы насмешливым презрением ни старался к ним относиться — во имя мифологизированной «науки», способной если не сегодня, то во всяком случае завтра «объяснить все», — эти вопросы по-прежнему будут подстерегать человека на том или ином «повороте дороги». Какая-нибудь нелепая случайность, «авария», по выражению Фридриха Дюрренматта, — автомобильная катастрофа, рак, сердечный приступ, — и вот уже броня самодовольства пробита, и человек предстает во всей своей незащитной наготе. Внезапно разверзается перед ним пропасть оставшихся без ответа вопросов, обнажая не столько несовершенства человеческого интеллекта, сколько ужасающие провалы нашего экзистенциального бытия.

В такие мгновения метафизического пробуждения суть всех вопросов сосредоточивается для нас в одном резко запечатленном в сознании слове, таком привычном и вместе с тем остающемся вечной загадкой: *Бог*. Кто и где впервые заговорил о Нем? Что такое Бог — плод человеческой фантазии? понятие, вызванное к жизни потребностью рассудка? или же некая реальность, хотя и скрытая от нашего взора, подобно тому как поэт скрыто присутствует в словах поэмы или художник — в живописном полотне? Существует Он, в конце концов, или нет? Является ли Он причиной и конечной целью бытия этого мира? Носит ли человек в себе частицу Божественного, нечто такое, что способно преодолеть пространство, время, разрушение и смерть?

ПРОБЛЕМА БОГА

Задаваясь вопросом о том, как люди впервые начали говорить о Боге и каким образом вошла в их жизнь эта проблема, мы можем выделить среди множества других существенных моментов три наиболее важных ее истока.

Религиозное чувство

Первая отправная точка в этом вопросе — свойственная человеку потребность в *религиозном*. В человеке, в самой сердцевине его природы, коренится стихийное стремление ввериться превосходящей его силе, некоей сущности, несравненно более могущественной, чем его собственная. Возможно, это желание проистекает из чувства страха перед грозными силами природы, таящими в себе смертельную опасность. Пытаясь умиротворить природные стихии и добиваясь таким

образом установления определенного равновесия между ними и собой, человек одновременно преодолевает и собственный страх. При этом различным явлениям природы приписывается обладание рассудком, способность слышать и понимать людей и принимать приносимые ими в жертву дары. Так человек встречается лицом к лицу с некоей безличной, но разумной сущностью, неизмеримо превосходящей его самого; с тем загадочным нечто, что вздымает океанские волны, сотрясает земные недра и обрушивает с небес испепеляющий грозовой огонь, но одновременно является подателем плодородия и источником жизни. Эту силу человек и называет Богом. Однако единое понятие Божества дробится на множество осколков: люди видят в мире столько богов, сколько существует более или менее значимых для их бытия природных явлений.

Трудно сказать, лежит ли эта потребность подчинения высшей силе в основе наиболее ранних религиозных представлений, но несомненно, что даже в наше время подобный уровень религиозности встречается довольно часто. Речь идет о комплексе антропоцентристских верований, призванных изгнать людские страхи, воодушевить и укрепить человека — бессильную жертву собственной слабости. Такая религия не ограничивается простой верой в существование высших сил, но предоставляет своим приверженцам набор конкретных практических мер психологической защиты, цель которых — обеспечить существованию каждого человека известную устойчивость и безопасность, понимаемые эгоцентрически. Религия этого типа предлагает верующим *культ* как систему жестко заданных норм, гарантирующих своего рода отношения собственности с Божественным. С другой стороны, им навязывается *мораль* — некий код, состоящий из системы запретов и предписаний, указывающих на угодный либо негодный Божеству образ действий и мыслей.

Когда человек последовательно и неукоснительно исполняет все культовые и моральные установления подобной религии, он чувствует себя вполне удовлетворенным; отношениям с высшей силой обеспечена прочность и стабильность, и можно считать, что «Бог у него в кармане». Избавившись таким образом от страха наказания, человек ожидает отныне от Божества лишь услуг и вознаграждения за праведность. Люди, относящиеся к данному типу религиозности, часто полны сомнений в том, что касается их собственного благочестия и добродетели. Зато они проявляют поразительную суровость к собратьям, не могущим похвастаться, подобно им, религиозной и нравственной безупречностью.

Поиски истины

Вторым источником человеческих суждений о существовании Бога являются неустанные поиски истины, жажда познания.

В рамках всех известных истории великих цивилизаций стремление человеческого разума отыскать ответы на основные философские вопросы приводило к возникновению *теологии* — богословия,

то есть «рассуждений о Боге». Наиболее характерный и совершенный пример такого пути от философии к теологии дает нам Древняя Греция.

Для древних эллинов идея Бога являлась логическим выводом, следствием созерцания природы. Вглядываясь в окружающий нас мир, мы замечаем, что все существующее в нем подчинено определенной закономерности и разумному порядку. Ничто в природе не является ни случайным, ни произвольным. Таким образом, мы вынуждены признать, что само происхождение мира есть результат логической последовательности: мир существует как следствие какой-то конкретной причины. Эта Первопричина, «первопринцип» мира, и получает наименование Бога.

Мы не обладаем точным знанием того, чем является по существу Первопричина мироздания. Тем не менее путем логических рассуждений можно выявить некоторые свойства, которыми должен обладать Бог-Первопринцип. Так, источник Его бытия не может находиться в чем-либо Ему предшествующем; следовательно, Он является «Причиной-в-Себе», то есть причиной существования не только мира, но и Себя Самого.

Поскольку благодаря Своей «самопричинности» Первопринцип не зависит ни от чего другого, Он должен рассматриваться как всецело довлеющий себе, как совершенно свободный от какого бы то ни было внешнего принуждения. Следовательно, Он по необходимости является вечным, всемогущим, бесконечным. В Нем начало того движения, посредством которого осуществляется становление мира и которое мы называем временем. При этом Бог, будучи принципом всякого движения, Сам пребывает абсолютно недвижим, ибо не существует ничего предшествующего Ему, что могло бы привести Его в движение. Поскольку Он неподвижен, то и не подвержен никакому изменению, а значит, бесстрастен и совершенно благ по природе.

Все эти умозаключения, как и множество других, которые мы могли бы вывести путем логических рассуждений, нисколько не приближают нас к познанию Бога; они всего лишь принуждают наш разум признать как некую реальность гипотезу о существовании Бога. Так, например, если бы мы путешествовали через пустыню и в самом ее сердце вдруг наткнулись бы на встающий среди песков дом, то вынуждены были бы признать, что его кто-то построил, ибо дома в пустынях сами собой, как известно, не возникают. Но кто именно построил этот дом, остается загадкой. Конечно, мы в состоянии, исходя из особенностей постройки, сделать кое-какие выводы об отдельных качествах или отличительных чертах строителя — например, обладает ли он вкусом, способен ли гармонично распределять объемы здания. Мы можем также определить, для каких целей предназначал он свое творение. Но личность его для нас останется неизвестной. Если нам не доведется встретиться с ним лицом к лицу, то мы так никогда его и не узнаем. Хотя строитель

несомненно существует, непосредственному познанию он совершенно недоступен.

Личное отношение

Третий важнейший исток идеи Бога питается уникальной исторической традицией — традицией еврейского народа.

Евреи начинают говорить о Боге в связи с конкретным историческим событием: приблизительно за тысячу девятьсот лет до начала христианского летосчисления в стране халдеев (южная часть Месопотамии, недалеко от берегов Персидского залива) Бог открывает Себя конкретному человеку по имени Авраам. Авраам встречается лицом к лицу с Богом, как с личностью, как мы встречаемся с человеческим существом, с которым можно беседовать, можно непосредственно общаться. Бог призывает Авраама оставить свою страну и переселиться в Ханаан, землю, предназначенную потомкам Авраама и его жены Сарры, до того времени бесплодной.

Познание Бога, вытекающее из личной встречи с Ним Авраама, не имеет ничего общего с умозрительными гипотезами, дедуктивными рассуждениями и логическими доказательствами. В данном случае речь идет о личном опыте; о той вере-доверии, что рождается между двумя близкими друг другу личностями. Бог являет Себя Аврааму через нерушимую верность Своим обещаниям; Авраам, в свою очередь, предает себя в руки Бога до такой степени, что готов принести в жертву сына, рожденного наконец Саррой в старости, — сына, через которого должны осуществиться Божественные обетования.

Исаак и Иаков, сын и внук Авраама, обретают столь же непосредственное знание Бога в опыте прямого личного общения с Ним. Таким образом, для потомков этой семьи — прародительницы народа Израильского — Бог не является ни абстрактным понятием, ни безличной силой. Когда еврейская традиция говорит о Боге, речь идет о «Боге наших отцов», «Боге Авраама, Исаака и Иакова» — конкретной личности, с которой праотцы могли беседовать, могли непосредственно общаться. Следовательно, познание Бога основано здесь на вере-доверии к опыту предков, на достоверности их личного свидетельства.

Выбор цели и пути

Рассмотренные нами три истока проблемы Бога не принадлежат исключительно прошлому. Они остаются реальной возможностью выбора независимо от времени и места, в которых этот выбор осуществляется. Всегда находятся люди, принимающие существование Бога не потому, что их заботит вопрос о его истинности или же волнуют вызванные подобным допущением проблемы умозрительного характера. Просто эти люди испытывают психологическую потребность ввериться какой-либо «трансцендентной» силе, потребность

обрести уверенность перед лицом неизвестности, а также необходимость установить и поддерживать в мире нравственный порядок.

В то же время всегда находятся люди, принимающие существование Бога лишь постольку, поскольку их вынуждает к тому логика рассуждений. Они верят в то, что называют «Высшим Разумом», «Верховным Существом», являющимся принципом возникновения и существования всех вещей. Им не дано знать — да они и не слишком к тому стремятся, по правде говоря, — что такое есть этот «Высший Разум» и «Верховное Существо». Даже когда они соединяют свою простую рассудочную уверенность в существовании Бога со следованием некоторой религиозной практике — культовым и моральным предписаниям, принятым в их социальном окружении, — даже тогда их отношение к тайне Божества отмечено глубочайшим агностицизмом, удовлетворяющимся лишь самой общей и абстрактной идеей «Верховного Существа».

Наконец, есть третий способ отношения к проблеме Бога: вера-доверие к историческому опыту Откровения. «Дети Авраамовы», народ Израильский, на протяжении веков хранят непоколебимую уверенность в истинности Бога, основываясь не на эмоциональных и не на логических факторах, но на простой убежденности в достоверности праотеческого опыта. Бог являет Себя через вмешательство в ход исторических событий; Он подтверждает Свое присутствие в мире в рамках Откровения, имеющего всегда свойство личного отношения с тем или иным человеком. Он являет Себя Моисею и говорит с ним «лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим» (Исх. 33,11). Он призывает пророков напоминать народу Израильскому о заключенном союзе, которому Сам Бог хранит нерушимую верность.

Тем, кто с доверием относится к историческому опыту предков в отношении Божественного Откровения, уже не составляет больших усилий принять, со своей стороны, новое явление Божества в человеческой жизни, на этот раз «во плоти», в Лице Иисуса Христа. Действительно, для рационалистического мышления понятие «Божество» и «воплощение» являются взаимоисключающими: каким образом Бог, по самой природе Своей бесконечный, безграничный, всемогущий и т. д., может воплотиться в отдельном человеке, в этом конечном, несовершенном, ограниченном во времени и пространстве осколке бытия? Поэтому для эллинов даже поздней эпохи, эпохи Христа, провозглашение «Божественного воплощения» — поистине «безумие» (1 Кор. 1,23).

Тем не менее, чтобы принять или отринуть это «безумие», необходимо ответить сначала на несколько фундаментальных вопросов, определяющих в самых общих чертах смысл и содержание, которые мы вкладываем в нашу жизнь: устроен ли мир по законам формальной логики? Является ли его существование заданным в категориях человеческого разума? Или же сущность вещей не может найти полного выражения ни в каких заранее предначертанных схемах и рассудочных построениях, и потому, чтобы действительно познать ее, нам необходим непосредственный живой опыт? Что обладает подлинным быти-

ем — лишь то, что мы воспринимаем органами чувств; то, что находит подтверждение со стороны нашего рассудка? Или же существуют и такие реальности, которые мы познаем через опыт личного *отношения*, наиболее непосредственного и в то же время наиболее всеохватывающего; отношения, в силу которого мы в состоянии, например, воспринимать смысл стихотворения, скрытый за прямым значением слов? Если мы способны понимать язык символов, чувствовать неповторимую уникальность каждого человеческого лица, улавливать глубинный смысл утверждений современной физики о «четырехмерном континууме» или о двойственной природе света — не познаем ли мы все это путем того же непосредственного отношения?

Все эти вопросы заслуживают длительного изучения и подробного анализа, но в результате мы слишком далеко уклонились бы от основной темы, занимающей нас в данный момент. Прежде всего мы должны уточнить средства и пути, которые мы используем для того, чтобы говорить о Богопознании. Если нас интересует абстрактное понятие Божества, являющееся результатом логического вывода, то в процессе углубленного изучения этого понятия приходится следовать законам человеческого мышления. Если мы стремимся приблизиться к Богу психологии и религиозного чувства, необходимо культивировать в себе определенные психические свойства и религиозные переживания, открывающие доступ к этому типу познания. Наконец, в том случае, если мы хотим обрести знание Бога иудео-христианской традиции, наш путь — это путь личного опыта и отношения, путь веры. Метаться между тем или иным путем Богопознания, смешивая разные его виды, — вернейший способ сбиться с дороги и оказаться в тупике.

Вера

В сознании большинства современных людей слово «вера» обладает вполне конкретным значением: верить — значит безоговорочно принимать какие-либо принципы и положения, присоединяться к той или иной системе взглядов, по сути своей недоказуемой. Сказать «я в это верю» — на деле означает, что я соглашаюсь с данным утверждением, даже если его не понимаю. Я склоняюсь перед авторитетом — не обязательно религиозным, он может иметь иную природу — скажем, идеологическую или политическую. Вообще, под словом «вера» с равным успехом могут подразумеваться как религиозное убеждение, так и любое идеологическое учение или безоговорочная преданность своей политической партии. Таким образом, многие склонны воспринимать это дежурное слово с неопределенным кругом значений как нечто священное и выражающее самую суть метафизики, в то время как в упомянутых выше случаях оно лишь сосредоточивает в себе основной принцип всякого тоталитарного мышления: «Принимай на веру и не задавай вопросов!».

Надо прямо сказать, что подобное понимание веры не имеет ничего общего с тем значением, какое это слово получило в иудео-христианской традиции. Для иудеев и христиан «вера» выражает вовсе не то понятие, которое пытаются приписать ей воинствующие идеологи, но означает скорее что-то вроде «кредита», в том смысле, в каком еще и сегодня понимается кредит в деловых кругах.

В самом деле, когда мы говорим, что такой-то бизнесмен пользуется кредитом, то при этом подразумеваем, что данный человек внушает доверие своим компаньонам. Его все знают: знают его способ и стиль ведения дел, его последовательность в исполнении взятых на себя обязательств. Если в один прекрасный день ему вдруг потребуется финансовая помощь, всегда найдутся люди, готовые предоставить ему ссуду, и при этом, возможно, даже не потребуют с него расписки, так как сочтут вполне достаточной гарантией слово и самую личность делового человека с безупречной репутацией.

Именно такое понимание веры, сходное с существующим в области коммерции и предпринимательства, жило всегда в иудео-христианской традиции. Объектом веры в данном случае является вовсе не набор абстрактных идей, источник достоверности которых — в чем-либо непогрешимом авторитете. Объект веры — это люди; живые и конкретные человеческие личности, вызывающие наше доверие постольку, поскольку оно основано на нашем непосредственном опыте общения с ними.

Выразимся еще определеннее: если мы верим в Бога, то причина этого не в том, что нас принуждает к вере какое-либо умозрительное суждение, и не в том, что какое-то конкретное учреждение дает нам неоспоримые гарантии существования Божества. Мы верим в Него потому, что Его Личность, Его личностное существование вызывают в нас чувство доверия. Деяния Бога, Его «проявления» в человеческой истории заставляют нас стремиться к общению с Ним.

Разумеется, лежащее в основании веры отношение может быть как прямым, так и опосредованным — подобно тому, как это происходит в наших отношениях с людьми. Я верю такому-то человеку, полностью доверяю ему, потому что хорошо его знаю, общаюсь с ним. Но порой я испытываю не меньшее доверие и к лично не знакомому мне человеку, поскольку люди, на которых я полагаюсь всецело, могут засвидетельствовать его безупречную порядочность. Равным образом я способен с чувством глубокого доверия относиться к художнику или писателю, которого никогда не видел, но чьи произведения внушают мне веру в его человеческие достоинства и восхищение его личностью.

Итак, существуют различные уровни веры; мы можем переходить от веры поверхностной к вере более глубокой и более безусловной. Это движение не знает конечной точки. Когда порой нам кажется, что мы уже достигли высших пределов веры, она неожиданно для нас самих возрастает еще более или же внезапно умирает, исчезает бесследно. Что такое вера, как не динамичное и непрерывное стремление к «недостижимому совершенству»? В обобщенном

виде жизнь веры можно представить так: она начинается с доверия к доброму имени человека, укрепляется и растет по мере более близкого знакомства с его делами и поступками и, наконец, превращается в уверенность при личной встрече, непосредственном общении и установлении прямых человеческих отношений. Охватывая все наше существо, вера становится полной самоотдачей. Когда между людьми возникает любовь и неудержимое стремление к единению, тогда то, что было в начале не более чем доверительной симпатией, преобразается в чувство беззаветного самопожертвования. В неподдельном любовном горении чем сильнее человек любит, чем ближе узнает другого, тем более он верит ему и отдается любви. Вера, рожденная настоящей любовью, неисчерпаема; она поддерживает в любящем состоянии восторженного удивления все новыми и новыми открытиями в любимом человеке. Вера — это вечный порыв, неутолимая жажда слияния личности с личностью.

Все сказанное может быть отнесено и к религиозной вере. Она начинается с простого доверия к свидетельству познавших Бога, живших в единении с Ним и удостоившихся видения Его лица людей — с доверия к свидетельствам праотцев, святых, пророков, апостолов. Затем вера возрастает, открывая для себя Божественную любовь, проявляющуюся в Его творении, Его действии в человеческой истории, Его слове, вводящем нас в Царство Истины. Постепенно мы чувствуем, что связь между нашей личностью и Богом становится все теснее. Его несотворенная красота и ослепительный свет Его Славы делают все более явными для духовного видения. Божественный Эрос, рождающийся в душе, преобразует нашу веру «от славы в славу» (2 Кор. 3,18), дарует нам чувство непреходящего изумления перед тайнами Откровения, неподвластными времени.

На любой стадии, любой ступени своего развития вера остается событием, опытом личного отношения. Как далек этот путь от простого согласия интеллекта с логическими выводами, от пути «объективного» знания! В поисках библейского Бога, Бога Церкви, мы должны следовать соответствующим нашим устремлениям путем веры. Доказательства бытия Божия, «объективные» доводы апологетики, подтверждение исторической подлинности источников христианской традиции — все это может сыграть важную вспомогательную роль в том, чтобы пробудить в нас потребность в религиозной вере. Но сами по себе подобные вещи не в состоянии ни заменить собой веру, ни привести к ней.

Когда Церковь призывает нас принять хранимую ею Истину, речь идет не о теоретических положениях, с которыми мы должны согласиться априори, без всяких рассуждений. То, что нам предлагают, — это личное отношение, это определенный *образ жизни*, основанный на личной связи с Богом или же последовательно ведущий к установлению подобной живой связи. В результате изменения самого *модуса* нашей жизни она перестает быть индивидуалистической борьбой за «место под солнцем» и обретает высший смысл в общении, в причастности другому бытию. Церковь есть *тело*

общения, члены которого живут не ради самих себя, но в нераздельном единстве любви с другими членами того же тела и его *главой* — Христом. Верить в Истину Церкви означает стать составной частью образующих Церковь «уз любви»; целиком отдаться любви Бога и святых, которые, в свою очередь, принимают меня с таким же доверием.

Итак, мы приходим к Богу не через определенный образ мыслей, но через определенный образ жизни. Любой естественный процесс роста и созревания всегда представляет собой не что иное, как образ жизни. Как возникает наша привязанность к отцу и матери? С самого рождения, с кормления грудью, с первого ощущения родительских ласк и забот до осознанного приятия их любви в душе ребенка подспудно и как бы незаметно крепнет вера в отца и мать. Любви, связывающей родителей и ребенка, не нужны ни логические доводы, ни какие-либо иные гарантии. Лишь когда эта связь подорвана, возникает нужда в доказательствах, и тогда аргументы рассудка силятся подменить собой жизненную реальность.

Перевод с новогреческого Галины ВДОВИНОЙ



ЦЕРКОВЬ ЕСТЬ МИР БОЖИЙ

(Беседа с о. Георгием Кочетковым)

Священник Георгий Кочетков — настоятель Владимирского собора бывшего Сретенского монастыря в Москве.

В середине 60-х, еще учась в школе, Г. Кочетков пришел к вере. Начало семидесятых годов стало для него временем интенсивной духовной работы, направленной на осмысление православной традиции и на поиск своего места в Церкви и мире. К концу 70-х в «Вестнике РХД» под различными псевдонимами стали появляться его серьезные богословские работы.

В 1980 году, сдав экстерном экзамены за курс семинарии, Кочетков поступил в Ленинградскую духовную академию. А в 1983 по инициативе КГБ был (непосредственно перед выпуском) исключен из академии за миссионерскую деятельность.

Период безработицы и полуподпольного существования закончился лишь в 1988 году. Начиная с этого времени о. Г. Кочетков служит священником на приходах Московской епархии Русской Православной церкви, а с 90-го года ведет работу по возрождению приходской жизни во Владимирском соборе.

В настоящее время о. Георгий также руководит основанной им еще в условиях подполья Московской высшей православно-христианской школой.

— Церковь и современное общество — фундаментальная проблема для людей, пытающихся осознать себя христианами в посттоталитарное время. И прежде всего важно разобраться, понять, что же собственно есть Церковь — сегодня и всегда? Как бы Вы ответили на этот вопрос?

— В миссионерской практике я всегда, ежедневно ожидаю этого вопроса. Приходя из мира индивидуалистического, люди действительно не понимают, что есть Церковь, тем более, что аналога Церкви — в православном смысле этого слова — нет не только в обществе, но и в других религиях. С другой стороны, люди что-то знают о том, что называется Церковью испокон веков. Они, часто сами не сознавая того, ждут чего-то формально ритуалистического, дающего набор правил, почти всегда — запретов, причем практически бесконечный набор, иногда ничем не обоснованный, даже здравым смыслом. Скажем, на одном подмосковном приходе, где я служил, бытовал такой церковный «фольклор», народное поверье: не входить в храм до тех пор, пока не обойдешь несколько раз вокруг него. Это считалось чуть ли не обязательным и в сознании верующих существовало наряду, если не наравне, с важнейшими положениями Священного Писания.

Вот и получается, люди что-то подобное слышат и, естественно, стараются держаться на расстоянии от такой «Церкви».

Так что же такое Церковь? Мне ближе всего следующее определение: Церковь есть мир. Но не просто «мир» и не «мир сей», но мир Божий — там, где Бог.

Очень важно сразу сделать разделение на «мир сей» и «мир Божий». «Мир сей» — это не фигура речи, но вполне определенное понятие, которое относится только к миру, отошедшему от Бога, а

не вообще к миру. Только настолько, насколько мир отошел от Бога, он «мир сей», имеющий своего князя, своего владыку — сатану, дьявола, который и есть то самое зло, что процветает и плодоносит в «мире сем».

«Божий мир» — нечто совершенно другое, прямо противоположное. Еще раз скажу, мир Божий там, где Бог. Где Бог, там и Церковь, там, где есть что-то от Бога или сам Бог благодатию своею присутствует. Присутствует во всех нас, пусть даже **частично**, ведь никто из людей не смеет присваивать себе Бога, класть его себе в карман и говорить: вот, я обладаю Истиной. Это все равно, что сказать: «Я есть Истина». Однажды Христос это сказал, и он был Единственным, кто имел на это все основания.

Итак, Церковь как мир Божий, который включает в себя и вселенную, космос (и здесь восточная православная интуиция универсального космического богословия совершенно уместна), и, самое главное, человека, людей, осознанно живущих в Церкви, в общении с Богом и друг с другом в Боге. Это мир, в котором действует Бог... И, конечно, человек тоже, потому что человек несет образ Божий в себе — **всегда**, каким бы он (человек) ни был. Пока человек жив на земле, мы можем утверждать, что в нем **есть** образ Божий. Да, страшно затемненный, оскверненный часто, но **есть**, и, значит, в человеке, пока его можно назвать человеком, есть нечто, что его может открыть Церкви, приобщить Церкви... пусть потенциально.

— Человек в своем падении часто теряет не только «образ Божий», но и человеческий облик... Можете ли Вы на основании Вашего пастырского опыта рассказать, как происходит, если происходит, возрождение человека, возврат к себе, к заключенному в нем «образу Божию»?

— Прежде всего это всегда **не** возврат. Это всегда движение **вперед**. Возврат нам не дан, и мы никогда не можем думать о возврате в Рай, потому что и там стояла своя положительная задача, была определенная заповедь для Рая. И мы призываем людей не в Рай, а через Церковь как Божий мир — в Царство Небесное, о котором говорит Господь в Евангелии, которое есть Радость и Мир во Святом Духе.

Человек, несущий в себе образ Божий, всегда несет потенцию быть духовным, быть в единстве с Духом Святым. При всем том, что в человеке могут жить и размножаться какие угодно иные духи, часто противоречащие, а то и противоположные Богу.

Важно почувствовать, что в мире действуют Бог и человек. И если человек что-то не сделал по направлению к Богу, на один шаг вперед к нему не двинулся, не открылся, то Бог **не может** действовать, не может Себя проявить, так как это было бы насилием. Дух есть сила, благодать имеет силу, но Бог никогда не насилует.

Поэтому для людей, которые отвернулись от Бога, — Бога действительно нет. Он не может пробиться, достучаться через эту кору к душе человека.

Но всегда можно рассчитывать на присутствующую в человеке интуицию, на какой-то опыт, способный прорвать эту кору, оболоч-

ку. Пусть не осознанный словесно, может быть, в детстве, в общении с друзьями, может быть, в любви семейной, может, еще как-то, иногда и предположить трудно — как. Но мы всегда рассчитываем на то, что слова о Божьем мире находят отклик не только и не просто в сознании человека, не только рожают некий образ красочный или тем более лубочный, но падают на почву, где **есть** семена, которым просто нужно дать возможность прорасти.

На этом основана всякая христианская миссия, проповедь. Если бы этого не было, то было бы совершенно бессмысленно говорить людям о Боге, тем более о Церкви. Люди пришли потому, что они Бога не знают и в Церкви не находятся. А на самом деле что-то в них уже заложено, болит, томится... И задача миссионера, проповедника всегда только **раскрыть**, взрыхлить эту почву, пробить кору своим словом, примером своим, тем духом благодати, который Господь посылает, дает в этот момент.

Церковь может открыться человеку через другого человека... даже через одного-единственного. Но это не один как индивидум, но один как **личность**, а личность в христианстве — всегда соборна, всегда не одинока (в смысле — не индивидуалистична, не эгоцентрична, не оторвана от Бога и Божьего мира). И поэтому Церковь — это всегда не один, не просто один. Так начинается процесс познания Церкви...

— Можно ли сказать, что есть некий — не названный даже для себя — опыт «естественного богопознания», который одновременно есть и опыт предчувствия Церкви, того, что должно быть Церковью?

— Да, чаще всего он не называется или называется совершенно неправильно, выражается совершенно неадекватно. Да, это и опыт «естественного» богопознания. Когда человек **восхищен** красотой мира, в него тоже входит то, что от Бога, мир создавшего. Или когда он сталкивается с настоящей добротой в себе или даже не в себе — в истории или современности... И тут бесконечно важен институт святых в Церкви, как институт примеров.

Но предшествовать всему может и не только «естественный», но и совершенно мистический опыт подлинного откровения, даваемого людям до их прихода в Церковь. Есть колоссальная сокровищница свидетельств такого рода, в том числе и современных.

Бог действует сегодня точно так же, как Он действовал и прежде — во времена апостолов, во времена Моисея и Авраама. Он действует так же. Мы — другие. И в этом огромная трудность. К огорчению, слишком часто приходится встречаться с проблемой анахронизма, когда люди к Ветхому Завету относятся с позиций новозаветной эпохи и наоборот — к Новозаветному времени, к нашей эпохе относятся с позиций эпохи Закона. Это большая опасность в познании Церкви, ибо возникает неумение чувствовать эпохи, нечувствие соответствия между данностью и спросом: что дано и что спрашивается — сейчас, здесь. И люди начинают ошибаться.

Потому и проповедовать сейчас значительно труднее, чем тысячу лет назад: образ Церкви в сознании людей и в церковной практике искажен, внутреннего опыта познания Церкви нет, антицерковных (по существу) предрассудков накопилось — в том числе и в Церкви как институции — огромное количество. Здесь поработали как атеисты, так и, простите, многие церковники...

— То есть Вы подразумеваете, что антицерковность может бытовать и даже культивироваться в самой церковной ограде? Как Вы думаете, почему такое происходит?

— Потому, что люди продолжают жаждаť внешнего авторитета. Чудо, тайна, авторитет, понятия как нечто внешнее, механическое,— еще Достоевский назвал эти язвы, на которых, добавим, и зиждется империя Великого Инквизитора, но отнюдь не Церковь, не Царство Божие. А многие хотят строить Церковь именно на этом. «Есть некая ТАЙНА священства! Оно пророчит! Оно не может ошибаться!» При чем такой подход **воспитывается**. Считается, что возразить, сказать, например, что Патриарх чего-то не знает или правящий архиерей ошибается,— нельзя! Неприлично, неудобно, несуразно! И это все присутствует, причем именно на практике, в жизни, что всегда самое страшное... Господь смотрит на жизнь, Он не смотрит на одни наши декларации.

— Да, Церковь — мир Божий и люди, входящие в этот мир. А еще?..

— Мне хочется вспомнить слова Бердяева: Церковь есть мир как красота, мир, в котором растет трава, есть звуки, цветут цветы. Очень жаль, что эта красота иногда уходит, цветы стали бумажными, иконы тоже. Раньше не стеснялись огромные площади стен в храмах расписывать просто растительными орнаментами. Вспомним Софию Киевскую. Сейчас это считается неприличным, обязательно нужно втиснуть что-нибудь дидактически-назидательное и потому лубочное... Да, Церковь — это мир как красота, как доброта, как их единство. Церковь — это то, что хорошо, в библейском смысле этого слова. Но и не только то, что хорошо. В Церкви есть прямое присутствие Божие — во Христе и через Христа, Духом Святым. И Бог по ту сторону добра и зла, разделение этого мира, где добру корреспондирует зло, Бога коснуться не может.

Церковь есть место присутствия благодати, присутствия того, что является началом Царства Небесного, «залогом Духа», как постоянно говорит апостол Павел. Мы получили великий залог, но только залог, о чем мы тоже часто забываем.

Если мы сами поймем и сможем объяснить другим, что есть Церковь вот в этом космическом и каком-то таком глубинном и трепетном смысле, который трудно выразить, то мы должны, обязаны говорить о том, что в Церкви — полнота Духа и Логоса. Во всяком случае — в смысле **приобщенности** Церкви к этой полноте, то есть опять же — в смысле **аванса** и **залога**. И мы не имеем права считать нормой ничего из того, что не приобщено полноте Духа и Смысла. Не имеем права терпимо относиться к бессмыслице, даже если эта бессмыслица в богослужении, даже если она вошла в традицию, в

общепринятые формулы, в каноны. А мы находим, мягко говоря, следы бессмыслицы во всем этом...

— Вы имеете в виду обычаи, однотипные, в принципе, тому хождению кругами вокруг храма, о котором Вы говорили?

— И не только обычаи. Всякое противоречие Духу Божию не должно встречать с нашей стороны ложного смирения. Мы слишком часто смиряемся перед тем, что не Божеское.

Но нельзя и действовать как-то оголтело, потому что люди часто теряют Дух и Смысл, «защищая» Дух и Смысл, что было сплошь и рядом — вплоть до инквизиции, явной и тайной, в прошлом и настоящем. А инквизиторские тенденции и у нас сегодня явно усиливаются, это очень тревожный симптом.

Приобщенность Церкви к полноте Духа и Смысла — это главная внутренняя характеристика Церкви, это есть свет Церкви, то, к чему мы должны относиться трепетно как к дару благодати Божией...

— Но Церковь — это ведь и институты, структуры, иерархические, административные и так далее. Нет ли здесь противоречия с тем, о чем Вы говорите?

— Церковь — это прежде всего люди, призванные и ответившие на призыв в меру своих сил (и тут тоже нет шаблона, силы у людей очень различны; то, что один человек может осуществить в своей жизни только к концу ее, для другого — исходная позиция). Повторим, Церковь — это искупленный народ, люди, а не объективированные структуры, учреждения. У меня всегда было ощущение, что любые человеческие учреждения в Церкви — они все-таки такие же, как в социуме: объективные, человеческие. Это не означает, что в них сплошной мрак, но — смешение добра и зла, света и тьмы. Так, как в «мире сем». Церковь существует в «мире сем» и потому неизбежно пользуется институтами, учреждениями. Надо иметь в виду еще и то, что в историческом существовании накопились какие-то традиции, где много хороших вещей, но много и плохих. Мы же этот исторический воз везем, а коли везем, то постоянно актуализируем, воспроизводим, оживляем или, что хуже, — гальванизируем нечто, что можно не уничтожать, нет, но спокойно сдать в архив, в память...

Итак, первое. Церковь — это не здание церковное, не храм только. Храм, хоромина, красивый дом становится Церковью тогда, когда в нем собираются живые Божьи люди.

Второе: пока Церковь в истории, в «мире сем», — будут учреждения, установления, структуры. Но, и это важно, они могут быть организованы очень по-разному. Мы часто удивляемся прекрасной католической организации, и мы не должны относиться к ней ни завистливо, ни отчужденно: хорошее должно признать хорошим. Попытки отрицать все подряд только потому, что оно католическое, — смешны.

Но вот когда какие-то формы, приспособленные для жизни в «мире сем», догматизируются, фетишизируются — это беда. И это проблема не только католическая, но и наша.

— В обыденном сознании часто Церковь — это работающий в Церкви человек. Возникает вопрос о священстве в Церкви. На Ваш взгляд, в чем смысл священства?

— Серьезнейшая проблема. Сейчас практическая деятельность, священство — профессия, нельзя это отрицать. И вопрос не случайно у многих возникает: почему вдруг священник за служение Богу получает деньги? Отвечать на него крайне трудно. Да, можно сказать, что священство и профессиональная деятельность, кроме прочего. Но почему это стало профессиональной деятельностью? Нормально ли такое положение? Мы сталкиваемся с непроясненностью самого новозаветного сознания в вопросе о священстве, будь то священство Христа или иератическое священство. Мы все время опираемся на ветхозаветные образы, как на более понятные и близкие. Можно проследить, как эти образы все больше и больше завладевали церковной практикой и проходили в каноны. Неслучайно почти забыто новозаветное по духу учение о священстве народа Божия, даже упоминание о нем многих настораживает как протестантская ересь.

О священстве Христа довольно много сказано в Послании к евреям, но и там нельзя не заметить опору на ветхозаветные представления о священстве, ибо апостол обращается к народу, который тысячи лет жил внутри этих представлений, говорит на его языке. Может, поэтому Послание к евреям стоит несколько особняком в Новом Завете.

— Вы говорите о ветхозаветном понимании священства как **жречества**? И это — общерелигиозное, универсально религиозное понимание, оно же и языческое, да?

— Да, не случайно мы и употребляем именно слово «священник» — по гречески «иеревс», то есть «жрец», то есть «профессионал».

Ведь когда читаешь в канонах о том, что иерархических лиц за тяжкий грех лишают священства, но не отлучают от Церкви, а мирянин за тот же грех отлучается, то в пору только руками развести. Абсолютно языческий принцип, прямо противоречащий духу Нового Завета. Потому так трудно говорить людям о Церкви, как о святом, «освященном», как сказано в 1-м Послании апостола Петра, народе, приобщенном к благодати Божией, к дару.

Церковь — это ни в коем случае не только те, кто получает в храме зарплату, имеет особую профессиональную подготовку и т. д. И даже не только те, кто действительно призван к служению Церкви, то есть те, кто служат народу Божьему, людям, несущим в себе другие дары Духа, но нуждающимся в каком-то попечении о себе, в управлении. Среди даров Духа есть и дар управления, но он никогда не ставился и не должен ставиться на первое место, что, увы, случается в церковной практике.

Я не говорю уже о том, насколько соответствуют избранию Божию те рукоположения, которые происходят у нас сегодня. В семинарии в конце учебного года массовым порядком, оргнабором рукополагают выпускников. У меня всегда было ощущение, что это

вроде протестантской инсталляции¹, а не осознанное выявление Божьего избрания данного человека на служение, чем по существу должно являться рукоположение.

— Церковь — это люди в Церкви. Но люди есть и вне Церкви, последние в подавляющем большинстве. Сам же антропологический тип современного человека так или иначе сформирован христианской эрой. Христианство вытеснено в подсознание, но абсолютное большинство «подсознательных христиан», нецерковных людей имеют в жизни опыт (пусть фрагментарный) прорыва к чему-то подлинному — к любви, бескорыстию, жертвенности, то есть, по существу, к тому, что «не от мира сего», но от «мира Божьего», от Церкви. А параллельно известны слова преподобного Серафима Саровского, что все доброе, но не во имя Христа совершенное, ценности не имеет. Как это совместить?

— Я хотел бы начать со слов преподобного Серафима. Мне кажется, что здесь очередной пример непонимания того, что хотел сказать святой. Не говоря уже о том, что нужно быть очень осторожным с буквальностью, с **буквой** его высказываний: почти ни одной буквы, им написанной, у нас нет. Но есть некий духовный образ Серафима Саровского, который позволяет нам думать, что творение добра во имя Христово — это не просто рациональная установка, декларация: «Вот, я во имя Христа делаю то-то и то-то!» И даже не просто отражение ментальности. Что значит — творить добро **во имя Христа**? Наверное, это и есть стяжание Духа Святого, благодати. Быть, служить, что-то делать **во имя Христа** — это значит делать **от Христова Духа**, Христовой силой, даже если она самим делателем не названа, для себя не осознана. Или осознана неправильно, неадекватно, неточно.

«Христиане без Христа» — страшная проблема, мучительная вещь, особенно для России, где люди, часто на словах отталкивающиеся от Христа и Церкви, на деле исходят из ориентиров, заданных христианством.

Когда добро совершается действительно во имя Христа, пусть это не названо так, то это будет реальное добро, принятое Богом. Но когда человек, пусть даже он обложится всеми книгами и знаками, всеми крестами и панегиями, но при этом не во имя Христа, не от духа Божьего, а в лучшем случае от идеологии, от ума будет делать добро, не прилагая к тому свое сердце, то мы знаем, что говорит Писание: «Устами своими чтут Меня, а сердце их далеко отстоит от Меня», «Не всякий, говорящий Мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Слишком важные слова, чтобы не заметить их.

Церковь не дает внешних гарантий, она поддерживает, питает, открывает возможности, и поэтому надо быть церковным человеком. И в наше время как никогда. Но эта церковность не должна

¹ Инсталляция — в протестантских конфессиях — «возведение в должность», в отличие от принятого в Православии церковного Таинства рукоположения.

сводиться к атрибутике, к внешнему ряду, набору правил, пусть самых-самых святых.

— На практике «церковные» люди часто взирают на «нецерковных» несколько свысока: мы пришли в Церковь, а вы нет...

— Вспоминаются слова пророка: «Мои мысли, говорит Господь, не ваши мысли». Действительно существует этот комплекс подозрения, укоризны, собственного превосходства по отношению к тем «нецерковным», кого мы не имеем права ни подозревать, ни укорять. Все наоборот: им меньше дано, а они делают чаще не меньше, а больше, чем мы.

За нецерковных людей всегда должно быть внутреннее беспокойство, потому что, не будучи поддержанными, они могут упасть и не знать об этом, не знают опасностей. И совсем небезразлично, что менталитет, мысли человека не поддерживают добрых порывов его души, благодатных ответов его души Богу, подавляют эти отклики ложными представлениями, идеями и т. д. В нашу эпоху человек очень часто неадекватно себя осознает, он часто лучше, чем то, что он исповедует, думает, о чем говорит и даже делает.

— Церковные учреждения — это «стены и башни», нечто взятое из мира, средства. А Бог действует не только там, где «стены и башни», где священство, но и вне всего этого. Тогда зачем Церковь?

— Это вопрос об открытости или закрытости, то есть вопрос веры. Веры не как идеологии, а веры как духа. Человек духовен, следовательно, можно говорить о Церкви как о Граде Божьем, но границы этого Града никогда не объективированы, то есть не даны как предмет. Даже внутри канонических границ есть явно мертвые зоны, а вне их есть безусловно живые. Мы никогда не можем быть уверены даже в том, что, скажем, в алтаре воцерковленность обитателей выше, чем в притворе. Есть случаи, когда в притворе люди церковнее, святее, чем в алтаре.

Границы мира Божьего есть границы Церкви. Все определяется открытостью и верой. Чем более человек «открыт», чем более «расширено его сердце», говоря словами апостола Павла из 2-го Послания к коринфянам, чем более оно вмещает, тем больше благодати живет в нем.

И все дело в том, как «открыть». Благодать — это сила, которая не может насильствовать. Для Бога это такая же проблема, как для нас: «войти дверью, а не прилазить инде», ибо здесь в основе — **общение**, встреча и общение. Мы входим в самую глубь экзистенциальных категорий, которые собственно и раскрыли нам сейчас христианство в таких понятиях — необъективированных, не отстраненных от нас лично.

Церковь — это встреча и общение, общение с Богом, общение с людьми, общение с тварным Божьим миром. Общение есть дух, плод духа, благодати.

— Но этого, а вернее, **такого** общения, кажется, недостаточно даже и в церковной ограде?

— Таков горький плод оскудения веры и любви... Оскудения любви и веры **внутри** тела веры, тела любви, внутри реальной Церкви...

— Значит, Церковь и «Церковь» могут не совпадать? Человек с жаждой веры, в поиске истины, приходя в Церковь неизбежно попадает и в «Церковь» тоже, то есть в определенную конфессию, юрисдикцию, среди которых есть и Православие. Что для Вас значит Православие?

— Я думаю, Православие не есть только каноническая, конфессиональная, юрисдикционная категория. Мне кажется, есть православие — с маленькой буквы — византийско-российская традиция, великая — да, но и частная тоже. И есть Православие с большой буквы — тождественное Христианству, тоже с большой. Это Православие, его свет я могу находить и у католиков, и у протестантов, не только у нас. Православие везде, где есть Дух Божий, Дух Христов, везде, где что-то делается во имя Христово, в том смысле, о котором мы говорили выше. Я верю в Церковь, глубоко переживаю то, что в Символе Веры есть именно вера в Церковь, то есть призыв к пониманию Церкви — не объективированному, не предметному, потому что в предмет верить не надо, да и невозможно.

Я верю, что Дух Божий действует везде, где есть Церковь, вот так понимаемая. Да, мы знаем, что живем в «мире сем», что это всегда конфликт с «миром сим», даже если «мир сей» выступает в личинах и одеждах церковных и как бы от имени Церкви. Но если мы пытаемся действовать по воле Божьей, если Бог за нас, то кто против нас? Здесь и Крест, и Воскресение. И то, и другое. Еще — Преображение.

Нужно призывать людей в Церковь, и это осмысленнее всего делать, призывая людей в Православную церковь, потому что эта Церковь, эта традиция обладает огромными потенциальными возможностями. Да, мы православные на какую-то сотую долю. Да, мы не реализуем и тысячную долю Православия в жизни. Но об этом можно говорить, это можно преодолевать. Когда мы встречаемся с искажениями, мы должны, мы обязаны сказать об этом вслух. Пусть искажение с 1000-летней историей. А искажения есть везде, их не могло не быть: почти нет ни одной области церковной практики, которая не подверглась бы какой-нибудь эрозии. И не надо идеализировать ни Соборы, ни богослужение... Мы должны различать духи, это церковное дело.

— Ни для кого не секрет, что 70-летняя разрушительная деятельность власти как извне, так и изнутри Русской Православной церкви дала обильные плоды, скажем так, нестроений в церковной ограде.

— Нужно быть честными. Всегда. Нашу общину Владимирского собора иногда критикуют за то, что у себя в храме мы в оглашении уже говорим о недостатках церковных, о нестроениях. Но я верю, мы

не имеем права скрывать правду. Давайте думать о том, чтобы эта правда была такой правдой, о которой не стыдно говорить. А сегодня людей нужно готовить так, чтобы войдя в Церковь и встретившись с ханжеством, цинизмом, равнодушием, стяжательством, не зная еще с чем, люди знали бы что делать и отвечали бы на это по-христиански: не только не соблазнились сами, не уходили разочарованными, но могли ответить на это, могли служить целительным началом, проводником благодати в Церкви. Это необходимо делать, мы знаем, что даже очень плохие люди могут в Церкви меняться к лучшему — очень быстро. Создай им для этого условия, вот здесь, в этой видимой границе Церкви, в храмах, и этот процесс тогда идет успешнее, быстрее, чем где бы то ни было. Человеку неверующему или верующему только индивидуалистически, вне общения, значительно труднее достигнуть того, что верующий может достигнуть в Церкви. Благодать Божия действует в Церкви необыкновенным, чудесным образом...

— Источником благодатной силы, Духа Святого является Евхаристия, таинства... Что есть таинства для Церкви?

— Таинства — это то, что делает Бог, но делает **через нас**, делает в Церкви, которая — Богочеловеческий организм. Таинственная жизнь — это некая Глубина жизни, и таинства ведут нас в эту Глубину, в этом их смысл, сила и действие. Но они могут и не приводить к этому. Святые отцы предупреждают нас... Св. Тихон Задонский: «Ты можешь и причащаться постоянно, и не спастись. Можешь быть крещеным, а вода останется водой», не став купелью возрождения. Или Симеон Новый Богослов — он говорил, что можно причаститься простого хлеба и простого вина.

Мы не любим об этих текстах вспоминать, у нас есть страх разрушить магический ореол, миф о том, что таинство действительно само по себе, «ex opere operato», только потому, что оно правильно совершено по чину, правильно поставленным священником и так далее... Хотя мы знаем, что таинство совершает Бог, а не священник... Бог — в Церкви и ради Церкви как Божьего мира.

И здесь опять надо говорить об общении в Церкви, где рождаются качественно новые связи между людьми, которых вне Церкви быть не может. Так рождается из общения — **община**, что не тождественно приходу, общности друзей, близких, родных по плоти и т. д. Община — новое благодатное качество общения. И община не может быть полной, если в ней не совершаются **все** таинства. Древняя Церковь первых веков христианства обладала удивительной интуицией, опытом того, что каждая община призвана являть полноту Церкви. На 10—20 христиан был епископ. Общины рождаются, и они тоже стремятся к полноте, как и личности, общину составляющие.

— А что есть личность, в церковном, христианском понимании?

— Личность — это то, что рождается **свыше** от Воды и Духа. Когда говорится: «должно вам родиться свыше» и при этом говорится, что «не по плоти и крови», то что же рождается? Личность.

— Личность, в Вашем понимании, отличается от индивидуальности?

— Индивидуальные черты есть у каждого человека, просто потому, что он родился от **этой** матери и **этого** отца, воспитывался в **этом** обществе, в определенной среде и т. д. Индивидуальность — как бы **характер** человека, в философском смысле слова, не в обыденном и даже не только в психологическом.

Личность же — то, что рождается от Воды и Духа, когда человек умирает для Греха и начинает жить для Бога, когда в нем оживает его совесть и он становится «открытым» в какую-то особую меру... «будьте как дети» — как раз таким образом.

Крещение не есть просто чин, обряд. Крещение есть таинство и если и выражается — в нормальных случаях — в нормальном адекватном обряде, тем не менее этим обрядом не исчерпывается.

Церковь признает и крещение кровью, без водного крещения. И люди, не крещенные водным крещением, но крещенные кровью в мучениях за Христа, вписаны в святцы, на их мощах служится литургия...

Почему мы у себя в храме не боимся, что оглашаемые у нас долго оглашаются, не боимся их смерти, не боимся оглашать детей на протяжении многих лет? И Древняя Церковь не боялась, потому что всегда была вера, основанная на опыте, что подлинное Крещение совершается по мере причастности человека ко Христу. Это — особая отданность себя Христу.

— В наши дни открываются монастыри, закрытые властями в 20-е годы и позже. Ваша точка зрения на роль монашества в Церкви?

— Монашество за полторы тысячи лет своего существования заработало себе огромный и неоспоримый авторитет. Но нельзя забывать: оно возникло в определенную историческую эпоху, в Константиновскую эпоху и на всем протяжении ее было духовным авангардом Церкви. Эта эпоха кончилась в XX веке. Сегодня есть монахи, среди них есть святые и будут еще, может быть, не одно столетие. Но монашество — это форма иночества, одна из форм, исторически обусловленная...

— В таком случае поясните, пожалуйста, разницу между понятиями «монах» и «инок».

— Инок — «иной», монах — «топо» — «один», то есть индивидуалистическая мистика и личный подвиг. Так вот, мне кажется, что иночество, которое будет всегда (потому что всегда будут люди, взыскующие иного пути, более самоотверженного, чем общепринятый), сегодня должно быть совершенно иначе, чем прежде, соотносено с полуязыческим, постхристианским миром, перенесшим XX век. В постконстантиновскую эпоху, а она началась, неимоверно возросла наша ответственность за то, что происходит в мире, за всех людей в мире. И наивно полагать, что можно сделать вид, что ничего не произошло и что можно вернуться в дореволюционную эпоху.

Можно восстановить Дом Романовых, но нельзя вернуть, возобновить ушедшую эпоху. Потому что люди уже совсем не те и никогда не станут теми, что были сто лет назад.

— И последний вопрос. Церковь и культура, — каковы, на Ваш взгляд, возможности их взаимоотношения?

— Очень важно, думаю, услышать слова, прозвучавшие еще в начале века — о необходимости воцерковления **всей** жизни. Христианство не есть только религия. Это **вся** жизнь. И надо учиться **жить** христианами, в христианском духе, где бы мы ни были и что бы ни делали, что бы с нами ни происходило. В профессиональной деятельности, в храме и вне храма, на улице, с врагами и друзьями. Важно иметь неразорванную жизнь, тогда она станет и культурной, и творческой, тогда культура — для христианина — станет не только сферой его профессиональной деятельности, но будет частью и плодом его духовной жизни.

Мне всегда казалось, что человек в христианстве становится — не очень удачное слово, но пусть — гениальным... Любой человек... даже если он очень слабых способностей. Но у него появляется что-то такое, иное, что делает его гениальным. Да гений это и не универсал, не гений **вообще**. Но это человек, который может прорваться за рамки этого мира, его законов, его детерминизма и обрести свободу... И нечто принести сюда, в этот мир. В одном из патериков читал замечательную повесть об одном монастырском поваре, который в видении, во сне оказался в Раю, испытал невероятную, неотмирную радость пребывания с Богом в Его саду... а когда проснулся, в руках у него было яблоко... оттуда, из Рая...

Церковь раскрывает человеку полноту его жизни, как Жизни вечной, которая начинается уже здесь, но укоренена в Вечности и ведет к Вечности.

Текст подготовил Сергей ЮРОВ.



ЭТНОПАРАНОЙЯ

«Восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это — начало болезней» (Мф. 24,7—8).

Эти евангельские слова из «малого апокалипсиса» Матфея часто произносятся сейчас в России и верующими, и даже неверующими людьми, выносятся в название книг, статей.

Есть что-то страшное, роковое в том всё усиливающемся разгуле диких страстей, этнического антагонизма, геноцидальных жестокостей, которые за считанные месяцы охватили спавшую под снегом тоталитаризма громадную страну.

Еще можно понять, хотя, разумеется, невозможно принять Карабахскую войну — армяне и азербайджанцы давно между собой не могут поделить приграничье со смешанным составом населения, а уходящая в средневековые взаимная отчужденность христиан и мусульман, завоевателей и завоеванных, усиленная памятью турецко-армянских и азербайджано-армянских кровопролитий 1894, 1915, 1918 годов, не могла не проявиться при новом ослаблении внешней имперской власти.

Но последние события в Молдове? Когда-то молдаване встречали русских как освободителей от мусульманского рабства. Боярские валахские семьи бежали под защиту русского царя и получали поместья и почетные должности. В черте нынешней Москвы есть село Кантемировка, названное так, поскольку дано было в вотчину молдавскому господарю Дмитрию Кантемиру Петром Великим.

**Андрей
ЗУБОВ**

— родился в 1952 году в Москве. Окончил Московский государственный институт международных отношений в 1973 г. Работает в Институте востоковедения Российской Академии наук. Доктор исторических наук, политолог, автор двух монографий и многих статей по политологии, религиоведению, истории русской философии. С 1988 г. преподаёт историю религии в Московской духовной академии.

Почти двести лет православная Бессарабия и православная Россия жили вместе, и конфликтов между ними было даже меньше, чем между русскими и украинцами. Не с легким сердцем, но вынуждаемые объективными обстоятельствами, приняли в январе 1918 года молдаване решение присоединиться к Румынии. И вот теперь — грузовики, полные трупов погибших в Днестровской войне, прибывают в Тирасполь и Кишинев...

Можно представить, что Молдавия захотела независимости. Можно понять и стремление некоторых молдаван соединиться с единокровной Румынией. Можно даже понять и желание правителей Молдовы не потерять ни километра своей республики, а правителей Приднестровья — сохранить власть над своей землей. Законы власти не вчера появились, и давно известно, что они далеки от нравственного совершенства.

Невозможно ни понять, ни принять иного: почему люди, простые единоверные люди, давно породнившиеся семьями, сердечно дружившие друг с другом, согласились подчиниться воле своих начальников и истреблять соседей с изобретательной жестокостью? Не вековая вражда, а, право же, лишь какое-то помутнение рассудка, массовое помешательство может быть тому причиной. Но откуда оно, это помешательство?

Поражение в правах миллионов русскоязычных граждан Латвии и Эстонии, пренебрежение правами осетин и стремление побудить их убраться из Грузии, равнодушие к судьбе репрессированных при Сталине народов — будь то немцы, которых не пускают обосновавшиеся в их домах русские Поволжья, или месхи, пренебрегаемые грузинами... Десятки примеров, многие и многие уже переступившие за грань крови и убийства этнические конфликты в одном только бывшем Советском Союзе! Но ведь и по соседству с нами не все покойно. К двум десяткам тысяч приближается число погибших в споре между собою южных славян. Грозит нешуточным взрывом ситуация в Семиграде, где мадяро-румынское противостояние вплотную приблизилось к критической черте. А дальше к северу — уже решенное разделение Чехии и Словакии; дай-то Бог, чтоб было оно «бархатным». За ним — проблема шестисот тысяч венгров южной Словакии, — старая, болезненная, почти неразрешимая. И тень неблагополучия над Судетами...

Но, довольно перечислений. Попробуем задаться более академическим вопросом: почему распад тоталитарной империи привел не к социальным, не к политическим трагедиям, но именно к этническим? Почему смерть коммунистической государственности (я не говорю — идеологии, идеология коммунизма для многих и без того была здесь мертва), — почему смерть коммунистической государственности реализовалась для сообщества Восточной Европы в этнопараноидальном синдроме, часто в очень агрессивной форме?

На первый взгляд, ответ довольно прост: тоталитаризм стремится, подобно раковой опухоли, разрушить все живые формы социаль-

ности — классы, партии, религиозные деноминации. Гранитные глыбы, из которых воздвигнута башня общества, он перетирает в песок. В пределе предполагается уничтожение и этносов (как забыть «новую общность — советский народ»?) И даже — семьи. Вспомним идеологемы утопистов XIX века и попытки их реализации в первое послереволюционное десятилетие в России. Но тут тоталитаризм дал осечку. Семью он уничтожить не смог и примирился с этим к середине 30-х годов. Этничность он также, как показала перестройка, не разрушил, хотя и пообтесал народы — около шестидесяти миллионов жителей СССР чувствуют себя представителями «советского народа». Гибель тоталитарного каркаса заставила общество как-то самоорганизоваться, найти какую-то структуру в себе самом, а иной структуры, кроме этнической (из организующих большие коллективы), в распоряжении не оказалось — всё было дотла разрушено в прошедшие десятилетия. Поэтому и произошел столь неожиданный, до конца не предсказанный никем взрыв этноцентризма в посткоммунистической Европе в 1988—1992 годах...

Но в действительности ответ этот ничего не объясняет. Пусть посткоммунистическое общество реструктурировалось именно по этническим линиям, но что заставило народы занять друг к другу столь непримиримые, столь жестокие позиции? Почему вполне дружелюбные при тоталитаризме русские и молдаване теперь методично убивают друг друга, почему хорваты и сербы, когда-то с жаром доказывавшие, что они — суть один народ, живущий в двух культурных традициях, теперь творят каждый над своими «братьями-славянами» такое, что приличный человек не сотворит и с собакой?..

Перед нами с очевидностью предстает факт крайнего социального ожесточения — явления достаточно редкого в истории, но, к сожалению, ставшего доминантой уходящего века. Речь идет не об отдельных вырождаках, больных или полубольных людях, страдающих некоей этической проказой, которые встречаются во все века. Речь о том, что вырождение, болезненность, аномальность охватывают большие коллективы, целые социальные организмы. Не отдельные бомбометатели-анархисты, не религиозные фанатики-ассасины, не современные ольстерские или палестинские террористы, но именно целые социальные совокупности — классы, этносы — начинают спокойно полагать своих социальных контрагентов не-людьми. Вечный принцип «не делай иному того, чего не желаешь себе» к такому контрагенту больше не применяется.

Когда солдаты армий Ремнева или Фрунзе убивали офицеров и буржуев только за то, что они не рабочие и не батраки; когда немцы отправляли в газовые камеры еврейских и цыганских детей только потому, что они — не немецкие дети; когда англичане хладнокровно сжигали мятежный Гвалиор во время Сипайского восстания, а голландские стрелки расстреливали в упор балийских аристократов, шедших к ним в ритуальных жертвенных одеждах, с одними священными крисами в руках, — все они поступали единообразно, все они

проявляли коллективную психическую патологию. А гонимые и часто уничтожаемые единицы, которые отказываются поступать как все, своим мученичеством за психическую норму ли, за вечный ли закон Правды оттеняют помрачение своих классов и народов. Увы, таких страдальцев совести всегда находится немного...

Немного их и теперь. Кто из армян возвысил голос против безумия карабахской авантюры? Кто из азербайджанцев сделал то же? Где эстонцы и латыши, не безмолвствующие перед позором балтийского апартеида? Где русские, готовые подать в суд, защищая шельмуемых в средствах массовой информации «кавказцев» в России? Я знаю, что такие люди есть, я даже знаю кое-кого из них поименно. Но я знаю также, что страх или заговор молчания прессы затыкает им рты. А главное, увы, — таких людей мало, очень мало.

Я хотел бы обратить внимание, что этнопараноидальный синдром, замечаемый сейчас без труда на просторах Восточной Европы и России — это лишь частное проявление социальной паранойи, ксенофобии, где чужестранцем может стать и народ, и класс, и иновер, и кто угодно иной — «другой». Болезнь эта возникла не вчера, не с перестройкой. Она имеет корни несколько вековой давности. И она, увы, прогрессирует. Шок Второй мировой войны на полвека заставил западный мир стать почти нормальным, да и коммунисты перестали эксплуатировать лозунг нарастания классовой борьбы. Но вот мир отдышался, забыл ужасы раннего колониализма, Сипайской войны, Балийской войны. Забыл революции Венгрии, Германии и в первую голову — России, забыл Освенцим и Майданек, Воркуту и Магадан, забыл «невидимые миру слезы» и кровь холодной войны...

И теперь нам предстоит ответить на два вопроса.

Первый — возможно ли исцеление и если да, то какими средствами?

И второй — кого полагать на нынешний день больным?

Помню, в декабре 1988 года, сразу же после страшного ширакского землетрясения в Армении и не менее страшного взаимного изгнания полумиллиона людей из Азербайджана и Армении за то, что они не «свои», я вместе с академиком Сахаровым посетил две закавказские республики, стоявшие тогда на грани большой войны. Мы везли в Баку, Ереван и Степанакерт план мирного урегулирования конфликта, разработанный группой московских ученых, в число которых входил и я. Столкновения с трагедиями беженцев, с жестокостями изгонителей, с непримиримостью уже заболевших этнопаранойей политических и духовных вождей обоих народов, ужаснуло меня — кабинетного политолога-теоретика. Все тщательно проработанные проекты показались какой-то благоглупостью при столкновении с кошмаром «просто жизни». Чувство это достигло крайнего напряжения, когда мы были в Карабахе. Там всё уже дышало войной, и не надо было являться опытным футурологом, чтобы понимать —

от массового кровопролития нас отделяют в лучшем случае несколько месяцев.

После переговоров в Шуше и в Степанакерте, напряженных и безотрадных, после полной глухоты московского наместника Аркадия Вольского, надеявшегося все разрешить кабинетными пассажами, наступила ночь. Нас поселили в маленькой фабричной гостинице, стоявшей посреди сада. Не спалось. Я вышел погулять. Сияющее звездами небо у земли проваливалось в глухую черноту окружающих город гор. Было удивительно тихо, по-итальянски тепло. Но четкий силуэт часового, его автомат и каска возвращали к реальности. И чувство полной безысходности наполнило меня. Этой прекрасной и древней стране вскоре суждено будет испытать все ужасы этнической войны. Разве спасут мир мои жалкие прожекты? Но потом вспомнилось иное. Мирная многонациональная Швейцария, где тонкий политический механизм гармонизирует отношения между четырьмя столь различными народами. Бельгия, с принятым в ней фактически правом либерум вето для валлонов и фламандцев, а теперь и для немцев Эйпена. Вспомнился, наконец, «Органический регламент», разработанный в 1861—1864 годах политиками пяти европейских держав для Ливана и так хорошо послуживший этой маленькой стране 120 лет, пока палестино-израильское противоборство не разрушило политический механизм сосуществования на одной земле (а часто и в одних деревнях) и мусульман, и христиан, и католиков, и православных, и друзов, и алавитов.

В этот ночной час, в спящем Степанакерте, я твердо поверил, что выход есть, что политическая наука может помочь растерзанной межнациональной бранью земле. Увы, тогда и Армения, и Азербайджан, вернее — их правительства и интеллектуальные элиты, отвергли наши предложения. Но, может быть, сейчас, испив чашу горя и лишений, оба народа вернутся к поискам мира? Механизм для этого, несовершенный, как всё человеческое, но все же сбалансированный, есть. И он во многом основан на достижениях политической мысли Запада, на разработках Липхарта, Гелнера, Малкома Яппа и многих иных ученых. Положительный опыт Европы вселяет в меня надежду, что наша болезнь межэтнических конфликтов и противостояний может быть исцелена опытной, твердой и доброй рукой.

Но оптимизму во мне мешает одна мысль. А захотят ли народы урегулировать свои конфликты, лечить свои болезни? Если больной не желает операции, боится боли — может ли прикоснуться к нему скальпель хирурга? А если больной считает себя к тому же здоровым? Что тогда?..

Как и при обычной клинической паранойе, при этнопараноидальном синдроме происходят глубокие изменения во всех сферах сознания — уже не индивидуального, но коллективного, народного. Симптомы таких изменений просматриваются и в Карабахе, и в Молдове, и в Боснии, и у нас — в России. Нет ли их и на Западе? Временами начинает казаться, что и там политическая система,

основанная на здравом рассудке, начинает давать пока почти безобидные, почти незаметные, но все же сбои. Проблема Квебека, обострение национальных отношений в Бельгии, усиление правых почти по всей Европе, хорошие для региональных лиг результаты последних итальянских выборов, — все это настораживает значительно больше единичного экстремизма Ирландской армии освобождения Ольстера или баскских сепаратистов. Так и хочется предостеречь: посмотрите на Восток, на ту страшную болезнь, в которой корчимся и мучаемся мы, и постарайтесь, предлагая лекарство нам, не заболеть сами. Тем более, что от этнопаранойи Запад исцелился так недавно, а страдал ею так тяжко. Да и указать, исцеление ли это или только временное облегчение, вряд ли кто пока может с уверенностью... Но очевидно одно: не в неловкости политической инженерии, не в камнедробильной машине тоталитаризма причины этнопаранойи, но в болезни глубин народной души, и даже шире — в болезни той цивилизации, которую именуют «постхристианской», и к которой принадлежим все мы.

Этноцентризм возникает как культурный факт, факт высокой элитной мысли на излете средневековья. Тогда византийцы Палеологов переживают себя уже не ромеями, наследниками вечной Римской империи, но *эллинами*, а Данте — не довольствуясь латынью — сознательно строит *итальянский* язык. Но только XVIII век делает этот процесс уже не фактом культуры, а компонентом политики. Великая французская революция, Наполеон — это последняя попытка транснациональной империи (ромейство) и одновременно сознательное формирование этнического государства: Наполеон — император французов. Ни австрийский, ни российский императоры так называть себя не могли. Они, правители древних государств, переживали себя властителями пространства и всех населяющих его людей, а не персонализацией определенного этноса, немецкого или русского. Но общеизвестно, что XIX век — век национализма, этноцентризма, совершившего свой триумф в Версале в 1919 году и над Австрией, и над Россией.

Процесс этноцентризации массового сознания четко совпадает в Европе с процессом секуляризации. Случайно ли? Думаю — нет.

Этничность — категория, органически присущая человеку, вроде пола или конфессиональности (из религии в религию переходят единицы, остаются в вере отцов до гроба миллионы). Этничность человеком не формируется, но в нем пребывает. Она равна ему. То, что человеком создано, например, культура, и материальная и духовная, — ниже человека. Творение всегда ниже своего творца, частичней его. Этнос же равен человеку.

Когда исчез в европейском массовом сознании уровень, по отношению к которому сам человек являлся тварью и всё человечество, весь космос были частичной категорией (я имею в виду исчезновение из коллективного сознания Того, Кого мы привыкли именовать Творцом, Господом, Абсолютом, Богом), — тогда органический уро-

вень человека вышел на первый план. Человек стал сознавать себя и организовывать себя не как часть надкосмического, а как предельная полнота органического — конфессии, этноса, языка, пола.

С секуляризацией постепенно слабеет и конфессиональное. Остается язык, формирующий ощущение единства на массовом уровне, и пол — на интимном. Но как и брак из союза любви стал договором двух разделенных (sex, sectum — разделять) суверенностей, потеряв Бога, так и человечество из единства в Человеке — конгломератом народов.

Вавилонская башня — не столько проклятие Богом человека, сколько непосредственный результат человеческой гордыни. Когда человек сказал: Я сам, Я — предел, Я — Бог, он уничтожил тот уровень, на котором он мог быть Человеком, андрогином, целостностью, — и рассыпался на многие языки, не понимающие друг друга.

Чем дальше идет процесс суверенизации человека, тем реальней, что Вавилонская башня не просто разделяет, но и отчуждает народы, доводит их до восстания уже не против Бога, Которого нет в сердцах, но друг на друга. Отсюда — «восстанет народ на народ»...

А альтернатива? Нетрудно заметить, что есть и другой уровень единства человечества, не метафизический. По отношению к делам своих рук, к артефактам человек сам выступает как творец. Они соединяются им, а он — ими. Поэтому исключительный материальный, экономический интерес может объединить человечество, и отчасти уже объединяет его, являясь и на пространствах бывшего Союза достаточно мощным противовесом этнической разобщенности. Влиятельные партии «практических» политиков — российский «Союз Обновления», киевская «Новая Украина», молдавский «Аграрно-промышленный союз» — примеры этого, становящегося явления.

Но не будем чрезмерно обольщаться. Единство на уровне нижней половины тела, на уровне «творений рук человеческих» не может оставаться надежным. Человек состоит не только из желудка. Его центр, средоточие издревле (и во всех, кажется, культурах) ассоциируется с сердцем, которое и само-то по-славянски «сърдець», середина. Человечество может вполне осознать свое единство только на уровне сердца, где реально присутствует не низшая, направленная на внешний мир, но высшая самого человека воля, созидающая и его, и всю полноту бытия. Это — тот уровень, который снимает, не уничтожая предельность органичности и этноса, и пола. Вариант такого «снятия» дается нам в хорошо известных словах апостола Павла: «Нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, ни мужского пола, ни женского, но все и во всем Христос» (Кол. 3,11; Гал. 3,28). Слова эта — величайшее достижение европейской цивилизации. Но только ли европейской? За ними — двухтысячелетний путь иудейского народа от Авраама до Девы Марии, а еще дальше в глубине веков угадываются мудрость Шумера и Египта, сокровенное знание древнейшего человечества о своем единстве в Творце. Боюсь, если мы не найдем

в себе мужества стать тварью, то нам предстоит или уничтожить друг друга на уровне «органических общностей» этноса, класса, пола, или ниспасть в мир артефактов и забыться сытостью желудочной жизни, сохраняя политический мир ради удобства пищеварения.

В нашем прошлом — и в многовековом, и в совсем недавнем — столь много общего, что надеяться пройти сквозь чумной барак и не заболеть — надежды немного. Но рассмотреть то, что утеряли мы в нашей душе ненароком, что оставили своевольно и сознательно, рассмотреть, связать с социальной болезнью XX века, с этнопаранойей, и через это найти средства для лечения не симптома, на что годна и политическая инженерия, но самых глубин болезни — в этом наша существенная задача. И здесь две Европы, Западная и другая, наша, Восточная, должны быть вместе, как два легких у человека, как два крыла у птицы. Иначе, очень боюсь, нам не оторваться от обгазированной кровью нашей общей старой земли. И тогда слова из апокалипсиса евангелиста Матфея могут оказаться не предостережением для нас, но предвестием конца.

Валентин Непомнящий

С ВЕСЕЛЫМ ПРИЗРАКОМ СВОБОДЫ

Из дневника пушкиниста. Заметки между делом

...Нет сомнения, что первые книги, которые выйдут в России без цензуры, будут (sic!) полное собрание стихотворений Баркова.

А. Пушкин, по рассказу П. П. Вяземского

- Бабушка, ты умрешь?
- Умру.
- Тебя в яму закопают?
- Закопают.
- Глубоко?
- Глубоко.
- Вот когда я буду твою швейную машину вертеть!

К. Чуковский. «От двух до пяти»

...Давно хочется такие два эпиграфа приспособить в какой-нибудь статье о современной культуре. Вот только «бабушку» обязательно будут истолковывать, кое-кто обязательно истолкует как «советскую империю» (а самые прогрессивные — как Российскую). Но это их дело. А Барков тут, пожалуй, только символ того, что было «запрещено», а теперь, ура, можно, можно. Как ухватились за «разрешение», как кинулись на то, что «можно!» (Вот рабская психология в чистом виде.) Еще бы — борьба с ханжеством.

**Валентин
НЕПОМНЯЩИЙ**

— родился в 1934 году в Ленинграде. Окончил Московский университет по отделению классической филологии. Исследователь творчества Пушкина, автор книги «Поэзия и судьба: Статьи и заметки о Пушкине» (издания 1983 и 1987 гг.) и многих статей по творчеству Пушкина и проблемам русской культуры.

Борьба с ханжеством — это, разумеется, борьба с тоталитаризмом. У нас теперь все — борьба с тоталитаризмом или за свободу. Мат на печатных страницах и порнография на экране и с эстрады — это все борьба за свободу. Но и тот, кто ставит слова «великая русская литература» в иронические кавычки, а слова «великий писатель земли русской» (из предсмертного письма Тургенева Толстому) превращает в остроумную — животы надорвешь — аббревиатуру ВПЗР, — такой тоже борец за свободу и рыцарь прогресса. И кто возмущается «неравноправием» других конфессий с православием «в этой стране» — тоже борется с тоталитаризмом. И для кого Россия — не более чем географическое пространство и кто получил теперь позволение говорить об этом во всеулышание, — тот тоже герой, борец и личность передовых убеждений.

Еще совсем недавно все это приводило меня в ярость. Теперь — нет. Теперь смешно и тоскливо. Разверзается бездна темноты и невежества. И все — под знаком свободы.

«Почему нельзя, если — позволено?!»

Вот вся свобода.

* * *

Свершилось, говорю я (впрочем, с большим запозданием). Сбылось пушкинское предсказание, хоть и не во всем («полное собрание стихотворений») объеме. Почтенный журнал «Литературное обозрение» (№ 11 за прошлый год) весь целиком посвящен «эротической традиции в русской литературе».

Но погодите... Еще не прочитав, а только полистав, пробежавшись по «текстам» (из «Девичьей игрушки» Баркова, его же «Ода Приапу», дальше «Лука...», «Тень Баркова», все это полным текстом, «без точек», — свобода), уже с обложки — недоумение: то есть как это — «эротической»? «Лука» — это что, эротика? И «Девичья игрушка»? И довольно топорная «басня» про козу, которую коллективно «трахнули» в лесу, с восторгом приводимая в статье А. Илюшина, уверяющего: «Читаешь басню «Коза и бес» и... радуешься. Очень смешно (ну да?! — В. Н.), хотя козе и пришлось худо», — это тоже «эротика»? Ничего не понимаю. Я всегда думал, что слово «эротика» связано с понятием любви — ну пусть только плотской, но любви же! И вот, про козу — оказывается, тоже... «любовное»? Чем же в таком случае отличается эта «басня» от эротических сцен из «Метаморфоз» («Золотого осла») Апулея (о нежном простодушии «Дафниса и Хлои» уж не говорю), «Лука» — от пусть даже самых «откровенных» сцен Бунина, а пушкинская «Тень Баркова» — от знаменитых сцен «Гавриилиады»? Неужто доктора и кандидаты филологических наук так туги на ухо, что не умеют различить, где эротика, а где непристойность и похабщина? Рыночный интерес, реклама? Тогда что стоило написать, к примеру: номер посвящен «непристойной русской словесности» или «непристойной и эротической»? Верно, было бы не так красиво. Вкус, стало быть, не позволил.

Вообще с языком происходит бедствие. В любом номере любой газеты берусь найти десяток ошибок, в том числе грубых орфографических. Безграмотными становятся даже те, чья профессия — грамотность, корректоры. Уши вянут слушать, что и как болтают по радио. Раньше московское радио давало норму звучащего языка, обозначало точку отсчета классической русской речи и тем помогало блюсти речевую культуру. Теперь звучащий язык отдан на поток, разграбление и уродование. Речь люмпенизируется, стираются границы между речью культурной и «уличной», между «начАть» и «нАчать», сами слова перестают значить что-нибудь, ответственность за сказанное слово превращается в частное дело каждого: хочу — отвечаю, не хочу — нет.

Неудивительно: не так давно в «Литературной газете» некто попытался воскресить памятную людям 60-х годов идею «хрущевской» языковой реформы, призванной унифицировать, упростить, сделать более удобным слишком сложное русское правописание (назавбенные «заец» и «огурци» и незабвенный же вопль Леонида Леонова: «Я этих огурцей есть не буду!»). Тогда смельчаки тихо острили на кухнях, что полуграмотный Никита хочет и грамматику приспособить на свой манер, кое-кто из особенно интеллигентных извил: что с него взять, он ведь «из простых». Сегодня оказывается, что не в этом дело: в иных из «мастеров культуры» сидит по своему никите, но его побуждения вовсе не «из простых», вполне в духе времени: свобода (от порабошающих условностей русской грамматики) и удобство — суть и знамя цивилизации...

Вообще перед интересами удобства все должно склоняться ниц. Удобство и означает — унификация, в этом смысле цивилизация заключает в себе неизбежность тоталитаризма, но не на идейном сперва, а на бытовом, чуть ли не интимном уровне — и потому тоталитаризма особо свирепого, ввинчивающегося в твой быт и душу, подчиняющего тебя всего. В унифицирующей сути удобства — причина, с одной стороны, тоталитарности всякой социальной утопии (которая и придумывается для удобства управления и устройства), а с другой — причина того, что (вопреки нашему младенческому мнению) чем развитее цивилизация, тем больше и глубже она порабошает. Да, мы несвободны благодаря обилию рабских привычек; но американец, живущий в развитом «правовом государстве», еще менее свободен, весь порабошен разнообразными «достижениями», от технических до социальных и правовых, весь детерминирован, за него уже все выбрано, — и потому в массе своей он скучен. (И не говорите мне, что такое рабство лучше нашего.) К этому, что ли мы стремимся, мечтая стать в затылок «всем цивилизованным странам»?

Вон как далеко я заехал, начав о языке. Ничего не поделаешь: единство мира, все связано, ложь или фальшь в одном чем-нибудь, «частном», — всегда обнаружение, опознавательный знак лжи и фальши общей, глубинной. Все со всем связано, и апостол говорит: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот

становится виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: «не прелюбодействуй», сказал и: «не убий» (Иак., 2. 10—11). Заповеди едины, потому что и в жизни нет ничего «отдельного», границы между ними условны. Единственное безусловное деление есть деление по вертикали — иерархия ценностей, ступени которой разделены разной высотой, но соединены в целое — лестницу вверх.

* * *

Страсть стирать границы по вертикали, уничтожать культурную иерархию вползает в нашу жизнь как инфекция, как СПИД, лезет во все дыры. Там, в «цивилизованных странах», на одной и той же сцене может петь чудо по имени Лучано Паваротти, а назавтра — на равных правах и, может быть, почти при той же публике — порнозвезда Мадонна. И никакой разницы: граница устанавливается чрезвычайно демократическим образом: личным вкусом каждого «потребителя»; а о вкусах не спорят: плюрализм, цивилизация, свобода.

Да нет, я не о том, чтобы навязывать один какой-то «вкус», «вводить единомыслие» на манер Козьмы Пруtkова (с перевыполнением воспроизведенное у нас в XX веке); я о той свободе, которая заключается во внутренней установке: никакой объективной истины не существует, правд много: какая нравится, такую и бери (два легких кавалериста литературы П. Вайль и А. Генис прямо так и говорят: «альтернативная нравственность», — и с сожалением о том, что Россия проскочила, не усвоила это достижение цивилизации).

Вот и мы туда же кинулись. Уж как хочется быть цивилизованными.

Нашему радио очень нравится просвещать публику на такой манер: идет реклама какой-нибудь очередной биржи — на фоне музыки Бетховена. Затем — реклама лекарства от импотенции, но уже на фоне Рахманинова или, скажем, Листа. Не то чтобы подряд все на одной красивой музыке, нет: для биржи Бетховен, для импотенции другое — мы же не лыком шиты, цивилизация.

Еще одна забава: попури из знаменитых классических мелодий. Чайковский нечувствительно переходит в Вагнера, Вагнер в Моцарта, из-под Моцарта вылезает Бах (или Оффенбах, какая разница) — и все это в аппетитной чуть-чуть-поп-аранжировке: под острым соусом ударных, смачно отбивающих ритм. Выстраданные творения, в каждом из которых неповторимым образом отражен прекрасный Божий мир, превращаются в ассорти закусок. И все — в исполнении великолепного (кажется, лондонского) симфонического оркестра: блистательное мародерство, высокопрофессиональное превращение культуры в тут же обираемый труп; воплощенная в звуках свобода потребления.

Собственно говоря, единственный и главный смысл понятия свободы для наших рыцарей прогресса, «мастеров культуры», есть именно и прежде всего свобода потребления многочисленных «можно».

Впрочем, точнее сказать — потребление свободы.

Потребление культуры, потребление красоты, добра, любви, свободы, истины... Я этот ряд даю для того, чтобы подчеркнуть всю жалкую вывороченность представлений, согласно которым то, что бесконечно выше бедного нашего разума, то высокое и таинственное, что мы и описать-то до конца не можем, не то что постигнуть, то благое и прекрасное, к чему мы можем только страстно и смиренно тянуться и стремиться, чего должны жаждать удостоиться, — есть для нас всего лишь объект использования — в сиюминутных, эгоистических, корыстных, конечных, смертных, в последнем смысле животных интересах выгоды, удовольствия, удобства. Происходит «присущее всякому греху подчинение высшего низшему», как сказал А. Семенов-Тянь-Шанский; происходит распоряжение не своим. Об этом хорошо знает язык: слово «потребление» в его латинском переводе дает понятие узурпации.

В результате — опрокидывание иерархии ценностей, вертикаль, устремленная к небу, разворачивается вниз, в преисподнюю. Язык и тут говорит правду: на церковнославянском «потребление» означает «истребление».

Наши расхожие понятия о свободе есть путь к истреблению свободы. Удивительное постоянство, невзирая на все уроки.

* * *

«В том, что Барков и барковиана считались неудобными для печати и не были допущены к публикации как дореволюционной, так и советской цензурой, есть свой смысл. Это объясняется не косным нашим ханжеством и дикостью, по крайней мере не только ими. Так уж сложилась культура — под знаком оппозиции «доступное — запретное»... В последние годы стало посвободнее с допуском мата в нашу печать, а впрочем, и сейчас это проходит не без трудностей».

«Когда же будет и будет ли наконец издан у нас Барков?.. Это дело будущего, до этого еще нужно дотянуться. Хочется думать, что предложенная здесь подборка явится предварительной публикацией» («Литературное обозрение», № 11, 1991. Разрядка везде моя. — В. Н.).

Вот видите, какой масштаб проблем, стоящих перед свободной печатью, перед отечественной культурой; какова сияющая мечта. Но она — дело будущего, до нее еще надо дотянуться. Хоть стало и посвободнее, но — когда еще дотянемся, при нашей-то дикости? Неужели слову, столь дорогому для свободного, цивилизованного человека, все еще суждено прозябать на стенках сортиров, исписанных прыщавыми подростками, и в слепых машинописных копиях, засаленных импотентами и старичками! Но ничего не поделаешь — так уж сложилась отсталая наша культура — под знаком этой чудной оппозиции «доступное — запретное». Смешно, право: весь цивилизованный мир давно постиг, что ничего запретного на свете нет, что

есть только одна оппозиция: «возможно — невозможно»; что можно буквально все, что возможно: иными словами — все дозволено; одни мы так и застряли в своем тоталитаризме.

Нет, не спорю, я, конечно, ханжа и человек дикий: для меня все процитированное — вроде как мнение людей, ходящих на той стороне Земли кверху ногами и у которых все наоборот. А стоит посмотреть на себя с их точки зрения, так сразу и вижу, что я дикий человек и ханжа. И сразу хочется оправдаться: да нет, мол, знаю я, знаю, что такое смеховая культура, низовая культура, телесный низ, Рабле, Бахтин и все такое прочее; и кое-что из ныне опубликованного давно знаю, и кое-что о природе этого почтенного жанра понимаю; что же до «Тени Баркова», то... не скажу люблю, но — смеюсь талантливости этого юношеского охальства, по крайней мере, в некоторых местах: чего стоит, например, «И снова пал и не встает — смирился горделивый!» (в публикации — другой вариант, довольно бессмысленный и нелепый), — что сразу напоминает «надменный член, которым бес грешил» из «Гавриилиады». Это смешно, потому что... да потому что художественно; в такие моменты сюжетно-предметная похабность остается в стороне, предметом же нашего внимания оказывается очищенный феномен образного мышления, чистая стихия юмора. Мальчишка Пушкин и тут Пушкин, что бы там ни считал А. Чернов...

Все так. Но посреди этих чистосердечных пояснений хочется, почтенные коллеги, плюнуть и, обнажив истинную свою дику и хамскую сущность, ляпнуть со всей непросвещенностью: стыдно и мерзко, милостивые государи мои, и государыни тоже, гнусно и подло выглядит аккуратное ваше типографское воспроизведение тех подлых (то есть, в точном словарном смысле, низких), по народному разумению, слов, которые невозбранно у нас существуя и даже благоденствуя, никогда на опубликование даже и не посягали, и вовсе не из-за цензуры. А из-за того, что сочинявшие эти «тексты» на потеху себе и охочим озорники, охальники и срамники, коих на святой Руси всегда было в достатке, отличались от некоторых из нас тем, что имели уважение к слову, в частности, просвещенные мои, печатному. Такова еще одна странная особенность культуры нашего Отечества: чувство священности слова, тем более — сказанного публично, во всеуслышание; ответственность за слово, сказанное вслух.

То есть, конечно, эти похабники и сквернословы, сочиняя свои опусы, вряд ли предавались размышлениям о том, что слово, этот таинственный дар Божий человеку, стоит на самых высоких ступенях лестницы, которая называется иерархией ценностей, ибо Слово — это Бог, Слово — это то, что было в начале, что вочеловечившийся Бог Иисус Христос есть Бог Слово; вряд ли, говорю, они вспоминали об этом, иначе, может, прикусили бы языки и остановили бегущее по бумаге перо. Нет, скорее это чувство иерархии, эта способность отличать высокое от низкого, подлого, это чувство границы между «можно» и «нельзя» — все это тайное гнездилось не столько в головах, сколько в их душах или, может быть, печенках;

и вот потому-то они, хотя и тщились поколебать эту «ценностей незыблемую скалу», хотя дразнили свое и читателя врожденное чувство иерархии, хотя по врожденной же человеческой страсти все трогать и испытывать лапали то, перед чем надлежит благоговеть,— как ребенок хватает то, что хватать запретили,— однако же до последнего предела, досточтимые мои, они отнюдь не доходили, а именно: не тщились и не дерзали похабное, оскорбляющее высокий чин человека слово ввести в норму (или, как определяет ваше редакционное вступление, «в обычай») и тем самым ликвидировать нелюбезную вам оппозицию «доступное—запретное». Нет, они употребляли подлое слово и играли им именно как запретным и в силу его запретности; «в детской резвости» колебля «треножник», они не посягали совсем ниспровергнуть его, изменить, а тем самым и отменить ценностную архитектуру Творения.

И опять-таки вряд ли им при этом всходило на ум, что «запретность», сопровождающая тему Эроса, тему зачатия (в частности, в монотеистическую, в особенности — в христианскую эпоху), есть земное и экологическое отражение непостижимой таинственности Жизни, которая сама есть священный брак между верхним, небесным, и нижним, земным, и на которую следует взирать с благоговением, с сознанием ее непостижимости,— и что «отменить» эту запретность ради какой-то там свободы слова — все равно что, сидя в избе, топить печку бревнами ее стен и столбами, на которых держится кровля. Вряд ли, повторяю, они об этом размышляли — и все же они были дети христианской эпохи, да и вообще душа человека, как давно сказано, по природе христианка,— и смутный, но внятный инстинкт самосохранения вида побуждал их создавать и сознать свои опусы в ранге не нормы, а выламывания из нормы, своего рода святочного кошуинства, или, если вашим ученым головам это милее, в статусе пресловутого карнавала,— но ни в коем случае не будничного «обычая», к чему вас так тянет.

Ведь заметьте: стоит Ивану Баркову выступить — пусть и ернически — против самой оппозиции «доступное—запретное», стоит отважиться на принципиальное, теоретическое, так сказать, отвержение запрета как «ненужной вежливости» («для чего ж, ежели подьячие говорят открыто о взятках... не говорить нам о вещах необходимо нужных... о том, которое все знают и которое у всех есть»),— как тут же он встает перед необходимостью начать с упразднения нравственной и духовной основы этого запрета: «Лишность целомудрия ввело в свет сию ненужную вежливость...».

Лишность целомудрия — это вам как? Или вы будете утверждать, что «это ничего»? Или, может быть, в этом «что-то есть»?

* * *

«Поэзия, которая по своему высшему, свободному свойству не должна иметь никакой цели, кроме самой себя, кольми паче (тем более.— В. Н.) не должна унижаться до того, чтобы силою слова

потрясать вечные истины, на которых основаны счастье и величие человеческое, или превращать свой божественный нектар в любово-страстный, воспалительный состав» (Пушкин, 1831).

* * *

Однако неловко: что же я так долго объясняю взрослым людям, сколько будет дважды два?

А что делать: они ведут себя так, словно и в самом деле не понимают, сколько это будет. Болезнь духовной инфантильности? Или вид делают? Но зачем? Из «рыночных» соображений? Братцы, да ведь мы же все-таки интеллигентные люди, некоторые из нас на этом основании даже считают себя солью земли и передовой частью народа (что сразу же убавляет интеллигентности); неужели же «рынок» и творцов культуры неизбежно заставляет обезуметь? Или интеллигенция наша настолько поражена самовлюбленностью и комплексом «соли земли», что и в духовной темноте оказалась впереди всего народа?

Да, да, вы не ослышались. именно, именно впереди народа. Ибо покажи я этот самый номер журнала (непременно это сделаю) кому-нибудь из моих деревенских соседей, который без мата (иной раз чрезвычайно затейливого и остроумного) слова не вымолвит, — и на лице его обязательно изобразится странная, отчасти ошеломленная, отчасти грязноватая и в то же время смущенная и брезгливая улыбочка ненароком заглянувшего туда, куда заглядывать уважающему себя человеку не пристало, и он этот журнал с этой улыбочкой либо отбросит с пренебрежением, либо (тут все будет зависеть от его отношений со мною) культурно отложит, покачивая головой, либо с гоготом сунет мне обратно: «Во дают ученые! Тыфу ты,!» И во всех вариантах возникнет обертон снисходительного презрения, которое, будучи издавна одной из составляющих пресловутой пропасти между «простым народом» и «образованным», издавна же терзало наиболее совестливых из образованных русских людей.

Вот ему, этому ханже, мне не пришлось бы объяснять на пальцах, что нехорошего в этой модной культурно-рыночной акции, он бы и сам мне объяснил все в два счета, — если бы умел. Но он не умеет. Не в силу своей необразованности, а в силу, если угодно, не-Просвещенности, то есть — слабой затронутости некоторыми веяниями «века Просвещения», который воспеается в нашем журнале так:

«Идеи руссоизма находили отклик во многих сердцах. Осуждалось ханжество, осуждался ложный стыд, мешающий человеку чувствовать себя неотъемлемой частью природы, если хотите — животным».

Так вот — этот человек, этот матерщинник, зная не знающий никакого такого руссоизма, — он безусловно чувствует себя «неотъемлемой частью природы», и в нем много животного, иной раз даже очень много, как и в каждом из нас, — что безусловно необходимо для целого ряда очень важных целей и в первую очередь для

воспроизведения рода человеческого; но он отнюдь не чувствует себя животным. И не желает себя таковым чувствовать. Ибо непросвещенной своей душой, крестьянским трудом, жизнью, сердцем и опять же печенкой, и отчасти даже необразованной своей головой превосходно знает, в отличие от иных просвещенных своих собратьев, разницу между человеком и животным — и разницы этой вашим цивилизаторским поползновениям не уступит, пока жив и существует на нашей земле. Ибо хоть он и Богу не молится, и в церковь не ходит, и о Священном писании знает лишь понаслышке, — а тем не менее сохранил в тайном для самого себя уголке души источник человеческого достоинства, унаследованный от дедов и прадедов, которые еще знали и помнили, что человек — не зверь, а образ и подобие Божье, наделенное разумом и совестью, помогающими ему отличать чистое от грязного, подлого, и велящими исполнять Божьи заповеди; и которые если уж безобразничали и охальничали (а делали они это частенько), то по крайней мере — как говорит где-то в «Дневнике писателя» Достоевский — знали, что именно безобразничают, делают то, чего делать нельзя, и этим решительно отличались от многих из нас.

Надо катастрофически — для образованного человека — не понимать, не знать, не уважать свой народ, свою культуру, землю, на которой живешь, ее язык, чтобы детски удивиться: «Не так давно деревенщик Василий Белов пренебрежительно назвал эмигранта Василия Аксенова «матюкальщиком». Это как же понять: певец русской деревни брезгует матерной руганью (богатством великого, могучего, правдивого и свободного)?»

Какое презрение к своему языку, какая бездна отчужденности или простодушного безразличия! И о чем это? О русском языке... Бедный Тургенев!

В журнале цитируют одного из главных петербургских свободолюбцев М. Чулаки («Изгнать лицемерие», «Независимая газета», март 1991): «Давно уже существует прекрасная литература, не только употребляющая, но и культивирующая мат... Цензуры в России больше нет... надо издать». Если не ошибаюсь, всего год-два назад в той же газете тот же автор возмущался: что же это за народ такой кошмарный, который придумал такую безобразную ругань. Меня, впрочем, не интересует эволюция автора как таковая, гораздо важнее вот это любопытное соседство: презрение к темному народу, создавшему столь грязную ругань, и — сладострастное влечение к ней самой. Откуда это упорное стремление ввести в верхние этажи культуры то, что презираемый народ твердо держит в области нижнего, запретного и только в таком качестве употребляет?

Нечто сродное этой занятной «анатомии» я нашел и в изысканном, как бы в золоченом профессорском пенсне, редакционном обращении «К читателям», открывающем номер журнала. С одной стороны, издатели, отмечая, что «эти тексты» у нас «из-за клейма «неприличных», «неудобных» к печати... полностью не публиковались никогда», тут же с приличествующим случаю почтением сообщают, что «эти тексты» «на Западе давно издаются разумными

тиражами» (разрядка моя.— В. Н.). С другой же стороны, с очаровательной и отчасти триумфальной откровенностью признаются, что здесь, то есть в России, эти же самые «тексты» они издадут, борясь «за внимание широкого (разрядка опять моя.— В. Н.) читателя». Здесь любопытен не только панельно афишируемый рыночный позыв, но и примечательная уверенность, что разумное в таком деле нам как бы не годится, что наша народная потребность в безобразии требует большей издательской широты.

Тут уж не имеет значения тот факт, что реальный тираж журнала невелик и, применительно к данному случаю, почти «разумен»; да и вообще меня интересует не столько сам факт публикации, сколько его духовное и нравственное происхождение; в частности, интересна вот эта самая уверенность, что именно «широкий читатель» «милый и ненавистной России», как сказано в одной из статей, ждет не дождетсЯ массового издания похабщины — исполнения хрустальной мечты цивилизованных людей.

* * *

Что привлекает в этом редакционном вступлении (весь номер там назван «мозговой атакой») — глубокомыслие. Есть и мысли.

«...Дело не в цензуре, никаких ошибок тут у нее не было, ибо тексты эти (Барков и прочее.— В. Н.) и создавались в расчете на запрет: не с тем, чтобы пробиться сквозь цензуру или обойти ее, а с тем, чтобы они ходили по рукам именно в качестве «невозможных», «преступающих приличия».

Ведь понимают! Вот-вот и самое главное поймут: что это было правильно и потому никаких «реформ» не требует... Вот-вот — и поймут...

Нет.

«Предавая их теперь печати, мы сознаем, что до некоторой степени подрываем их репутацию. Но вряд ли подрываем сами основы жанра, ибо...» — дальше не выписываю, там нечто чрезвычайно любопытное, что надо будет обдумать, прочитав весь номер. Но какова забота об основах жанра! Прямо от сердца отлегло.

Дальше. «Один из важных аспектов — размежевание Эроса и порнографии». Ого! Опять верно. Но почему тогда Барков и «Лука» у них — «эротическая традиция»?

Но вот, кажется, главное. «Суть, стало быть, в самом феномене преступления приличий... (тепло, тепло! — В. Н.). Суть в том, чтобы понять, откуда сама эта грань (еще теплее.— В. Н.), в чем внутреннее ее оправдание, какова динамика «запретного» и «принятого» в разные эпохи. Суть в том, чтобы найти общий духовный закон, их порождающий и размежевывающий... Горячо! Ну?

Не нукай, не запрят... Главное — заинтриговать, остальное не важно: плюрализм.

Однако на другой вопрос: «Какие внутренние силы заставляют русское художественное сознание (в Баркове, конечно, главное художественность.— В. Н.) веками созидать и лелеять (почему «ле-

леять»? Какое такое истинное художественное русское сознание так уж «лелеяло»? Это вам, любезные, хочется взлелеять.— В. Н.) эту тайную, «черную», «теньвую» словесность»,— на этот вопрос ответ дают с ходу, без плюрализма:

«...Это — форма нашего бунта. Это вечный русский бунт, социально-эстетический протест...» — и дальше про «свободу», «кризисы», «отчаяние»,— в общем, по социологической методе учения о неразрывной связи передовой русской литературы с освободительным движением. Правда — осторожнее и даже отчасти с оттенком осуждения («самозабвенный беспредел», «оскорбительное преступание» и пр.).

Одним словом, «мозговая атака». Чижики съели.

Впрочем, зря я так на них навалился. Они не виноваты. Надо же в конце концов принять в расчет неслышанную нашу религиозную безграмотность, в кровь въевшееся рабство у «научного материализма» и, в связи с этим, невероятную духовную глухоту. Мало того — еще и полное отсутствие интереса (к сожалению, очень часто именно в «ученой» среде) к религиозной и духовной сферам, в их собственном, а не мистифицированном качестве (когда под «духовностью» сплошь и рядом понимается интеллектуальность либо образованность или даже просто начитанность).

Будь иначе, человек, заинтересовавшийся вопросом о русском сквернословии и обо всем, с этой темой связанном, просто не может — и притом довольно скоро — не прийти к выводу, что феномен ужасной нашей ругани есть в конечном счете феномен религиозный; что занимающая авторов редакционного вступления «грань» между «приличным» и «неприличным» (та самая оппозиция «доступное — запретное») имеет древнейшую религиозную природу, выполняет, повторяю, помимо прочего, экологическую (и в духовном, и в биологическом смысле) функцию; что динамика «запретного» и «принятого» в разные эпохи определяется прежде всего различиями религиозными, в нашем случае — между язычеством и христианством, ибо разные соотношения между телесным («нижним») и духовным («верхним») определяют и разность в представлениях о «принятом» и «запретном»; что, наконец, «общий закон», разыскиваемый авторами вступления, закон, «порождающий и размежевывающий» всяческие «можно» и «нельзя»,— этот закон наиболее ясно формализован в библейско-евангельских заповедях.

Ведь это так просто. Что называется, рядом лежит. Правда, только в том случае, если вы сами находитесь где-то рядом. Но вы где-то в другом месте, отвернулись и задаете свои вопросы в пустоту, неизвестно кому.

* * *

Отсюда еще одно очень важное, о чем решаюсь сказать не без робости, ибо в случае опубликования рискую схлопотать солидную порцию высоколобой иронии, насмешек, а то и благородного гнева. Дело в том, что «рекордная», по мнению многих, непристойность

русского мата, проистекает из того же источника, которому Русь обязана своим древним прозвищем «святой»: из глубочайшей, а точнее — глубоинной религиозности русского сознания, существующей и сохраняющейся даже и до сего дня, когда сама-то религия кажется умершей или обмершей. Истина эта также довольно элементарная и очевидная (вспомним хотя бы такой специфический элемент русской жизни, как юродство, феномен религиозный и вместе с тем тесно связанный с явлением «границ» и преступания ее), и для иллюстрации ее довольно одного примера.

Есть в Европе народ, ругательства которого, по мнению знающих людей, не уступают по грязи и кощунственности нашим родным. Об одном мне рассказал Лев Осповат: там объектом надругательства является «платок Мадонны», то есть тот самый плат Божьей Матери, которым Она обтерла лицо снятого с креста Иисуса. Ругательство это настолько грязно и отвратительно, настолько в этом смысле превосходит наше сквернословие, что я не буду переводить его (хотя это вполне возможно) на относительно приличный словесный язык. Так вот, это безусловно «рекордное» и очень употребительное ругательство принадлежит испанцам — самому религиозному, самому католическому, самому серьезному в вере, самому духовному из западноевропейских народов.

Не правда-ли, в этом что-то есть?

* * *

Русский народ тоже очень серьезный народ. Иностранцев, не знающих нас, это сначала смущает, серьезность они принимают за утрюмость и необщительность, а потом изумляются неожиданной душевной открытости и необычайной, почти детской, эмоциональностью русских. И по серьезности русские тоже могут быть сравнены разве что с детьми, а дети — самые серьезные люди в мире, маленькие дети редко «шутят», они этого просто не умеют. Они умеют смеяться, играть, веселиться, но все это для них не «шутка» или юмор, не забава в свободное от серьезных занятий время, а самое серьезное и жизненное занятие. Вот так и мы. Это вовсе не значит, что мы дети буквально, что нам чужд юмор, чужда шутка (она у нас, впрочем, бывает порой довольно груба — вспомним «юмор» Лермонтова, погруженного в свои роковые вопросы!). Мы серьезны как дети в том смысле, что нас одних еще, похоже, во всем окружающем «взрослом» мире волнуют эти самые «последние», «проклятые» вопросы, которые можно назвать и «детскими». В окружающем мире все несколько иначе: там на первом месте — «дело» (а точнее все-таки — бизнес, ибо это слово ближе по смыслу к понятию добывания денег, чем к русскому понятию «делать дело»): на первом месте — то, что можно потрогать и взять в руки, а все остальное, то есть то, чем занимается культура (в том числе и «детские», «проклятые» вопросы)... для этого существует «свободное» время, как для игры и отдыха. Так что наше немыслимое словосочетание «парк культуры и отдыха» столько же, в сущности, отражает

кондово-советское понимание культуры как полезного «отдыха», сколько и классически-американское.

Хотите знать, что такое культура по-американски? Пожалуйста: «Цивилизация складывается из идей и убеждений. Культура суммирует приемы и навыки. Изобретение смывного бачка — знак цивилизации. То, что в каждом доме есть смывной бачок, — признак культуры». (Это все те же ковбои пера П. Вайль и А. Генис, это их книжка «Родная речь», покорившая сердца нашей спешно цивилизующейся публики...)

...Да нет, я вовсе не собираюсь с ними спорить; если им так нравится — пусть. Дело в другом: ведь у нас, темных, совсем другие понятия! Для нас культура — штука в основе своей идеальная, а цивилизация — в конечном счете материальная, включающая также и смывные бачки вместе с фактом их изобретения; по-нашему, культура (на латыни — «возделывание») есть возделывание человека, его души и духа, а цивилизация — возделывание лишь среды и условий обитания человека. Но мы же им не навязываем это устарелое понимание! То есть — если у них там и культура, и цивилизация общим знаменателем имеют смывной бачок, — пожалуйста; но нас-то зачем этой меркой мерить, мы до этого еще не доросли.

И однако именно такое, в конечном счете, понимание культуры внедряют в нас те, кто сделал профессиональным занятием «обличение» и «разоблачение» «так называемой великой русской литературы» и вместо того, чтобы попытаться уяснить ее величие и драму — имеющую, между прочим, онтологический для истинной культуры характер, — стремятся переделать на «американский» лад само наше понимание культуры, научить видеть в ней всего лишь «прием и навык», «культуру и отдых», одним словом — подчинить культуру цивилизации в качестве ее, цивилизации, следствия и служанки, что прямо обратно всем нашим представлениям не только о культуре, но и о жизни. Этим занимаются многие, хотят они того или нет, — от отечественного А. Агеева с его напумевшей статьей в том же «Литературном обозрении» и зарубежного Бориса Парамонова с его бесконечным самодовольством, как будто ставшим уже неотъемлемой частью его несомненного таланта, до тех же Вайля и Гениса с их беспардонно плоской по методологии книжкой, в которой остроумная находчивость и интеллектуальная ловкость (играющие роль «орудия производства» или своего рода профессиональной мозоли) оттеняют изумительное духовное убожество и без труда прощупываемую эстетическую глухоту почти ко всему, что выше или глубже их концепции.

Но не научат все они нас никогда своему пониманию культуры, безнадежное это дело. Ну, взгляните хотя бы на такое «стихийное» явление, как русский рок: он может нравиться или нет, но невозможно отрицать «родовое» его отличие от рока западного. Ведь наш рок — это, извините, сплошная «философия», и это при любой тематике, и, как правило, либо трагедия, порой до истерики, либо нечто от юродства или скоморошьего действия — часто не столько

рок, сколько его передразнивание. И как часто это по-человечески глубже и интереснее, чем рок белых людей Запада, в котором, при всех потугах, гораздо меньше, чем у нас, личного и гораздо больше... бесполого, что ли.



Тема пола, тема секса у нас в культуре редко была в круге тем «легких», развлекательных, гедонистических, тем «сладкой жизни» — чаще была метафизической, трагической, в конечном счете религиозной, — Розанов тут камертон. Никто не будет отрицать немыслимую «асексуальность» русской литературы; но сравнительная бедность ее собственно «эротического» арсенала — оттого, что ее тема — любовь, а не секс, Эрос, а не эротика. Эротика-то больше всего нужна как раз тем, у кого с Эросом, с любовью, в их высоком (да, впрочем, и в более прозаическом «нижнем») смысле не все в порядке.

И грязные шуточки и похабства, коими мы так богаты, — не от нечего делать, не для развлечения или услаждения просто, — это тоже очень серьезно, это тот самый средневековый карнавал, святочное игрище и кошунство, который давал разрешение от поста (в смысле серьезной же духовной настроенности), открывал на время клапан естества, жаждущего порезвиться, то есть — потолкать, поколебать духовный треножник мироздания, испытать его на крепость и, испытав и убедившись в этой крепости, а в своей слабости перед греховными искушениями, — пойти на Крещение в храм очиститься.

И жуткая матерная ругань — все от той же серьезности и основательности. Неинтересно и несерьезно ругаться абы как и потому что «можно», — нет, нужно, чтобы земля сотряслась и небо померкло, надругаться над святым, да не просто, а над самым святым, чтобы показать, что и дороги-то назад уже нет, чтобы словно в очередной раз подтвердить, что несешь проклятие адамова грехопадения. А самое святое для русской души есть культ матери, исходящий от почитания Матери-земли и восходящий к поклонению Пречистой Матери, Невесте Невестной. И вот тогда это будет настоящая ругань, за которую надо нести ответ перед Богом: основанная на поругании и священного сыновнего чувства, и полового акта (лишаемого его мистической сущности и превращаемого в физиологическую непристойность), и брака как священного таинства, и самой непорочности и невинности. Русская матерная ругань есть по существу и в основании своем богохульство.

А значит (это, конечно, чудовишно, но факт есть факт), русский мат как поругание святынь, как богохульство мог появиться и получить распространение только среди такого народа, который всерьез имеет святыни и в душе своей всерьез почитает Бога; который без святынь и без Бога не мыслит своего существования, для которого пост (в смысле духовной серьезности) есть то, что определяет главный вектор жизни; а главный

вектор жизни для русского сознания, как известно, эсхатологический, то есть имеющий отношение к конечным судьбам мира, к тому, что будет после, а стало быть — к высшему смыслу и цели всей земной жизни.

От этой, повторяю, серьезности — и потребность в «карнавале», в кошуnstве. И чем серьезнее «пост», тем «карнавал» может быть более размашист и разнуздан, — в прискорбном духе русской «широты», с «хождением по краю», с риском окончательно загнать вниз, в самую что ни на есть преисподнюю; не зря матерная ругань на церковном языке именуется нередко молитвой сатане...

* * *

Но стереть грань между постом и карнавалом? Сделать потрясение духовных основ, сделать богохульство нормой, обыденно принятой наравне с другими занятиями? Нет, это не по-русски. Это безобразно (как безобразно равнодушен переход от Церкви к партии — и обратно); и это как-то стыдно; и об этом очень точно высказался, на «советском» уровне, один очень русский чудак:

Когда в делах — я от веселый прячусь,
Когда дурачиться — дурачусь.
А смешивать два эти ремесла
Есть тьма искусников, я не из их числа.

Это ведь, кстати, настоящая свобода — свобода собственно го выбора, а не чьего-то «разрешения».

«Ох уж эти патриоты, — скажут сейчас обо мне (давно уже, впрочем, должны бы сказать), — и тут, в ругани и безобразии, опять мы — лучше всех! Опять это национальное чванство!»

Нет, милостивые государи и государыни также, я вовсе не о том, вы очень хотите неверно меня понять. Я не о том толкую, насколько мы хороши и насколько плохи, не нам о том судить, — я о свободе. И о разных ее пониманиях. Разница между русским религиозным пониманием свободы и тем пониманием, которое исповедуют нынешние потребители «свободы слова», состоит в том, что религиозное сознание, безобразничая, преступая грань, чувствует, что грань эта — запретная и что за такое надо бы нести ответ; а сознание потребительское мечтает стереть эту грань — чтобы «нельзя» превратилось в «можно», чтобы и безобразничать, и преступать, и ответа не нести.

* * *

«...Это — форма нашего бунта. Это вечный русский бунт, социально-эстетический протест...» — марксистско-ленински утверждает редакционное вступление, объясняя природу сквернословия. Да не протест это никакой (это нас, «мыслящих людей», хлебом не корми, дай только опротестовать что-нибудь, обличить или низвергнуть, иначе места себе не находим, на том и держимся, и все на свете по той же колодке моделируем); никакой это не протест, а экспансия мировоззренческого разврата в религиозное сознание.

Вхождение сквернословия в повседневную жизнь Руси — только бытовой шлейф этого разврата. Материалистический позитивизм — релятивизм — цинизм — сквернословие. Выталкиваемая из обыденного сознания религиозность сопротивлялась: она не выталкивалась, она цеплялась, она оставалась — но в опрокинутом виде. Так было во множестве сфер; в итоге идеал соборности со временем опрокинулся в «социалистический идеал»; Царство Небесное — в коммунизм; «Кто не со Мною, тот против Меня» (Мф., 12,30) — в «кто не с нами, тот против нас»; «будут последние первыми» (в Царстве Небесном; Мф., 19,30) — в «кто был ничем, тот станет всем» (в пролетарском раю); «Я разрушу храм сей рукотворный, и чрез три дня воздвигну другой нерукотворный» (Мф., 14,58) — в «весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем...» и пр. и пр. — все узурпировалось (потреблялось), извращалось, опрокидывалось; сама же религиозность, отчаянно сопротивляясь потреблению (истреблению), опрокидывалась в... во что может опрокидываться религиозная серьезность?.. Правильно: в карнавальность, говоря респектабельно; а в нашем случае — в кошунство, в черное юродство, жуткое, как гримаса боли, предвещающая возможность духовной катастрофы. И вот уже русский человек, шаг в быту не делавший без «Господи, помилуй» да «Господи, благослови», чем дальше, тем чаще заменял эти слова совсем другими... Это в быту. А Иван Барков, законное дитя Петровской эпохи, закладывает и своего рода «культурный» фундамент — прежде всего самую целеустремленностью своей литературной работы, введившей устное (фольклорное в том числе) грязное слово в письменный (пока еще не печатный) обиход — тем самым ослабляя и удлинняя цепь, на которой сидит сатана.

Дальнейшие поползновения «стереть грань» между «доступным» и «запретным» словом отражали дальнейшую экспансию вируса безверия (сначала религиозного, а ныне — и социального), процесс выколупывания совсем нового сознания — возможно более безрелигиозного и безверного. Синхронно с этим процессом черное, подлое слово — и до революции, и особенно после нее и благодаря ей, и особенно нагло с конца 60-х годов, и уж совсем оголтело в 70-е и 80-е — входило «в обычай» ни во что уже не верующих людей, вползало из заведомо подлых пределов в «приличную» речь и завоевывало, оккупировало ее, звуча тоскливым скрежетом в среде «простого народа» и утонченно-циничной жеребятиной в умных разговорах интеллигенции. А теперь вот ее же устами, в условиях разрешенной свободы и при посредстве орудий культуры, взыскует и обоснования — теоретического, идейного, культурного, требуя тем самым «художественно» ознаменовать, «культурно» оправдать, закрепить и торжествовать расхристианивание нации.

* * *

Попался в руки журнал «Странник», номер 1(3) за нынешний год. И вот:

«Пушкин... Какое русское ухо не навострится при звуке этого священного имени?

Нет такого уха.

Гоголь... Какой русский глаз не блеснет от этого магического слова?

Нет такого глаза.

Достоевский... Какая русская душа не задохнется от одного только воспоминания о нем?

Нет такой души.

Толстой... Какое русское сердце не забьется ускоренно при встрече с графом?

Нет такого сердца.

.....
Чаадаев... Какая русская бровь не поползет вверх, услыша его пленительную речь?

Нет такой брови.

.....
Державин... Какая русская грудь не закричит от гордости при звоне этого хрустального сосуда?

Нет такой груди.

Чехов... Какой русский лоб не затоскует, не съжится при свисте этой сокровенной флейты?

(Это я еще сокращаю, там длиннее и все так же талантливо, остроумно, и... да просто — умно! — В. Н.)

Великая русская литература... Какой русский х... (в журнале, натурально, полностью.— В. Н.) не встанет со своего места под музыку этого национального гимна?

Есть один такой х... Мы встанем, а он не встанет. Мы все встанем, кроме него. Одинокий, жалкий, занедуживший х...шко. Но если его приласкать, если по-человечески к нему отнестись, он тоже встанет.

Вот. Это все.

И это, конечно, Виктор Ерофеев, мэтр андерграунда, красно солнышко постмодернизма, георгий победонесец, поразивший змия «советской литературы» и теперь разделяющийся с русской. Гордость нашей свободной словесности. Писатель.

Шутка гения.

Он, по-видимому, и сам уверен, что создал нечто... ну, хотя бы неординарное, во всяком случае достойное внимания публики — просвещенной, конечно. Последние два «ударных» абзаца представляются ему настолько безусловно остроумными и талантливыми, что все остальное, предворяющее этот интеллектуальный подарок, он пишет — не стеснясь, демонстративно — левой ногой. И все равно рукоплещи, толпа: кто еще скажет так?

Предположить иное — то есть, что все это от начала до конца накропано с некоторым творческим тщанием, старательно, с той, пусть минимальной, мерой авторской ответственности за свой труд, за свое слово, которая бывает присуща иногда даже явному графоману, — одним словом, предположить, что все это написано правой ногой, мне даже как-то страшновато: слишком безнадежна была бы тогда бездна бездарности. В любой ситуации хочется надеяться на лучшее.

Жили, жили — угнетенные, обиженные, униженные и оскорбленные, с кляпом во рту, — и все это время, надо полагать, должны были вынашивать в оскорбленных своих душах что-то светлое и благородное, высокое и прекрасное, ненавистное и страшное для мастеров «душить прекрасные порывы». И вот сбылись мечты, кляп выплонул — и что же повалило их отверзшихся уст? Словно у сестер Василисы Премудрой: что ни слово, то жаба или змея. Неужели ничего другого за душой и не было, «мастера культуры»? Где же ваша собственная свобода, внутренняя свобода, «тайная», как называли ее Пушкин и Блок? Неужто не глубже штанов?

Тоталитарная система нашей благодетельницей. Все грехи и недостатки можно было списать на нее, нас самих из-за нее не было видно: сплошное «угнетение». А свобода — вещь страшная, безжалостная вещь. Она раздевает нас — и оставляет у всех на виду, какие есть, голенькими. И выходит — один срам.

И ведь все это, явно или тайно, чувствуют и знают. Человек вообще все самое глубокое чувствует и знает, только истолковываем мы это знание каждый на своем уровне. Кому стыдно своего срама, а кто трепещет от наслаждения, оказавшись без штанов; как там у Достоевского: «Заголимся и обнажимся!» Идет срамная «культура» — и она не выносит соседства настоящей культуры, стремится либо уничтожить ее (как гоголевский колдун из «Страшной мести» хотел весь мир уничтожить), либо, огадив, уравнивать с собою, а еще лучше — осмеять и тем поставить ниже себя. Опять свобода раба: свобода нагадить на рояль или выкинуть его из окна — как великую русскую литературу «с парохода современности». Опять страстное желание стереть грань между высоким и подлым.

Эти утописты надеются «переучить» русскую литературу, научить ее ничему не учить, а быть игрой, как это принято в цивилизованных странах. И чтобы и в нее можно было играть (к чему призывает А. Синявский в предисловии к книжке Вайля и Гениса, снабженной, кстати, подобострастной аннотацией от имени самого Министерства образования РСФСР). Их вообще раздражает, что литература чему-то может учить.

Ну, хорошо, Сергей Радонежский не «учился» у Рублева, а сам внушил Рублеву «Троицу», Серафиму Саровскому ни Пушкин, ни Гоголь не были нужны, в поучениях светской культуры он не нуждался, ему являлась Божья Матерь. А вы-то кто такие?..

* * *

«Мелочная и ложная теория, утвержденная старинными риторами, будто бы польза есть условие и цель изящной словесности, сама собою уничтожилась. Почувствовали, что цель художества есть идеал, а не правоучение. Но писатели французские поняли одну только половину истины неоспоримой и положили, что и нравственное безобразие может быть целию поэзии, т. е. идеалом! Прежние романисты представляли человеческую природу в какой-то жеманной напыщенности; награда добродетели и наказание порока были непременным условием всякого их вымысла: нынешние, напротив,

любят выставлять порок всегда и везде торжествующим и в сердце человеческого обретают только две струны: эгоизм и тщеславие» (Пушкин, 1836).

* * *

«Если в нас рождается какой-нибудь скверный помысел, — говорит Иоанн Златоуст (кому безразлично, что это великий святой, пусть прислушается хотя бы к великому писателю), — то надобно подавить его внутри и не допускать ему переходить в слова».

Совет величайшей мудрости, исходящий из понимания священного происхождения и неслыханной силы слова.

Есть разные степени грехопадения. Одно дело — когда человек предается «скверному помыслу», уже в этом надо раскаиваться, ибо мысль есть реальность.

Другое — когда помысел «переходит в слова». Каждое сказанное нами слово в известном смысле «плоть бысть». Через слово «скверный помысел» начинает материализоваться. Нет ничего, по-моему, страшнее «идеи, ставшей материальной силой».

И наконец — когда скверный помысел, перейдя в слова, не остается во внутреннем «употреблении», а путем слов — или уже действий — передается другим, внушается другим, учит и соблазняет других. Ответственность за такой грех — это не только ответственность за себя, но и за тех, кого соблазняешь, и она ужасна. Ты учишь других, что скверное — это можно, это норма. И к этому греху, мне кажется, имеет прямое отношение таинственная и повергающая в трепет фраза Евангелия:

«Всякий грех и хула простятся человекам; а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф., 12, 31-32).

В нынешнем понимании свобода слова — это возможность и дозвоительность переводить в слова скверные помыслы.

* * *

Это не дурная книга, это дурной поступок. Вспомнив небезызвестную формулу, нужно, в интересах справедливости, сказать, что совсем уж «дурной книгой» номер «Литературного обозрения» не назовешь — если читать примерно с середины. Тут немало любопытного, а главное — чрезвычайно поучительного: фрагментарно представленный, но в общем довольно связный коллективный обзор наиболее острых поворотов «эротической темы» в русской литературе — специфический срез процесса падения в ней того, что способно и готово было пасть, — в сопровождении анализов (порой тонких и глубоких) предпосылок этой прискорбной готовности.

Мрачная, надо сказать, картина. От мазохистского состязания (Кто хуже? Я хуже!) Белинского с Бакуниным в выговаривании наделанных сексуальных пакостей (извращенный, атеистический суррогат удовлетворения священной и естественной потребности

человека в исповеди) до подмены идеала христианской любви деревянным муляжом «любви-товарищества» (в сочетании с «инстинктом воспроизводства») и прочих, не менее фантазмагорических извращений советской эпохи; от жалко и грязно-ханжеских отношений революционных демократов с проститутками (отношений, увязываемых с революционной идеологией, построенной на необходимости «исправления замысла Творца»), до брюсовского и иных «мистического» разврата, дух которого (дух поклонения не только «равно», но практически одновременно «и Господу, и Дьяволу») реял над «серебряным веком», когда оппозиция «доступное—запретное» изничтожалась некоторыми «бледными, со взором горящим» уже с каким-то религиозным экстазом и когда была окончательно раскупорена бутылка и выпущен джинн духовного растения, что помог погубить страну.

Одно из светлых пятен этой картины — Хармс, у которого и в «поздний» его период самодовлеющая эротика (с «запретными» словами) оттесняется, и не почему-либо, а «ради постижения Бога, единственного способного даровать человеку бессмертие, являющееся смыслом его жизни»...

В целом вся эта история, прослеженная в статьях В. Сажина, Т. Печерской, Н. Богомолова, Р. Щербакова, О. Матич, М. Золотеносова и др. (обидно мне только за моего однокашника, выдающегося ученого, блестящего филолога М. Гаспарова, у которого, кстати, и тема другая,— уж так неловко, так непрезентабельно выглядит он, подстраивая свою рафинированную, в хорошем смысле, ученую речь в тон непристойности Марциала и похабщины близко соседящей «барковианы», со стеснительной фривольностью выписывая матерную фразу латинскими буквами и при этом еще уверяя, что «так будет интереснее!»), — так вот, в целом вся эта история есть именно и поистине история расхристианивания культуры, показанная на специфическом материале. Помимо прочего, она словно бы нарочно иллюстрирует совершенно справедливую фразу одной из статей: «Идеям, претендующим на позитивность и созидательность, сквернословие едва ли органично...» (Верно: органично идее разрушения и культуры). До смешного удивительно, что вся статья находится в кричащем противоречии с этой фразой и, кажется, выстроена так, чтобы всячески утвердить «созидательный» смысл сквернословия.

Такая путаница характерна вообще для всего замысла этого номера, и говорит она опять же о нашей темноте и неумении всерьез размышлять над глубокими и высокими темами. Ведь почти составители номера внимательно и загодя материалы, составившие затем его вторую половину, задумайся они над ними всерьез — и, может быть, замысел в чем-то изменился бы, и охладела бы культуртрегерская страсть к стиранию границ между «запретным» и «принятым». И их редакционное преуведомление получилось бы пусть и не таким щеголеватым, но зато более неглупым. А то ведь вот что выходит:

«Предавая их (тексты, которые, как тут же говорится, «и создавались в расчете на запрет». — В. Н.) печати, мы сознаем, что до некоторой степени подрываем их репутацию. Но вряд ли подрываем сами основы жанра, ибо как только данная потаенная словесность

теряет ореол запретности и вводится в обычай, в качестве «оскорбительных» начинают действовать ее другие пласты, роль неприличных начинают играть новые темы...»

Где-то выше я уже писал, что весьма трогательна эта забота об оскорбительности и неприличии. Только очень уж высок уровень абстрактного мышления: какие «другие пласты», какие «новые темы»? Моей фантазии тут не хватает. Знают, да стесняются, что ли? Может быть, место оскверняемых святынь материнства, любви, брака займут какие-то «новые» святыни — например, свободы и демократии, а основой новой неприличной лексики станут понятия «закона» или, скажем, «правового государства»? Или просто так, наобум Лазаря сказанули, чтобы поглубокомысленнее и потеоретичнее?

И ведь вряд ли подозревают, что на самом деле сказанули...

Ведь любая ругань по определению есть (или имеет в виду) отрицание какой-нибудь заповеди. Матерная ругань и матерное слово декларируют, ближайшим образом, отрицание заповеди «не прелюбодействуй», тем самым утверждение «заповеди» противоположной: «прелюбодействуй». Так что же: если поругание седьмой заповеди при вашем содействии потеряет «ореол запретности», то какие ценности видятся вам в качестве «других пластов «оскорбительного»? Отрицание каких заповедей, насмешка над которыми из них послужит «новой темой» обновленной неприличной лексики? «Не укради»? «Не лжесвидетельствуй»? Или «Не убий»? (Кстати, функцию, сходную с функцией порнографии уже и так выполняет показ насилия и убийства). Может получиться очень живописно — и одновременно специфически отразит — наконец-то — уже провозглашенные в свое время «новые» заповеди — от:

Свобода, свобода,
эх, эх, без креста!

вплоть до:

Но если он (век. — В. Н.) скажет: «Солги», — солги.
Но если он скажет: «Убей», — убей.

Господи, до чего же все в жизни связано... «Ибо Тот же, Кто сказал: «не прелюбодействуй», сказал и: «не убий».

* * *

Ну вот, получается, что злосчастный этот «Литобоз» чуть ли не главный виновник катастрофы, происходящей (производимой) в культуре. Да не хотел я этого. Просто так называемая «эротическая» тема оказалась тут, как это сейчас говорят, репрезентативна.

Не так давно в одном собрании студент МГУ задал мне вопрос: чем же плохо «сексуальное просвещение» детей и молодежи гласно, в печати? Разве лучше, если дети будут узнавать «про это» в подворотнях?

Да, ответил я, в подворотнях плохо и чревато неприятностями; и все равно — лучше уж в подворотнях, чем гласно и в печати.

Я не стал тогда пространно объяснять ему, что «в подворотнях» дети знают, что учатся греху; а «в печати» их учат, что никакого греха не существует, есть только гигиена и технология, причем никакие благоразумные оговорки тут не помогают, остаются лишь гигиена и технология. Я не стал пространно объяснять, почему на тему полового акта с незапамятных времен положен покров тайны, на ней лежит печать греха, и покров этот, и печать эта — священного происхождения. Грех — не в самом половом акте (ибо Господь, сотворив мужчину и женщину, сказал им: «плодитесь и размножайтесь», — Быт. 1, 28); грехопадение было в том, что люди познали добро и зло не с Божьего благословения, а с помощью сатаны. Нигде добро и зло не соседствуют так опасно, как в плотском влечении, вот почему Адам и Ева, познав добро и зло, тотчас устыдились своей наготы: это их души устыдились нарушения Божьей воли, через которое вошли в мир грех, зло и смерть. Я не стал также объяснять, что плотские отношения мужчины и женщины облагораживаются и возвращают себе изначальное благо и красоту только при условии Любви — будь это личная и истинная любовь одной женщины и одного мужчины друг к другу, которая порой сияет божественным светом и в этой жизни, полной тьмы, или та Любовь, торжества и царствования которой во всем мире так жаждет исстрадавшееся от собственных преступлений человечество, почти ничего для этого торжества не делая. И пока люди продолжают жить по законам зла и смерти — печать греха будет лежать на отношениях полов, и делать вид, что грехопадения не было, что мы с вами бесконечно хороши и продолжаем жить в раю, где нет ни греха, ни зла, ни смерти, — то есть бесстыдно и глупо лгать. На самом же деле мы построили мир зла, и потому печать греха остается, и дети должны это узнавать. Пусть в подворотнях узнают — если средства массовой информации занимаются чем-то совсем другим; и только собственная жизнь и собственная, личная и истинная любовь (иногда — с помощью истинной культуры) могут просветить их.

Ничего этого я мальчику не сказал, ограничился несколькими фразами. Но он, выслушав, воодушевленно закивал головой, порозовел и сказал: «Большое вам спасибо!» Он оказался нормальным человеком, он, наверное, и без меня поймет, что ни жизнь, ни культура не могут оставаться самими собой, или — опять по-научному — не деструктурироваться, если устраняются те границы между «можно» и «нельзя», которые суть балки, столбы и стропила жизненной (и культурной) структуры. И никакие соображения «прогресса», «удобства», или, скажем, «терпимости», или чего угодно не могут оправдать устранения этих границ.

* * *

Включаю телевизор. В окружении десятков трех людей, в основном молодых, сидит в кресле человек с лицом постаревшего красивого мальчика и рассуждает о том, что нужно наконец узаконить, юридически ввести «в обычай» так называемую «эвтанасию» (по-гречески «благая смерть»). Речь идет о проблеме добровольной смерти

особо тяжело страдающего человека — от рака ли, от другой болезни, от чего-нибудь еще, — мало ли в жизни невыносимых страданий. Речь о том, что мы должны юридически иметь право помочь такому страдальцу умереть; о государственном и общественном (социально-нравственном) санкционировании этого акта; ведь так уже делается в одной из цивилизованных стран Запада (кинокадры), где наконец-то прочно утвердилось в убеждении, что человек есть полный хозяин своей жизни.

Что-то потустороннее, зазеркальное. Не в самой даже смерти дело. И даже не в том, что последнее-то слово (оно же — дело под названием убийство) будет реально принадлежать вовсе не самому страдальцу, просящему нас о «помощи», а нам, эту «помощь» согласившимся оказать и оказывающим. И не в том даже, наконец, как это в христианской стране могут считать человека «полным хозяином» своей жизни (он что ее — сам сделал? или на заработанные деньги купил?).

Дело в другом. Мало ли что бывает в жизни. Мало ли каких страданий свидетелем может стать тот или иной из нас; может, они будут, на наш взгляд (всегда ответственный, всегда безошибочный!), столь невыносимы, что мы не выдержим и, нарушив Божью заповедь «Не убий» во имя жалости, «поможем» и — убьем. Это будет, может быть, милосердно. Но это будет милосердие, воплощенное в великий грех. И вот главное: грех этот человек совершит лично, от себя, по своему свободному выбору, на свою личную совесть. И ответственность за такой выбор перед Богом человек возьмет — во имя своей жалости — на себя, ни на кого эту ответственность не сваливая. И сколько бы ни было таких случаев и таких поступков, каждый из них будет личным и каждый единственным. Сколько поступков — столько и ответов. И это — правильно.

Но все, оказывается, можно устроить иначе. Ибо поступок, совершенный только по личному выбору и только под свою ответственность, — это ведь чрезвычайно неудобно. А что если юридически, «извне», узаконить такой поступок, ввести его в унифицированную правовую систему, в множественный «обычай»? Стереть грань между «можно» и «нельзя»? Человеческим актом отменить вышний запрет — и тем снять со всякого человека ответственность за сделанный выбор?

Это уже не только разрушение культуры. Это разрушение человека как свободного существа. Это не просто унижение человека — это втоптывание его в грязь, антропологическая порнография (порнос по-гречески — грязный), акт, обратный акту Творения.

Не буду на этот раз предугадывать, что мне могут ответить некоторые, чем они могут возмутиться, над чем усмехнуться. Хотя бы потому, что угадать несложно, а спорить нет смысла и уже скучно. Лучше я напоследок вот что сделаю, вот как к ним обращусь:

— Господа товарищи! Давайте-ка, для устранения всех неясностей, договоримся так: вот вы все, борцы за свободу слова и всего остального, возьмите-ка и скажите прямо и громко: да, мол, для свободного человека никаких таких «запретов» — то есть ничего

святого — нет, все это тоталитарные выдумки; на самом деле все, что фактически возможно и удобно, — можно и позволено, и такое положение нормально; ибо Единой Истины, священной и обязательной для всех, не существует в природе: каждый волен по своему вкусу определять, что можно, а что нельзя, что истина, а что нет: сколько свободных особей, столько и истин, — и это тоже нормально, это предполагает «альтернативную нравственность» и называется свободой.

Скажите так, скажите громко и от чистого сердца, веруя в это; убедите меня в том, что вы в сердце своем прочно утвердили закон джунглей, убили свободу и уничтожили человека как образ и подобие Божье, — и я умолкну, увидев, что был неправ и что вы победили.

Но вы ведь так не скажете. Никогда. И не потому, что постесняетесь (вы даже подумать такое всерьез побоитесь), — а потому, что невольно, интуитивно, сердцем, наперекор и назло собственным «взглядам» чувствуете запрет так сказать и подумать всерьез. И так же интуитивно чувствуете священную природу этого запрета хулы на Святого Духа, той самой, которая «не простится ни в сем веке, ни в будущем»; и тут все ваши «взгляды» бессильны. Потому что мы с вами, братья мои дорогие, — люди, сотворенные по образу и подобию Божию, и что душа человеческая по природе христианка.

Можно забыть головой (и это происходит), но нельзя не знать сердцем, что культура жива, пока живы ее сакральные основания, опирающиеся на заповеди и порождающие запреты; что культура собственно и есть — как сказал тоталитарный мыслитель Клод Леви-Стросс — система табу: именно благодаря этому культура и есть то, что помогает человеку в этом мире, который во зле лежит, не до конца забыть о своем высоком происхождении, а иногда — приблизиться к возможности постигнуть и свое предназначение.

Иначе культура превращается в цивилизацию, а свобода — в рабство у нее, ведущее к разрушению человека.

Появились учителя, они учат нас этой свободе разрушения. Но я думаю, что в России это не пройдет. Не такая — при всей порче — наша порода. Так долго продолжаться не может, однажды настанет момент, когда Бог, по милосердию Своему, даст нам с вами увидеть ясно, в какую бездну позора и унижения уставились мы зачарованным взглядом, — и мы с вами задохнемся и взреем от ужаса и стыда, и все уродливое и мерзкое извергнем и изблужем, все вспомним и все поймем и снова станем самими собою. Не могу не верить, что в России так будет, рано или поздно. Слишком уж многое в судьбах мира от этого зависит.

Вот только детей жалко.

Тамара Грум - Гржимайло

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА

Есть в западной части Парижа фешенебельная зона с загадочным названием Трокадеро. Так назывался испанский форт, которым когда-то, в какой-то далекой войне, овладели французы. И так случилось, что именно в эту заповедную аристократическую зону я попала в первый же день своего пребывания в столице Франции.

Светило ослепительное сентябрьское солнце. Мы шли от здания ЮНЕСКО к Марсову полю, к фантастической, неправдоподобно огромной Эйфелевой башне, нависшей над Сеной и окрестностями. Где-то здесь, в зеленой благодати полей и садов, я впервые и услышала это гордое слово-название «Трокадеро». Оно «продолжалось» и за Сеной, переходя на ее правый берег, через парковую зону холма Шайо и дальше, к площади и метро «Трокадеро», откуда начинается авеню Georges Mandel. Именно так, по-французски, латиницей, записал его мне, сообщая свой адрес, Мстислав Ростропович. И сопроводил словами:

— Будешь осенью в Париже, заходи обязательно.

Дело было в феврале 1990-го, в дни первых гастролей великого музыканта на Родине — в Москве и Ленинграде, после шестнадцатилетней разлуки. Вы, может быть, помните тот зимний московский день, когда, казалось, вся столица устремилась в аэропорт Шереметьево. Там, среди пасмурной февральской мглы, во вспышках бесчисленных кино- теле- фотокамер словно плыли посреди ликующего потока людей ошеломленный и счастливый музыкант и его царственная супруга. И была какая-то удивительная внутренняя связь, почувствованная тогда многими, между этим всенародным торжеством в день возвращения Мстислава Ростроповича и Галины

Тамара
ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО

— окончила Московскую консерваторию и аспирантуру Института имени Гнесиных. Автор девяти книг и многих статей по вопросам литературы, искусства, музыки, театра.

Вишневской — и недавним нескончаемым потоком всенародной скорби в день похорон Андрея Сахарова, как ни контрастны эти события. Да что-то и в самом взгляде поседевшего маэстро как будто напоминало о недавно ушедшем академике, и Ростроповичу сказали об этом сходстве. Так или иначе, но, оказавшись перед московскими и иностранными журналистами, он произнес особый монолог:

— Я не политик. Но я восхищен нашим другом и человеком — академиком Сахаровым. То, о чем он говорил, было всегда близко нашим убеждениям. Он погиб, отдав без остатка всю жизнь и совесть своему народу, подав величайший пример, которому невозможно даже последовать, настолько он был альтруистичен. Я думаю, Сахаров был святой...

Священную могилу Сахарова, как и могилы других великих русских людей, гениев музыки — Шостаковича, Прокофьева, Ойстраха, — чета Ростропович посетила в первые же часы пребывания на московской земле.

А потом была долгая, бурная встреча в пресс-центре МИД СССР, где все тот же, такой знакомый, по-прежнему неистовый Ростропович словно не говорил, а исповедовался горячо и безудержно, являя разительный контраст со своей сдержанной супругой, сохранявшей величественную осанку примадонны Большого и всех мировых театров. Бездна ума, доброты и любви светилась в глазах маэстро, в замечательной, неподражаемо-асимметричной его улыбке; поток вдохновения, неистощимой житнетворной энергии источник все его подвижное лицо, поражавшее то сплошным, словно уходящим в беспредельность лбом Сократа, то выдающимся огромным подбородком Рихарда Вагнера... Александр Солженицын однажды сказал о Ростроповиче: «В нем жизни и красок на десятилетия».

— Шестнадцать лет мы жили на Западе, — говорил он. — Шестнадцать лет — это огромный срок. И все шестнадцать лет мы были истинными солдатами русского искусства. Потому что за шестнадцать лет мы так и не разучились страдать за свой народ... Хотя мы знали: коль нас лишили гражданства — это до самой смерти, навсегда. И я думал невольно: вот кости Шалаяпина перевезли на родину через тридцать четыре года. Может, через полстолетия и мою какую-нибудь косточку довезут до родной земли?... Нет-нет, я не сравниваю себя с гением русской земли Шалаяпиным. Но понимаете, мы думали, что возвращение невозможно ни при жизни, ни после жизни...

Эти «шестнадцать лет» уже не вытравимы, видимо, из его сознания. Недаром даже в шутку, в ночном купе поезда Москва — Ленинград (ныне Санкт-Петербург!), на мимолетный вопрос какого-то тележурналиста: «Что вас может травмировать?» — он горестно-саркастически ответил: «Жизнь! Но не дольше, чем на шестнадцать лет!»

И все же он казался в те дни счастливым, веселым и окрыленным, это невероятно динамичный, скрывающий огромную усталость человек. Мировая слава, почести и богатство не исказили его лучших человеческих черт. Напротив — выявили черты христианского воспитания, глубокую внутреннюю религиозность, о которой раньше

мы и не подозревали. Не случайной поэтому кажется его неожиданная и страстная увлеченность творчеством московского композитора Вячеслава Артемова, занятого поисками Светлого Мира, близости к Богу в своей грандиозной тетралогии — «Симфонии пути». Две из этих четырех симфоний были заказаны Артемову Мстиславом Ростроповичем и посвящены Вашингтонскому симфоническому оркестру. Примечательная подробность: когда Артемов был проездом в Вашингтоне, Мстислав Леопольдович назначил ему встречу на... шесть утра, чтобы повидаться и успеть послушать записи музыки композитора. А ведь тогда они были знакомы только заочно...

Внимательный слушатель бесед и монологов Ростроповича в памятные февральские дни 90-го не мог не уловить их главный мотив — мечту объединить, слить воедино в своем искусстве и жизни разные культуры, разные народы, старых и новых друзей.

— Мы познали дружбу людей на Западе, — говорил Ростропович, — и для меня было бы такой радостью, если бы наши новые друзья и те, что есть еще здесь, — если бы эти две семьи смогли объединиться в искусстве, во взаимопонимании. Там мы чувствуем себя посланцами русской культуры. Здесь — посланцами культуры Запада. И мне кажется, мы аккумулировали добро и там, и здесь...

Затем последовал удивительный рассказ о «концертировании» у Берлинской стены, который я запомнила почти дословно:

— Едва я увидел, как ломают эту проклятую стену, я сказал Антуану, своему другу, у которого есть самолет: «Завтра я должен быть в Берлине». Схватил виолончель, и мы полетели. Я не хотел рекламы. Просто непременно хотелось поиграть Баха у рассыпавшейся стены. Я играл и смотрел на вдохновенные лица молодых немцев. Многие плакали от счастья. И я не мог сдержаться. Ведь эта стена стояла между двумя мирами моих друзей.

Вот так: схватил виолончель и полетел. Мы знаем теперь этот страстный почерк Ростроповича-гражданина и, добавим, христианина. Так, схватив виолончель, он прилетел всего на несколько часов в Москву, чтобы играть Чайковского и Баха перед участниками конгресса памяти Сахарова. Прилетел, нарушив все планы, сотворив почти невозможное — «только ради Андрея Дмитриевича». Так прилетел он 20 августа 1991-го, в час новой трагедии, нависшей над Россией, — прилетел, едва увидев на телеэкранах «эти рожи» путчистов, свершивших антиконституционный переворот «трясущимися руками».

Один из иностранных корреспондентов спросил его: «Этот приезд в Россию похож на тот ваш приезд в объединяющуюся Германию?»

Конечно, аналогия напрашивалась не случайно. Но Ростропович ответил:

— Нет, знаете, здесь есть огромная разница. Одно так не похоже на другое. К Берлинской стене я приехал играть Баха как молитву в благодарность Богу за то, что он разрушил эту стену, которая словно делила мое сердце на две половины. А в Москву я ехал без виолончели, чтобы встать в «цепь» вокруг «Белого дома» и своим присутствием показать: все честные люди мира в этот момент здесь. Не

могу сказать, что я хотел быть раздавленным, но я... был к этому готов. Когда летел сюда, думал, что в общем-то в своем родном доме и последний день красен...

Это были минуты удивительных откровений, за которыми следила вся Россия и весь мир. И именно тогда Ростропович сказал в микрофон корреспондента ленинградского «Пятого колеса»:

— Я никогда еще не был так вдохновлен нашим будущим, как в эти последние две ночи... Я хочу сказать вам, что сегодняшняя победа в Москве, которая уже в общем ясна,— это победа всего свободного человечества.

Так мог сказать только истинно совестливый и истинно свободный человек, сознающий свой извечный долг и ответственность перед Богом и людьми.

Впрочем, тогда, в феврале 90-го, в дни первых гастролей Мстислава Ростроповича в Москве, едва ли многие это в нем улавливали и понимали. Слишком уж лучезарной, победительной выделялась личность и творческая судьба прославленного маэстро, слишком высок и недостижим для земных бурь и людской суеты казался его Олимп. Но в память тех, кто умел не только слушать, но слышать и размышлять над услышанным, не могли не запасть иные фразы, проливающие свет на нравственные принципы маэстро, на сокровенные мотивы иных его спонтанных как будто бы действий и поступков.

— Совесть — самая удивительная сила,— сказал однажды Ростропович, как бы размышляя вслух.— Может быть, она и есть часть той тайны, которая остается внутренним вулканом художника...

Итак, я иду по авеню Georges Mandel к дому Ростроповича, хотя знаю, что его там нет. Он нынче редко выступает в Париже — так распределились его музыкальные интересы на ближайшее время. Он даже рассказывал, что парижские власти в обиду на него — так редко дарит он их своим искусством, все никак не найдет времени, чтобы поработать с оркестрами Франции. Впрочем, Жак Ширак, влюбленный в русское искусство, его ближайший друг...

Парижский дом — главный душевный приют Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской. Здесь собраны духовные реликвии их скитальческой эмигрантской жизни. В Париже живет их младшая дочь и четверо внуков. Именно в парижской «Гранд опера», покидая сцену, пела свой прощальный спектакль «Евгений Онегин» Чайковского блистательная русская певица и актриса Вишневская. Это было в октябре 1982 года. Теперь Галина Павловна преподает, ставит оперные спектакли, делает записи дисков, пишет книги. Ее мемуары «Галина. История жизни» вышли в шестнадцати странах, а в 1991 году — двумя изданиями в Москве.

В сентябре Париж не обретает еще сжатых ритмов деловой жизни. Его оперные и концертные залы пустуют и молчат в ожидании начала сезона. Но несколько афиш уже гласят о приближающейся великолепной светской жизни. Одна из них заставила меня сегодня замереть на месте: 14 октября 1990 года обещают «уникаль-

ный концерт Национального симфонического оркестра Вашингтона под управлением Мстислава Ростроповича в Salle Pleyel». В программе — Чайковский.

Боже мой, почему так несправедлива судьба: именно 14 октября, в шестнадцать часов с минутами я должна покинуть Париж. Удастся ли, по крайней мере, хотя бы увидеть маэстро? Сегодня по телефону из его парижской квартиры мне ответили, что вряд ли он прилетит в ближайшее время, а если и прилетит — на один-два дня, не более...

Я стояла у афиши едва не плача. Ростропович и Чайковский — это зона особых воспоминаний и ощущений, зона триумфального и одновременно глубоко трагического для маэстро. С «Евгения Онегина» Чайковского в Большом театре начиналась его блестящая карьера оперного дирижера. Капитальная пьеса для виолончели и симфонического оркестра «Вариации на тему рококо» Чайковского стала вечным спутником его исполнительского гения. А Шестая симфония, с ее великим скорбным финалом-реквиемом, стала «лебединой песней» Ростроповича-дирижера в дни прощания его с Родиной и Москвой в мае 1974-го. В том «брежневском» 74-м, когда в феврале был выдворен из страны писатель Александр Солженицын, его другу и защитнику Мстиславу Ростроповичу не давали дирижировать ни оркестром Большого театра, ни оркестром оперетты — вообще никаким оркестром. Шестую симфонию Чайковского, свою «прощальную» симфонию, он подготовил со студентами Московской консерватории. Но как играли тогда эти студенты! А шестнадцать лет спустя вернувшийся в Москву Ростропович в программу первого же своего симфонического концерта в Большом зале консерватории включил ту же Шестую симфонию Чайковского, на сей раз в исполнении американского оркестра. Он хотел «начать» с того, чем «кончил» шестнадцать лет назад, с той ноты, на которой его прервали злые силы. Он понимал, что в России жадуют услышать и узнать того, «своего» Ростроповича. Не подкачают ли американцы?

Я хорошо помню все перипетии того концерта. Как все волновались за Ростроповича, как боялись «не признать», разочароваться в нем!.. Шутка ли — столько лет музыкант не дышал воздухом России, не ступал по ее многострадальной земле, купался в западных почестях и славе. Конечно, все знали, как много дирижировал русской музыкой Ростропович в годы своих скитаний на Западе, как упорно учил своих американских коллег-оркестрантов играть Чайковского, Мусоргского, Прокофьева, Шостаковича. Однако сумеет ли он выдержать высокую ноту симфонической трагедии Чайковского теперь, в момент всепоглощающего московского ликования и радости? Ведь сама атмосфера ВОЗВРАЩЕНИЯ сопротивлялась глубокой скорби.

И ведь не зря волновались. Да, вступил оркестр и сразу захватил слух красотой и чистотой «тона», безупречностью коллективного слуха и вкуса. Вот оно, знаменитое «вibrато» Ростроповича, составлявшее тайну его виолончельной экспрессии и теперь приживленное к почерку струнной группы! Но все же чего-то не хватает... Кажется, недостает неземной полетности в щемяще-нежной, мечтательной

ре-мажорной теме первой части симфонии. Вот и темп каверзного пятидольного вальса второй части (этого «крепкого орешка» для любого западного оркестра!) как будто быстроват и делает его больше похожим на марш. И страдальческая музыка финала, гениального *Adagio lamentoso* — вовсе как бы и не реквием, не плачь над могилами, а живая драма земных страстей и борений человечества, никак не ориентированная на «уход» героев... И вот уже мы, слушатели Ростроповича и его американского оркестра, готовы, кажется, признать, что центр концепции интерпретаторов останется за третьей частью — воинственным, азартно сыгранным скерцо-маршем, величественным шествием, символизирующим торжество человеческой воли и энергии.

И вдруг...

Это «вдруг» мгновенно сдвинуло нас всех в сферу каких-то совершенно неведомых и неожиданных духовных прозрений. Почти в самом конце звучания шестой симфонии Чайковского будто что-то космическое, пронзительно-отрешенное снизошло в оркестр и рукой дирижера открыло новое измерение, новое надбытийное чувствование Чайковского. И увело, увлекло всех нас — и музыкантов и слушателей — в таинственные и прекрасные миры, где еще не жила душа и память человека и где, глубоко сокрытая, сияет тайна бытия...

Это дирижировал гений.

Хочу на концерт Ростроповича! Хочу видеть и слышать этого человека в Париже!

Но время идет, и надежда иссякает. Я все прихожу и прихожу к дому Ростроповича, на авеню Georges Mandel. Просто так — гулять и мечтать. Иногда захожу в гости к Ольге Александровне Давыдовой-Дакс, дочери Александра Васильевича Давыдова, правнука декабриста. Ее квартира на этой же улице, напротив дома Ростроповича и Вишневской. Она их добрая знакомая, по-своему интересный человек, русскоязычная француженка, сумевшая издать на разных языках (в том числе и на русском) ценнейшие «Воспоминания» своего отца.

Но чаще я гуляю вдоль бульвара, между метро «Рю де ля Помп» и «Трокадеро», отдыхаю в аллеях парка или на лавочке против заветного дома. К вечеру здесь особенно хорошо. И снова и снова возникает в памяти фигура Славы Ростроповича.

Смолоду нес он в себе страстную силу какой-то особенной, редкой на Руси внутренней независимости, полетности духа, заражая буквально всех окружающих влюбленностью в жизнь, музыку, виолончель, которую он превратил в фаворитнейший концертный инструмент XX века. В 60-е годы, когда мы встречались по разным поводам, жизнь этого удивительного человека, тогда уже профессора Московской консерватории, лауреата всевозможных исполнительских и Государственных премий, была ключом. Все, к чему ни прикасался в музыке, педагогике, в организационной деятельности кипучий темперамент Ростроповича, — все становилось уникальным явлением. Его московская виолончельная школа. Его виолончельные конкурсы в рамках Международного конкурса имени Чайков-

ского. Его сотворческая, соавторская, можно сказать, работа с лучшими композиторами России и Запада. Его музицирование в ансамблях, где он — то у рояля, то вновь с виолончелью. Его блестящие спектакли в Большом... Все лучшее в московском музыкальном мире словно устремлялось ему тогда навстречу. Не случайно в 1966 году Дмитрий Дмитриевич Шостакович встречал свое 60-летие премьерой Второго концерта для виолончели, созданного под большим влиянием личности Ростроповича и ему посвященного.

В дни подготовки этой памятной премьеры, а точнее, 6 сентября 1966 года мы и встретились с Ростроповичем для беседы о творчестве юбиляра «ДэДэ». По случайности день этот совпал с моим собственным днем рождения и, как выяснилось, с днем рождения дирижера Евгения Светланова, который и зашел отметить такое торжественное событие к чете Ростропович...

Дверь открыла Галина Павловна, ослепительная в своем длинном светлом одеянии, и сразу повела в просторный холл, точнее — в полузал-полугостиную, где справа на небольшом подиуме стоял рояль, а слева, в глубине, у сияющего бара размещался невысокий столик, тесно уставленный яствами и бокалами. Среди гостей я узнала дирижера Светланова и пианиста-концертмейстера Дедюхина. На стене бросался в глаза лишь один портрет — Дмитрия Шостаковича. Помню, сразу подумалось, что в дни такой поглощенности музыкой Шостаковича виолончелист не может, конечно, всерьез думать и говорить ни о ком другом.

О каком интервью, однако, могла идти речь? В доме царил застольный шум, озорное возбуждение. Мне было категорически заявлено: «Тебе надо нас догонять». И душа моя бедная замирала от отчаяния...

Но, как ни странно, беседа наша все-таки состоялась. И какая!... Когда все гости наконец разошлись и в доме стихло, верхний свет люстр был погашен, и мы расположились в глубоких креслах напротив еще светившегося бара — памятника пиршеству и веселью. Никогда не забуду, как воспламенялась стремительная мысль моего собеседника, как точно и откровенно анализировал он интеллектуальный облик своего любимого композитора...

— Мне всегда казалось, что Шостакович знает о человеке все. С детства я пугался его эрудиции... Огромные жернова его интеллекта перемалывают все, что попадет в поле зрения. Его необъятный «аппетит» и «усвояемость» — признаки крепкого творческого здоровья. Если взять лишь одни литературные его обращения — это Шекспир, Бернс, Пушкин, а рядом — молодой Долматовский и давний Саша Черный, Евгений Евтушенко и тексты «Крокодила». Контрасты? Да, он идет широким фронтом. Спектр его восприятия громаден...

Мы работали в режиме предельной собранности и интенсивности. Ведь назавтра, к утру, статью-интервью нужно было сдать в редакцию. И она была сдана!.. В канун юбилея Шостаковича материал напечатала «Литературная Россия», а через «Вестник

АПН» он был перепечатан еще сорока четырьмя газетами Советского Союза.

А потом был прекрасный концерт в Большом зале Московской консерватории в честь 60-летия Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Юбиляр, как обычно, сидел в шестом ряду партера, поблескивая напряженно очками, нервно меняя положение рук. И, как всегда, казалось: все токи сотворческой биоэнергии, излучаемые исполнителями и слушателями, пересекались в самом Шостаковиче. Но когда на эстраде Ростропович начал играть новый концерт для виолончели, эти биотоки удесятерились. Звучала новая, неслыханная по образной стихии музыка, огромный концерт-симфония, бросающий вызов «оптимизированным» концепциям советского симфонического официоза. Как впоследствии стало ясно, этот сложный, отнюдь не юбилейный по духу концерт začínал своего рода скорбный ряд высоких прощальных творений Мастера, с их по-новому «тихими», запредельными финалами, где композитор вступал в исповедальный диалог с вечностью. Нужно было слышать, как «пел» смычок Мстислава Ростроповича!..

Я вспоминала его вещие слова тогдашнего интервью: «Шостакович наделяет виолончель качеством невиолончельной силы. Играя эту музыку, я впервые чувствую себя на музыкальном уровне дирижера... А я ведь всегда завидовал дирижерам! Я всегда мечтал о виолончели со ста струнами!»

Дружба двух великих музыкантов — апофеоз их музыкального творчества, расцветшего в годы хрущевской «оттепели» и деятельности «шестидесятников»... Быть может, это оно, творческое подвижничество «шестидесятников» и предохранило тогда от разрушения духовный генофонд нации?..

Но приходили на память и иные времена, другой Ростропович. Униженный и затравленный брежневской партократией, Ростропович начала 70-х годов, уже отославший свое знаменитое «Открытое письмо» в защиту Александра Солженицына редакторам четырех центральных газет. День ото дня сжимался круг жизнедеятельного пространства вокруг него; перед ним закрывались всяческие двери, исчезали афиши с его именем, отменялись записи, концерты и спектакли. Великий музыкант стал не только «не выездным», но и не рекомендуемым для ангажирования в собственном отечестве. Прессе, еще недавно расточавшей дифирамбы маэстро, велено было молчать, будто нет и не было никогда такого музыканта.

Особенно врезался мне в память один эпизод, связанный с приездом в Москву в апреле 1971 года замечательного английского композитора Бенджамина Бриттена и Лондонского симфонического оркестра. То были беспрецедентные по атмосфере и художественному значению дни английской музыки в России. В концертах, задуманных как праздник единения двух культур, по личной просьбе Бриттена, приняли участие два великих музыканта — Святослав Рихтер и Мстислав Ростропович. И что же? Произошло нечто кошунственное и неприличное на виду у почетных гостей из Великобритании: ни единым словом не обмолвилась центральная и

столичная пресса об участии виолончелиста Мстислава Ростроповича в этих концертах, тогда как имя Святослава Рихтера распечатали все газеты. Даже смелая и относительно независимая «Комсомольская правда», печатавшая мою статью «Лондонские виртуозы», в последний момент вырубил целый абзац, посвященный Ростроповичу, — без всякого, разумеется, согласования с автором. Но цензоры проглядели фразу, сообщавшую буквально следующее: «Когда Бриттена поздравляли с успехом его концерта, он возражал: «О, что вы! Он был бы невозможен, если бы не участие **ВЕЛИКИХ РУССКИХ МУЗЫКАНТОВ!**»

О, это уличающее множественное число! С его утешительным юмором, скрасившим цензорскую редактуру моего опуса в «Комсомольской правде», я и кинулась к Ростроповичу на улицу Огарева, тем более, что у меня был и еще один сюрприз для него — другая моя статья «Музыка страны Шекспира», опубликованная в «Вестнике АПН» тем же числом, где был полностью сохранен текст об исполнении Ростроповичем бриттеновской Симфонии для виолончели. Как же! Перед зарубежными читателями нужно было сохранить достойный вид!..

Я не ошиблась, предвидя реакцию артиста. Едва ознакомившись с маневрами вокруг его персоны в прессе великих мира сего, Ростропович, сидевший в своем живописном бордовом халате за чайным столом, начал дико хохотать, но помню, как быстро он погрузился. И сразу заговорил совсем о другом. О том, в частности, как нуждается Солженицын, как живет он со всей семьей на один рубль в день и отказывается принимать от них с Галей какую-либо материальную помощь. Но как же хорошо, что Саня все-таки вырвался из своего дачного заточения и побывал на его концерте с Бенджамином Бриттеном, в Большом зале...

...Сияли миллиардами вечерних звездных огней парк и фонтаны Трокадеро. Казалось, сам город настроен на чудо. Скрипач Гидон Кремер как-то сказал мне: «Париж — это город, где все возможно». Так неужто не станет возможным чудо встречи в Париже со Славой Ростроповичем?..

Сегодня Галина Вишневская, неожиданно появившаяся в Париже раньше мужа, сказала мне: «Он прилетает послезавтра и будет в Париже только один день. Но вы же знаете, что такое Ростропович? Это — сумасшедший дом! Звонить почти бесполезно...» И безнадежно пожала плечами. Повеяло какой-то грустной усталостью от этой мужественной и дерзкой женщины, пожертвовавшей своей блестящей и, в общем-то, неповторимой карьерой в Большом театре ради гениальных безумств своего гениального мужа. Но какой гармоничной и благословенной оказалась эта полная творческого напряжения жизнь двух столь непохожих, казалось бы, друг на друга людей!.. Ростропович и Вишневская смогли создать в чужих странах свой особый мир загадочной русской красоты, щедрости таланта и фантазии, духа истинно русской величавости и подвижнической неприкаянности. Все это сразу бросается в глаза, едва ты впервые вступаешь в парижский дом знаменитой четы и с каким-то невыра-

зимо щемящим чувством погружаешься в это сказочное изобилие собранного здесь поистине музейного декора — будь то подлинники картин Венецианова, Боровиковского, Брюллова, Репина, подсвеченные специальными театральными софитами, русские иконы и огромный, во всю стену, портрет императора Николая II — или целый расписной хоровод всяких самоваров, чайников, посуды, керамики, фарфоровых статуэток, удивительных предметов русского быта. Или этот огромный мраморный стол с рисунком тройки «а ля рюс» (под Палех!), сделанный в Италии!

Да, здесь искали и создавали «русский дух» с истовостью страстных московских людей, потерявших Родину и не надеявшихся больше никогда ее увидеть. В этом русском собирательстве Ростроповича проступало что-то поистине трагически-шалаяпинское, проступала шалаяпинская скорбная мысль о том, что смерть может наступить раньше, чем Родина вспомнит о потерянном художнике и спохватится, чтобы вернуть хотя бы его останки...

Я смотрела на все это великолепие так, как смотрят первый и последний раз, потому что не было никакой надежды вернуться сюда, когда прилетит Слава, особенно после категорически-безнадежных пророчеств Галины.

Но случилось чудо — неожиданное, как все чудеса, даже если они случаются в Париже: Господь ли помог, мое ли кратенькое письмо к Ростроповичу и оставленный для него журнал с моей статьей о Шостаковиче и о той памятной премьере Второго концерта для виолончели, только наутро, едва я позвонила, Ростропович сам взял трубку и с ходу назначил мне свидание после шести вечера, сопроводив это стремительным перечислением своих непременно нужных и неотложных дел в Париже. «А утром я улетаю в Лондон», — закончил он.

— Слава, милый, так, может, я некстати и у тебя не хватит времени?

— Нет-нет, приходи обязательно. Дорогу ты ведь уже знаешь.

Еще бы! Скромное тихое метро со звучным, как выстрел, названием «Ля Помп». И в двухстах шагах от метро — светлый, уютный дом за палисадником, куда можно проникнуть, лишь зная «код».

Створки лифта мягко раздвигаются. Подхожу к необъятной двери его квартиры. Звоню. Слышу его голос оттуда, из апартаментов: «Я сам открою. Это Тамара». И вот сияющий, помолодевший, элегантно подстриженный, он открывает дверь. И я ему тут же, с порога:

— Откуда ты знаешь, что это я?..

— А потому что больше никого не жду!..

Мы расцеловались.

— Подожди меня немного, я должен отвлечься минуты на три, чтобы проводить принцессу Люксембургскую, — сказал он почти шепотом и завел меня в ту самую музейную комнату с мраморным столом и тройкой «а ля рюс», откуда мне позавчера так не хотелось уходить. Теперь у меня было целых три минуты времени, чтобы вновь погрузиться в «театр» удивительной этой коллекции. А Слава, точно

читая мои мысли, уже бегал по комнате, зажигая многочисленные театральные софиты под потолком, бросающие перекрестные пучки света на картины, и всякие подсветки к «горкам» с посудой и фарфоровыми изделиями искусства.

— Рассматривай тут все, что нравится...

Потом, после ухода принцессы, почти целый час мы сидели в той самой комнате, и мой диктофон стоял между нами на том самом мраморном столе, и разговор продолжался и продолжался, несмотря на телефонные звонки и вторжения Галины, напоминавшей о чем-то неотложном. В нем kloкотало истинно русское совестливое чувство времени. И я видела, как оно терзало его душу, стремящуюся объять всю музыкальную вселенную, честно исполнить свой долг, «завещанный от Бога». Сегодня он в Париже, завтра в Лондоне, затем огромные гастроли по Европе: Брюссель, Страсбург, Цюрих, Бонн, Кельн, Дюссельдорф, Ханновер, города Норвегии, Финляндии, наконец — Вашингтон, две недели больших концертов в США и снова Париж, где в четвертый раз он будет возглавлять жюри конкурса виолончелистов. До 250 концертов в год, из которых 30 — благотворительные. И кроме того — организация больших фестивалей, постановка опер, записи классического и современного репертуара: всех симфоний Прокофьева, всех симфоний Шостаковича и еще обязательно всех сольных сюит Баха («Пока я еще технически чувствую себя крепко на виолончели»). А теперь вот еще немного и педагогики...

— Почему теперь и немного? Неужели здесь, на Западе, у тебя нет учеников?

— Да, представь, у меня не было здесь никаких учеников, никаких. Только одной восемнадцатилетней американке — ее зовут Венди Уорнер — я преподаю вот уже три года. После Жаклин Дюпре я не помню молодого таланта такого калибра. Она придет на мой конкурс...

— От кого зависит такой напряженный ритм твоей жизни?

— От меня. Только от меня. Я не могу отказаться ни от чего, что меня страшно интересует. У меня нет пустяковых концертов. Либо я выучиваю что-нибудь новое, очень важное для себя; либо я делаю оперные спектакли, как, например, новую оперу Альфреда Шнитке в театре Амстердама, — как я могу от этого отказаться? Это меня страшно интересует. Вот Галя поставила «Царскую невесту» в Монако, а я дирижировал. Потом мы сделали это в Риме, в Вашингтоне... Или вот только что в Вашингтоне, в Кеннеди-центре, я дирижировал советской премьерой: мы открывали концертный сезон Вячеслава Артемова «На пороге светлого мира». Эта музыка вызвала очень большой, я бы сказал — огромный интерес. Невероятный интерес и споры...

И он ринулся рассказывать о своих новых связях с русскими композиторами, прорвавшими зону молчания и отторжения, образовавшуюся вокруг артиста за шестнадцать лет его изгнания.

— Кто же разбил первый лед? — спросила я.

— Родион Щедрин. Без всякого заказа, от души, он написал свое оркестровое сочинение «Стихира» и отдал мне, когда это было еще очень трудно сделать. Теперь у нас с ним есть серьезные оперные замыслы, которые мы обязательно осуществим.

Он увлекся и был поразительно щедр и добр в этой беседе, просто чудо какое-то! Прекрасно, влюбленно говорил о композиторах — русских и советских, ушедших и здравствующих, о своих американских друзьях-музыкантах. Тепло отзывался о «семье своей музыкальной» — оркестрантах «Национальной симфонии» Вашингтона, которой руководит четырнадцать лет.

— Но, как известно, даже у самых великих дирижеров через определенный период времени возникают сложные отношения с оркестром,— заметила я.— Так было у Караяна, у Тосканини...

— Видишь ли, я никогда не смотрел эгоистически на мою работу с оркестром. Убежден: когда я почувствую, что у меня не хватает физических сил или что я уже не могу дать этому коллективу нечто новое, я сам уйду из оркестра, займусь другой деятельностью. Например, буду писать книгу о своей жизни. Но я должен сказать, что сейчас Вашингтонский оркестр играет лучше, чем даже год назад в Москве и Ленинграде...

— Неужели?

— Произошла вот какая интересная история. Восемь ведущих артистов моего оркестра умоляли меня, говорили: мы понимаем, нам пора покинуть оркестр, но оставь нас до поездки в Россию, потом мы честно уйдем... А надо тебе сказать, в Америке очень трудно «выгнать» из оркестра. Почти невозможно. Сейчас же профсоюз начинает заступаться, затевает процесс... А мои восемь артистов сказали: «Мы сами уйдем, но после твоих концертов в России». И я согласился. И они дали со мной концерты в России и после этого честно ушли. Просто они считали это кульминацией, что ли, жизни со мной.

— Они хотели увидеть твою встречу с Родиной, твой триумф?

— Да, наверное. Потому что, надеюсь, они меня любили. Это как-то очень по-человечески. Ведь я их учил играть русскую музыку, учил играть Прокофьева и Шостаковича. И они, конечно, хотели именно в России показать, как они это делают... Теперь у меня на их местах — новые блистательные музыканты, и оркестр стал еще лучше, он по-другому звучит. И теперь я опять мечтаю приехать с ними в Россию и показать, как они играют. Потрясающий оркестр! Ведь за 14 лет моей работы с ними из 103 музыкантов я сменил 49. Так что пол-оркестра практически выбрано мною. У меня были конкурсы в оркестр, когда на одно место претендовали 200 человек. В новом составе мы и начали сезон. Как они играли Симфонию Артемова! Это очень сложное сочинение. Как они собрались! Я сам был удивлен. Блестяще!..

Много раз звонил телефон. Ростропович подбегал в дальний угол комнаты к телефону и в темпе *prestissimo* выпаливал: «Очень рад. Обнимаю тебя. Целую. Сейчас убегаю... А завтра улетаю...» И снова усаживался и продолжал. И вдруг как-то очень незаметно наш

разговор соскользнул на политическую тему. Какой русский интеллигент нынче минует политику? Что касается Ростроповича, то, кажется, весь мир теперь знает, как включен он в политику!

Горячо и запальчиво он говорил мне:

— Сегодня ночью читал в «Известиях» материалы о встрече Горбачева с деятелями культуры. Чуть поздновато, мне кажется, он встречается с людьми искусства. Но лучше поздно, чем никогда, естественно. Я помню один случай, когда меня спросили в Белом доме, еще во время президентства Рейгана, чем отличается политика в области искусства и идеологии в Соединенных Штатах от такой же политики в Советском Союзе. Я встал и в присутствии Рейгана сказал: «Ну, чем отличается? Возьмем, например, Шостаковича и Прокофьева, наших великих композиторов. Кто их «учил» сочинять музыку? Товарищ Жданов учил сочинять музыку. Товарищ Сталин давал мудрые советы, как надо сочинять музыку... А здесь вот сидит президент Рейган, и он не учит меня музыке. Он меня спрашивает: что вы думаете об этом произведении?... Словом, в музыке я его учу. Этим и отличается одна политика от другой...»

В комнату заглянула Галина, вся — готовность и нетерпение...

— Сейчас, сейчас, еще две минуты! — замахал Слава руками и продолжал: — Должен сказать, если бы кто-нибудь из политических деятелей стал меня поучать во время такой встречи, я бы встал и ушел. Так вот. Это — правильный тон, когда Горбачев спрашивает: что можете посоветовать? Что вам нужно? А ведь прежде всего что нужно? Деньги нужны! Искусство без денег не существует. А если искусства не будет, то все мы должны будем снова влезать на деревья и рвать бананы и отращивать длинные хвосты...

— Слава, наконец самый важный вопрос: собираешься ли ты когда-нибудь посетить родные края?

— Господи, ну конечно! Родина — есть Родина! Но все не так просто. Ведь символическое возвращение мне советского гражданства было очень неожиданным, и я не был готов к тому, что могу быть принят при жизни как соотечественник своими. Я думал, если я приеду с Национальным оркестром США в Советский Союз, со мной опять побоятся разговаривать, встречаться, потому что я — как «прокаженный». Но случилось непредвиденное и радостное. А я был к этому не готов, и, к сожалению, все мое ближайшее время уже расписано по контрактам, вплоть до 92-го года. А вот в 93-м я планирую сделать посильный вклад в музыкальную жизнь России. Я стараюсь этот год, по мере возможности, освободить. Много откладываю. Правда, есть такие вещи, которые в 93-м я отложить не смогу, например, фестиваль в честь восьмидесятилетия Бенджамина Бриттена в Лондоне, он будет длиться почти полтора месяца. Такой же, впрочем, будет и фестиваль к 100-летию Прокофьева, который я тоже организую в Лондоне...

— Я очень счастлива, что нам удалось поговорить. И надеюсь, не в последний раз. До встречи в России!..

— До встречи. Будем планировать 1993 год. Е. б. ж., то есть «Если будем живы», как говорил Лев Толстой.

Но он приехал гораздо раньше. Без оркестра, без виолончели, без визы, оставив завещательные письма своим родным. Привел дела в порядок за одну ночь «на случай, если с ним что-нибудь случится». Он прилетел к своему народу в трагические дни августовского путча 1991 года, когда Москва глохла от грохота танков и «бэтээров» и тысячи людей стояли в живой цепи у баррикад «Белого дома», готовые защитить свободу России. Ростропович хотел встать в живую цепь рядом со своими соотечественниками и был готов умереть вместе с ними, если потребуется, поскольку был убежден, что «в мире стало бы куда меньше войн и конфликтов, если б деятели культуры с мировым именем, подобно войскам ООН, пытались их предотвратить лично».

Две ночи он провел в доме российского парламента. Из 56 часов, которые он прожил тогда в России, спал всего два часа. Весь мир облетела фотография, где на плече великого нашего музыканта спит могучий парень-охранник — и упрямо бодрствует защитник «Белого дома» Ростропович, сжимая левой рукой огнестрельное оружие, словно гриф своего музыкального инструмента.

Он говорил потом: «Я счастлив, что приехал сюда. Счастлив, что провел эти ночи в «Белом доме». Эти ночи вернули мне веру в людей, веру в народ, который дал миру Прокофьева, Шостаковича, Пушкина, Лермонтова, Достоевского... Я горд за свою страну сегодня, как никогда».

Через несколько дней, когда собралась чрезвычайная сессия Верховного Совета СССР, писатель Алексей Адамович с трибуны Совета сказал: «Это была революция с лицом Ростроповича!..»

Он правильно говорил мне в Париже: «Будем планировать 1993-й, е. б. ж., то есть «если будем живы». Но кто же знает, что в нашу взрывоопасную, непредсказуемую российскую жизнь принесет 1992-й и какой еще безумный шаг сотворит тогда Ростропович, верный сын и художник своей земли?..



ОТ РЕДАКЦИИ.

В связи с публикацией в 71-м номере КОНТИНЕНТА Специального Приложения и сопроводительной к нему заметки «От редакции», в редакцию журнала поступило следующее письмо:

«В редакцию журнала «Континент», Москва.

В 71 номере «Континента», на страницах 349—350 опубликована заметка «От редакции», в которой излагаются сведения ложные и порочащие А. Синявского и М. Розанову (Синявскую). На 29 строках этой заметки содержится 6 клеветнических утверждений и некоторое количество инсинуаций.

1. Утверждение, что А. Синявский сотрудничал с КГБ,— ложь.
2. Утверждение, что М. Розанова сотрудничала с КГБ,— ложь.
3. Утверждение, что у А. Синявского были льготные сравнительно с Ю. Даниэлем условия содержания в лагере,— ложь.
4. Утверждение, что А. Синявский писал заявление о помиловании, признавал себя виновным и обещал исправиться,— ложь.
5. Утверждение, что А. Синявский и М. Розанова занимались компрометацией А. Солженицына,— ложь.
6. Утверждение, что А. Синявский и М. Розанова занимались компрометацией А. Сахарова,— ложь.

В соответствии с законом о средствах массовой информации мы требуем немедленно опровергнуть эти сведения как несоответствующие действительности.

А. Синявский

М. Розанова (Синявская)

Фонтене-о-Роз
Франция
15 июля 1992

В ответ на это обращение главным редактором КОНТИНЕНТА Игорем Виноградовым было направлено его авторам следующее письмо:

Уважаемые Мария Васильевна и Андрей Донатович!

Подтверждаю, что Ваше письмо «В редакцию журнала «Континент», Москва» (от 15 июля 1992 г.), переданное мне А. Береловичем и вызванное заметкой «От редакции» в 71-м номере «Континента», получил.

Из текста письма мне неясно, однако, каких именно действий Вы хотите от меня как главного редактора «Континента», *требуя* «немедленно опровергнуть... сведения», содержащиеся в указанной заметке, «как несоответствующие действительности».

Если Вы хотите, чтобы я напечатал в «Континенте» присланное Вами письмо, в котором эти «сведения» именно и объявляются «несоответствующими действительности» и которое, следовательно, можно рассматривать, вероятно, именно как Ваше «опровержение» этих «сведений», то в этом случае я не вижу никаких препятствий для реализации Вашего «требования». Насколько мне известно, и тот «Континент», который в течение семнадцати лет редактировался Владимиром Максимовым, никогда не отказывался публиковать на своих страницах любые возражения против любых материалов, напечатанных в нем. Не собирается нарушать эти элементарные нормы журнальной этики и «Континент», редактируемый мною. Разумеется, я опубликую Ваше письмо — равно как и любые возможные возражения на него, если таковые последуют.

Если же Вы имеете в виду, чтобы с «опровержением» упомянутых «сведений» выступила сама нынешняя редакция «Континента», то тогда я позволю себе еще раз — и более подробно — разъяснить и обосновать ту позицию нашей редакции по этому вопросу, суть которой я уже имел возможность изложить Вам, Мария Васильевна, когда Вы позвонили мне из Парижа.

Как об этом не раз уже объявлялось в печати, я принял на себя обязанности главного редактора «Континента», полностью ответственного за его содержание, лишь начиная с 72-го номера. Точно так же и новая редакция «Континента», которую я возглавляю, приступила к исполнению своих обязанностей (и приняла на себя ответственность за любые выступления от имени редакции «Континента») лишь начиная с того же, 72-го номера. Все, что напечатано от имени редакции в предыдущих номерах журнала, напечатано от имени прежней редакции «Континента», работавшей в Париже, — редакции, из состава которой, кстати сказать, в нашей новой, московской редакции нет ни одного человека, в чем нетрудно убедиться, взглянув на титульный лист «Континента» № 72, когда он выйдет из печати. Все это Вы хорошо знаете.

Но из этого следует, что Ваше требование к нынешней редакции «Континента» выступить с опровержением текста, напечатанного от имени прежней редакции журнала (если только смысл Вашего письма ко мне именно таков), может означать только одно: требование, чтобы наша редакция взяла на себя ответственность произвести своего рода третейский суд по отношению к заметке «От редакции» в № 71 «Континента» и к Вашему письму. А это, в свою очередь, означает, что наша редакция должна принять на себя ответственность решать, можно ли, например, и в какой мере те взаимоотношения с КГБ, о которых было рассказано и в книге «Спокойной ночи!», и в Ваших интервью «Московским новостям» и «Собеседнику», и в передаче «Пятое колесо», квалифицировать словом «сотрудничество» или это слово абсолютно в данном случае «не соответ-

ствуует действительности» и является «ложью»; следует ли считать данную прежней редакцией «Континента» характеристику Ваших выступлений по поводу А. Солженицына и А. Сахарова выражением того оценочного отношения редакции к этим выступлениям как к «деятельности» по их «компрометации», на высказывание которого право она имеет в такой же мере, как и любое другое лицо, индивидуальное или коллективное, или же эта формула подлежит квалификации по разряду «распространения ложных сведений», — и т. д. и т. п.

Согласитесь, однако, что подобного рода определения имеют в данном случае весьма ответственный юридический характер, поскольку они (в чью бы пользу они ни были) немедленно делают и нас тоже (вместе с той стороной, к которой мы присоединяемся) соответчиками на возможном юридическом процессе, возбуждаемом стороной противоположной. А как можем мы принимать на себя ответственность за подобного рода определения юридического характера, когда это не входит и не может входить в компетенцию ни нашей, ни любой другой редакции? Заниматься юридическим разбирательством и выносить свои суждения в данном случае имеет право действительно только суд. Поскольку Вы считаете, что прежняя редакция «Континента» допустила в своей заметке ложь и клевету, и хотите, насколько я понимаю, доказать это через суд, Вам именно в суд, способный принять такое дело к рассмотрению, и нужно, следовательно, в таком случае обратиться, на что Вы имеете полное право. Но при чем здесь мы?

Есть, однако, и еще одна — и очень важная — причина, по которой ни я, ни мои товарищи по редакции вообще не считаем для себя возможным принимать какое-либо участие в разрешении и обсуждении ситуаций, подобных возникшей, — не только с юридической, но даже и просто с человеческой, нравственной точки зрения.

Скажу прежде всего о себе. Я не пережил опыта ГУЛАГа, меня минула его чаша. В моем личном опыте не было и ситуаций, при которых на меня так или иначе пытались бы воздействовать, добиваясь сотрудничества с КГБ или просто предлагая такое сотрудничество. Конечно, мне хочется думать, что даже в самых тяжелых условиях я сумел бы выдержать, не сломаться и вообще не вступать ни в какие взаимоотношения с КГБ. Но, повторяю, собственным реальным опытом я это не доказал, а я знаю, как даже очень сильных людей ломало отнюдь не одно только физическое насилие, доведенное до предела, которого они не могли выдержать. Да и вообще — кто знает, не испытав это реально, предел своих возможностей, отнюдь, повторяю, не только физических? А нравственное давление, а страх за близких и даже просто «страх за себя»..

Вот почему, отдавая себе в этом полный и ясный отчет, я твердо положил для себя никогда не брать на себя права нравственного суда даже над теми, чьи отношения с ГБ не только неопровержимо доказаны, но и обернулись столь же неопровержимо доказанными трагическими или драматическими последствиями для других. И вообще никогда не участвовать в каких-либо обсуждениях нравст-

венных ситуаций, связанных с теми или иными взаимоотношениями какого-либо лица с ГБ,— тем более вызывающими споры, утверждаемыми одними и отрицаемыми другими. Я твердо убежден, что единственно плодотворным здесь может быть всегда только суд своей собственной совести, а влиять на чужую совесть в такого рода вещах,— какое у меня право на это?

Конечно, приняв для себя такое правило, я вовсе не считаю его нравственно обязательным для всех тех, кто так же, как и я, не имеет соответствующего личного опыта. Если кто-то внутренне чувствует свою способность и берет на себя ответственность нравственно судить других в подобного рода ситуациях, это его право, и я не вижу никаких оснований подвергать это право сомнению. Это сфера личного нравственного решения каждого, а я говорю только о себе. Тем более я никак не распространяю — и тем более не имею никакого нравственного права распространять — свой принцип на тех, кто сам прошел аресты, лагеря, тюрьмы, искушения гебистскими «соблазнами» и т. д. и т. п. — у них совсем другой опыт, дающий им моральное основание обсуждать проблемы, которые я обсуждать не могу себе разрешить. Вот почему хотя я лично никогда не считал бы для себя возможным в отношении кого бы то ни было подписать или напечатать текст такого характера, как заметка «От редакции» в № 71 «Континента», однако я никак не могу вместе с тем и отрицать права на высказывание своего взгляда на проблемы, поднятые в этой заметке, за теми, кто ее подписал. Лагерный опыт за их плечами снимает любые возможные нравственные возражения на этот счет, и речь может идти только о том, правы или неправы они — и насколько правы или неправы — по существу. Иными словами, здесь возможен только тот «третейский суд» между ними и Вами, никакого права на который — ни морального, ни граждански-юридического — я за собой не чувствую и не могу чувствовать. Точно так же — и по тем же самым причинам — считают и мои товарищи по редакции. Это наша твердая позиция, и вот почему я могу только повторить Вам:

— да, я опубликую Ваше письмо — вместе, разумеется, с этим ответным моим письмом, разъясняющим позицию нашей редакции, и поставив, естественно, в известность обо всем этом прежнего главного редактора «Континента» и прежнюю его редакцию. Я опубликую, как я уже сказал, и любые возможные ответные на такую публикацию возражения или письма, поскольку моя — как нового главного редактора «Континента» — позиция в данном случае может заключаться только в том, чтобы предоставить равные возможности высказаться всем сторонам, участвующим в конфликте, разбирать который новая редакция «Континента» не считает для себя возможным, но устранившись от освещения которого вообще тоже не вправе просто уже потому, что тема была поднята на страницах журнала, продолжающегося изданием под нашей редакцией;

— да, я готов опубликовать и любое Ваше более подробное письмо, в котором Вы пожелали бы, может быть, более развернуто высказаться по поводу всего, что Вы считаете необходимым затро-

нуть в связи с заметкой «От редакции» в № 71 «Континента», — опубликую на тех же, разумеется, условиях;

— более того, если Вы сочтете необходимым действовать через суд, «Континент» опубликует, разумеется, и любое решение суда.

Но ни выступать на таком суде в качестве «ответчиков» по делу, ответчиками по которому мы не являемся, ни высказывать какие-либо суждения по существу заметки «От редакции» и вызванного ею Вашего письма нынешняя редакция «Континента» — по причинам, изложенным выше, — не считает для себя возможным.

С уважением,

Игорь Виноградов,
главный редактор журнала
«Континент».

Москва, 7 августа 1992 г.

Как и было сказано в вышеприведенном письме, редакция КОНТИНЕНТА сочла себя обязанной ознакомить с письмом А. Синявского и М. Розановой (Синявской) прежнего главного редактора журнала Владимира Максимова. Владимир Максимов прислал в редакцию и просил опубликовать в КОНТИНЕНТЕ следующее письмо:

10.8.92.

Уважаемая редакция!

Восхитительная лапидарность письма четы Синявских в «Континент» по поводу редакционного примечания к публикации статей А. Воронеля и С. Хмельницкого в 71-м номере журнала обязывает меня к адекватной взаимности. Итак:

1. Об этом читатель может узнать из свидетельств самих господ Синявских в «Московских новостях», «Собеседнике» и «Пятом колесе». Разница в данном случае лишь в квалификации деяния: одни назовут это вынужденными контактами, другие — сотрудничеством. Роман Синявского «Спокойной ночи!» открывает в этом смысле большие возможности для толкований.

2. Об этом в пункте первом.

3. Об этом в повести соллагерника Синявского — Леонида Бородин «Правила игры», опубликованной в «Гранях». К примеру, один только пассаж: «Писатель регулярно давал двадцать — тридцать процентов, и его не тревожило начальство». Думаю, многие бывшие политзеки не откажутся засвидетельствовать, в какую цену обходилось им выполнение нормы «на двадцать—тридцать процентов». Прежде всего сам Леонид Бородин.

4. Редакция в своем примечании не утверждала «писал» или не «писал» Синявский такое заявление, ибо «досье в руках не держала», а лишь заметила, что освобождение по помилованию предполагает такой шаг. Если же последний был освобожден по какой-либо

другой причине, то законно поинтересоваться, по какой именно? Как известно, в те годы досрочное освобождение «за образцовое поведение» или «по зачетам» на политических заключенных не распространялось.

5. Об этом читатель может судить, познакомившись с подбором журнала «Синтаксис», не говоря уже о бесчисленных печатных и устных выступлениях господ Снявских вне рамок этого журнала.

6. Об этом я располагаю любопытным свидетельством Леонида Плюща, выступавшего вместе с господином Снявским по итальянскому телевидению в связи с высылкой великого ученого в Горький. Ваш покорный слуга отказался участвовать в этой передаче, заранее догадываясь о провокационных намерениях парижского литературоведа.

Не могу также не поставить читателя в известность, что господин Снявский — «диссидент № 1» и «гроза КГБ» оказался единственным из писателей, вынужденно выехавших на Запад с советским паспортом, не только не лишенным гражданства, но все эти годы сохранявшим его (свидетельство Владимира Буковского) и что в самые жестокие годы застоя его достопочтенной супруге разрешалось беспрепятственно вояжировать по маршруту Париж — Москва и обратно (свидетельств у меня в данном случае более чем достаточно!).

И последнее: вульгарная агрессивность вышеозначенной четы рассчитана явно на слабонервных. Увы, я не принадлежу к числу таковых. Поэтому им незачем беспокоиться. На прощанье хотел бы напомнить этой драчливой паре одну поучительную народную мудрость: живя в стеклянном доме, не следует разбрасываться камнями во все стороны.

С уважением

Владимир Максимов

Публикуя все эти материалы, новая редакция КОНТИНЕНТА, позиция которой четко обозначена в письме его главного редактора, хотела бы надеяться, что дальнейшие взаимоотношения между конфликтующими сторонами не будут необходимости отражать на страницах КОНТИНЕНТА.

К ЧИТАТЕЛЯМ «КОНТИНЕНТА»

В предыдущем, 72-м номере журнала (первом номере нового, «русского» КОНТИНЕНТА) главный редактор журнала от имени редакции уже познакомил читателей в общих чертах с тем, каким видится нам «русский» КОНТИНЕНТ, каким будет его главное «направление». Ныне, когда мы объявляем подписку на КОНТИНЕНТ на 1993 год, мы хотели бы более подробно познакомить читателя с нашими планами, а также проинформировать его об условиях и формах подписки на журнал.

Новый, «русский» КОНТИНЕНТ задуман его редакцией как журнал нового типа и со стороны его структуры. Мы исходим из того, что, наследуя лучшие традиции русских «толстых» журналов, которые всегда были главными посредниками между читательской аудиторией и живой культурой страны, журнал должен сочетать их с принципиально новыми формами общения с читателем, обусловленными резкой новизной существующей сегодня в стране информационной ситуации.

Так, читатель по-прежнему найдет в журнале традиционный *художественно-литературный отдел*, на страницах которого он встретит имена ведущих русских прозаиков и поэтов. Кроме того, в каждом номере журнала он найдет и раздел *Литературный дебют*, где КОНТИНЕНТ будет представлять своим читателям новые имена наиболее талантливых молодых или никогда до этого не печатавшихся отечественных и зарубежных литераторов.

В своей *интеллектуальной «тетрадке»* журнал, не будучи ежемесячником, не будет ставить перед собой задачу угнаться за быстротекущим потоком экономических, политических и социальных событий. Он намерен обращаться к наиболее крупным, фундаментальным проблемам нашего духовного и культурного становления, привлекая к их обстоятельному и глубокому обсуждению лучшие интеллектуальные силы России и других стран.

В чем может и должна заключаться сегодня «русская идея»?

В каком смысле можно и должно говорить сегодня об «особом» пути России?

Что нам обещает и чем грозит так называемая «конвергенция» России и Запада?

Какова роль русской интеллигенции в становлении новой России?

Какова возможная роль России в завтрашней геополитической ситуации?

Что представляет сегодня собою Русская Православная Церковь как духовная сила общества?

Каковы перспективы взаимоотношений православия, католичества и протестантизма?

Нужна ли «реформация» в нынешней русской Церкви и в чем она может заключаться?

Какие основные содержательные и формальные течения сложились со времен так называемой *хрущевской оттепели* в русской литературе и в русском искусстве и каковы их сегодняшние взаимоотношения между собой?

Чем отличается сегодняшняя творческая ситуация в нашей литературе? в кино? в музыке? в театре? в изобразительном искусстве?

Что такое *христианская культура* и каковы могут быть критерии такой культуры?

Как в свете этих критериев можем мы оценить сегодня творчество ведущих русских прозаиков и поэтов 60 — 90-х годов — таких, как Солженицын и Шаламов, Трифонов и Битов, Распутин и Аксенов, Войнович и Белов, Астафьев и Высоцкий, Искандер и Рубцов, Бродский и Чухонцев, Гроссман и Домбровский, Вознесенский и Коржавин, Тендряков, Твардовский и т. д.

Каким — в свете этих же критериев — предстает перед нами облик ведущих сегодняшних русских журналов и газет?..

На эти, как и на многие другие центральные вопросы нашего сегодняшнего духовного и культурного бытия попытаются предложить свои ответы и размышления авторы КОНТИНЕНТА в рубриках РОССИЯ, РЕЛИГИЯ, ГНОЗИС, ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ, ИСКУССТВО. А в регулярной рубрике ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ журнал будет печатать представляющие сегодня наиболее острый общественный интерес архивные документы, воспоминания и другие материалы, связанные с восстановлением исторической истины.

Третья большая «тетрадка» журнала появится в нем начиная с первого номера 1993 года. Она будет называться БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОНТИНЕНТА или ПУТЕВОДИТЕЛЬ КОНТИНЕНТА, ибо идея ее и состоит в том, чтобы стать для читателя КОНТИНЕНТА своего рода ПУТЕВОДИТЕЛЕМ по современной культурной жизни России. Открывая очередной номер КОНТИНЕНТА, читатель будет иметь возможность познакомиться с кратким, но весьма обширным аннотационным обзором всего, что появилось примечательного в русской и зарубежной периодике, а также на нашем и зарубежном русскоязычном книжном рынке за предыдущий квартал в области прозы и поэзии, литературной критики и критики художественной по проблемам кино, театра, музыки и изобразительного искусства, в религиозной и философской мысли, в историософии и в проблемной политической и социальной публицистике, в области публикации архивных материалов, мемуаров и культурного наследия

прошлого. По всем этим разделам читатель КОНТИНЕНТА будет иметь предельно полную и объективную профессиональную информацию, которая поможет ему ориентироваться в современном культурном потоке, что в условиях современного изобилия периодических и книжных изданий — задача индивидуальными силами почти неразрешимая.

Совместно со своим издательством редакция журнала намерена предложить читателям и целый ряд *специальных приложений* к КОНТИНЕНТУ, о которых журнал будет объявлять особо, по мере подготовки их к изданию.

Важнейшие среди них:

ПАНОРАМА КОНТИНЕНТА. Русская мысль в отечественной периодике за полгода. — Дайджест объемом около 25 авт. листов, в котором будут собраны под одной обложкой — в некотором сокращении при перепечатке — наиболее значительные публицистические, философские, религиоведческие, богословские, литературно-критические, искусствоведческие и культурологические работы, появившиеся за истекшие полгода в русской прессе и представляющие общезначимый культурный интерес. Два выпуска в год. Первый выпуск — начало 1993 года; материал — пресса второго полугодия 1992 года.

ИЗБРАННОЕ КОНТИНЕНТА — лучшее, что было напечатано в КОНТИНЕНТЕ за 1974 — 1991 годы. Четыре выпуска — по два выпуска в год. (1993 и 1994)

Первый выпуск — проза и поэзия КОНТИНЕНТА в 1974 — 1982 гг.

Второй выпуск — публицистика КОНТИНЕНТА в 1974 — 1982 гг.

Третий выпуск — проза и поэзия КОНТИНЕНТА в 1982 — 1991 гг.

Четвертый выпуск — публицистика КОНТИНЕНТА в 1982 — 1991 гг.

ГАЛЕРЕЯ КОНТИНЕНТА. Два выпуска в год. Готовятся к выпуску в 1993 г.:

Альбом-справочник «Русские святые» — иконописные изображения (в цвете) и краткие биографии *всех* русских святых.

Альбом-справочник «Чудотворные иконы Божьей Матери» — цветные репродукции всех признанных церковью чудотворных богородичных икон и краткие к ним справки.

Планируется и ряд других *Приложений* — следите за нашими объявлениями.

Подписка на КОНТИНЕНТ (на 1993 год) принимается на полугодовые комплекты (по два номера). Подписка на первое полугодие 1993 года — до 1 января 1993 г.

При помощи своих спонсоров и своего издательства редакция КОНТИНЕНТА обеспечивает ПОДПИСЧИКАМ журнала существенное снижение отпускной издательской стоимости каждого номера журнала, которая в первом полугодии 1993 г. будет равна 25 руб., что значительно ниже даже его себестоимости.

Таким образом, стоимость подписки на первые полгода (номера 1, 2 за 1993 г.) — 50 рублей. Стоимость подписки на второе полугодие будет сообщена дополнительно.

Журнал по подписке Вы можете получать одним из двух следующих способов:

- Либо по почте на дом, оплачивая в таком случае почтовые расходы по пересылке наложенным платежом;
- Либо через центральные книжные магазины Вашего (или ближайшего) города, поселка, населенного пункта, имеющие отделы подписных изданий, куда по мере выхода журнала будут высылаются подписанные Вами номера. В этом случае при получении каждого номера Вы должны будете доплачивать книготорговскую надбавку к издательской стоимости номера (25 р.). Она должна быть не более 25 % от этой стоимости.

Подписку можно оформить так:

Почтовым переводом Вы перечисляете обозначенную выше сумму (то есть 50 рублей) на расчетный счет 363854 в Коммерческом Народном Банке г. Москвы МФО 191016 код 919104 — с указанием: подписка на журнал «Континент» (полугодовая подписка).

В той части бланка почтового перевода, которая отведена «Для письменного сообщения» проставьте еще раз:

- 1) свою фамилию, имя и отчество,
- 2) свой почтовый адрес,
- 3) обозначьте количество подписанных комплектов,
- 4) укажите, каким образом Вы желаете получать журнал — по почте на дом (наложенным платежом) или через книжный магазин. В последнем случае укажите номер того книжного магазина Вашего города (поселка, населенного пункта), где Вам желательно было бы получать журнал.

По получении редакцией почтового перевода от подписчика ему будет выслана карточка подписчика, по которой он сможет получать журнал в указанном им магазине.

Подписку желательно оформить до 1 декабря 1992 г.

Для зарубежных подписчиков
условия подписки на КОНТИНЕНТ
в 1993 году —

прежние, обозначенные в прилагаемом талоне:

КОНТИНЕНТ — CONTINENT
Годовая подписка (4 номера)
Abonnement pour 1 an (4 numéros)

Фамилия (Название учреждения). (Nom ou établissement):

.....

Адрес (Adresse)

.....

Оплату произвожу (Je fais le payement):
приложенным чеком во франках (par chèque en francs)
почтовым переводом (par mandat postal)
банковским переводом (par ordre bancaire)

Стоимость годовой подписки (Prix d'abonnement annuel):
200 francs fr.— 60 DM — 40 \$ USA

Заполненный талон просим направлять по адресу
(Veuillez envoyer votre talon rempli à l'adresse):

Association des Amis de la revue «Continent»,
16bis rue Lauriston, 75116 Paris, France

Платеж по тому же адресу или в банк

(Payement à la même adresse ou à la banque):

Les Amis de la revue «Continent», compte 3.726130.8,
Société Générale, Agence Kléber, 45 av. Kléber,
75116 Paris, France

Для подписчиков в США и Канаде

(For the subscribers in USA and Canada):

Kontinent-USA, Edward D. Lozansky

3001 Veazey Terrace, N. W., Washington, D. C. 20008,
USA

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»

Сдано в набор 25.08.92. Подписано в печать 14.09.92.
Формат 84 × 108/32. Гарнитура «ТаймсЕТ». Печать офсетная.
Печ. л. 10,0. Усл. печ. л. 16,8.
Тираж 10000 экз.

Компьютерный оригинал-макет изготовлен в ИЦНМ.
Издательство «Московский рабочий»,
101854, Москва, Чистопрудный б-р., д. 8

Адрес редакции журнала «Континент»:
101854, Москва, Чистопрудный б-р., д. 8
Телефон 928-97-42

Отпечатано в Российском государственном
информационно-издательском центре «Республика».
Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16. Заказ 3304

